

# ЮРИЙ НАГИБИН

## ДНЕВНИК

(окончание)

Сканирование, вычитка Титиевский Давид  
Электронная библиотека Александра Белоусенко

1983

*КАЛУГА (январь 1983 г.)*

Жизнь сделала еще виток, и я снова очутился в Калуге для участия в цикле вечеров. Тогда меня встречал культурный парень Заграничный (Евтушенко использовал его редкую фамилию в «Ягодных местах»), на этот раз в роли культутрегера оказался отставник с рабьей повадкой, скрывающий хамскую полканью душу.

Любопытным оказалось посещение дома-музея Циолковского, куда я почему-то — и совершенно напрасно — раньше не заглядывал. Наверное, опасался, что потону в елее. Напрасный страх. Никакого елея и в помине нет, впечатление страшное и горестное. Нашим гидом был директор музея, внук Циолковского, журналист. Он сразу сказал главное: дед был страшный человек. Фанатик и деспот. И шизофреник — последнее я вытянул из него с великим трудом. Проговорившись в основном, он прямо-таки зафонтировал разоблачениями. Старший и одареннейший из сыновей Циолковского покончил самоубийством (цианистый калий), потому что мучительно стыдился пустых, как он полагал, занятий отца, считал их бредом самоучки и провидел в чем-то схожем собственную судьбу. Еще один сын покончил с собой в шизофреническом припадке, а еще один как-то подозрительно «надорвался». Мужское поколение всё оказалось нежизнеспособным. Одна из дочерей умерла в 24 года от чахотки, другие прожили бедную и тусклую жизнь. Свою бабушку внук назвал «мученицей». Циолковский давал на содержание семьи ровно половину жалования провинциального учителя, другую тратил на издание своих брошюр. Он считал, что все беды его жизни компенсируются пиром идей, без устали осенявших лобастую голову. И тут он едва ли ошибался. Он был гениальный утопист и, как все утописты, порой попадал в яблочко реальности. Глухой, с самодельными «слухарями» (жестяными рупорами, которые приставлял к уху), он страдал от непризнания, но ни разу не усомнился в себе.

Его станки, его жалкие подзорные трубы, его философские трактаты, его обсерватория на покатой крыше, особая

473

лестница, дававшая 0,5 секунды экономии при спуске, его старый велосипед «Дукс» и коньки-нурмис, его работоспособность, поистине неукротимая, железный характер в быту, весь обстав с деревенской печью, роялем конца XVIII века, скудной мебелью — всё это составные части или косвенные признаки великой личности. Он конструировал вполне реальные дирижабли, так, вроде бы, и не нашедшие применения, но научные провидения его были поистине невероятны. Как мелко, бытово изобразил его Евтушенко в своей повести, как бедно сыграл в скучной и бездарной картине Саввы Кулиша. Жалко, что трагическая судьба и непомерная личность сразу стали достоянием ничтожеств и халтурщиков.

Он все-таки дожил хотя бы до частичного признания (наград, чествований, газетных статей) — редкий случай в судьбе гениальных чудаков. Куда чаще слава осеняет неучей (Мичурин) или авантюристов (Лысенко). Жаль, что Циолковский так измазан сладкой слюной...

Были мы в Музее космонавтики, который после Вашингтонского чудо-музея производит жалчайшее впечатление. Там имеются крошечные шары-кабины, в которых месяцами, в неправдоподобной тесноте болтаются полуинтеллигентные люди, приземляющиеся прямо за стол «Голубого огонька». У меня создалось впечатление, что для производства этих кабин используются старые валенки. Там отовсюду торчал войлок, из которого валяют от века русские валушки.

Полкан таки обнаружил свою волчью суть в последний вечер, когда по его нераспорядительности наша экономистка едва не опоздала на выступление. Выручили ее и его мы с Геннадием. А потом он грубейшим образом набросился на меня и моего спутника, местного архитектора, у которого я пил чай. Он живет в том же доме, что и клуб. Мы пришли загодя, но Полкан, видать, не спустил паров. Я покрыл его отборным матом и уехал не попрощавшись.

Сегодня мне сказали, что в каком-то захоластном военном (?) госпитале, в полной заброшенности, умер Юра Казаков. Он давно болел, лежал в больнице, откуда был выписан досрочно «за нарушение лечебного режима», так это называется. Вернулся он на больничную койку, чтобы умереть. Вот и кончилось то, что начиналось рассказом «Некрасивая», который он прислал мне почтой. Я прочел, обалдел и дал ему срочную телеграмму с предложением встречи. В тот же ве-

474

чер он появился в моей крохотной квартире на улице Фурманова, в доме, где некогда жила чуть не вся советская литература. Сейчас этот дом (исторический в своем роде) снесен, а на месте его пустота. Помню, он никак не мог успокоиться, что в нашем подъезде жил недолгое время Осип Мандельштам, а в соседнем — жил и умер Михаил Булгаков. С напечатанием «Некрасивой» ничего не вышло (рассказ появился, когда Юра уже стал известным писателем), а с другими рассказами Казакова мне повезло больше. Я был не только разносчиком его рассказов, но и первым «внутренним» рецензентом в «Советском писателе», и первым «наружным» (раз есть внутренний, должен быть и наружный) рецензентом на страницах «Дружбы народов». И не только первым, но и на долгое время единственным, кто его книгу похвалил. Критика с присущей ей «проницательностью» встретила Ю. Казакова в штыхы.

Мы подружились, вместе ездили на охоту, где Юра всегда занимал лучшие места. Он даже пустил про меня шутку, что я люблю сидеть спиной к току. Впрочем, так однажды и было. В Оршанских Мхах разгильдяй егерь оборудовал только один шалаш. «С-старичок, — мило заикаясь, сказал Юра. — Ты ведь не охотился на тетеревов, а я мастак. Дай-кась, я сяду поудобней». Через день на утиной охоте нам опять пришлось довольствоваться одним скраднем. Юра сказал: «С-старичок, ты утей наколошматил будь здоров. А я — впервые. Дай-кась мне шанс», — и сел «поудобнее», так что я опять оказался спиной к охоте.

Литературная судьба Юры, несмотря на критические разносы, а может, благодаря им, сложилась счастливо: его сразу признали читатели — и у нас, и за рубежом. В ту пору критическая брань гарантировала признание. Мой друг не ведал периода ученичества, созревания, он пришел в литературу сложившимся писателем, с прекрасным языком, отточенным стилем и внятным привкусом Бунина. Влияние Бунина он изжил в своем блистательном «Северном дневнике» и поздних рассказах.

Он никогда не приспособивался к «требованиям», моде, господствующим вкусам и даже не знал, что это такое. Правда, одно время вдруг принялся сочинять для «Мурзилки» правдоверные детские рассказы, но чаще всего делал это так наивно неумело, что в редакции радостно смеялись, и он — следом за другими. Слово было дано ему от Бога. И я не встречал в литературе более чистого человека. Как и Андрей Платонов, он знал лишь творчество, но понятия не имел, что такое «литературная жизнь». И она мстила за себя —

вали Ю. Казакова очень мало. Чтобы просуществовать, пришлось сесть за переводы, которые он делал легко и артистично. Появились деньги — он сам называл их «шальными», ибо они не были нажиты черным потом настоящего литературного труда. Он купил дачу в Абрамцево, женился, родил сына. Но Казаков не был создан для тихих семейных радостей. Всё, что составляет счастье бытового человека: семья, дом, машина, материальный достаток,— для Казакова было сублимацией какой-то иной, настоящей жизни. Он почти перестал «сочинять» и насмешливо называл свои рассказы «обветшавшими». Эти рассказы будут жить, пока жива литература.

Мы почти не виделись, но порой меня настигала душевность его неожиданных грустных писем. Однажды мы случайно встретились в ЦДЛ. Ему попались мои рассказы о прошлом и, что случилось не часто, понравились. Он сказал мне удивленно и нежно: «Ты здорово придумал, старичок!.. Это выход. Ты молодец!» — и улыбался беззубым старушечьим ртом. Значит, он искал тему, искал точку приложения своей вовсе не иссякающей художнической силе.

Я стал шпынять его за молчание. Кротко улыбаясь, Юра сослался на статью в «Нашем современнике», где его отечески хвалили за то, что он не пишет уже семь лет. Убежден, что за Казакова можно было бороться, но его будто нарочно выдерживали в абрамцевской запойной тьме. Даже делегатом писательских съездов не избирали, делали вид, что его вовсе не существует.

Мне врезалось в сердце рассуждение одного хорошего писателя, искренне любившего Казакова: «Какое право мы имеем вмешиваться в его жизнь? Разве мало знать, что где-то в Абрамцево, в полусгнившей даче сидит лысый очкарик, смотрит телевизор, потягивает бормотуху из компотной банки и вдруг возьмет да и затеплит „Свечечку“».

Какая деликатность! Какая уютная картина! Да только свечечка вскоре погасла...

Казалось, он сознательно шел к скорому концу. Он выгнал жену, без сожаления отдал ей сына, о котором так дивно писал, похоронил отца, ездившего по его поручениям на самодельном мопеде. С ним оставалась лишь слепая, полуневменяемая мать. Он еще успел напечатать пронзительный рассказ «Во сне ты горько плакал», его художественная сила не только не иссякла, но драгоценно налилась...

Ходил прощаться с Юрой. Он лежал в малом, непарадном зале. Желтые, не виданные мной на его лице усы хорошо гармонировали с песочным новым сертификатным костюмом,

надетым, наверное, впервые. Он никогда так нарядно не выглядел. Народу было мало. Очень сердечно говорил о Юре как-то случившийся в Москве Федор Абрамов. Назвал его классиком русской литературы, которому равнодушно дали погибнуть. Знал ли Абрамов, что ему самому жить осталось чуть более полугода?

Не уходит из памяти Юрино спокойное, довольное лицо. Как же ему всё надоело. Как устал он от самого себя.

#### *ПОЗДНЯЯ ЗАПИСЬ* (в виде исключения сделал перенос)

Мы упустили Юру дважды: раз — при жизни, другой раз — при смерти. Через несколько месяцев после его кончины я получил письмо от неизвестной женщины. Она не захотела назваться. Сказала лишь, что была другом Ю. Казакова в последние годы его жизни. Она написала, что заброшенная дача Казакова подвергается разграблению. Являются неизвестные люди и уносят рукописи. Я немедленно сообщил об этом в «большой» Союз писателей. Ответ — теплейший — за подписью орг. секретаря Ю. Верченко не заставил себя ждать. Меня сердечно поблагодарили за дружескую заботу о наследстве ушедшего писателя и заверили, что с дачей и рукописями всё в порядке.

Бдительная абрамцевская милиция их бережет — совсем по Маяковскому. И я, дурак, поверил.

Недавно «Смена» опубликовала ряд интересных материалов, посвященных Юрию Казакову, и среди них удивительный, с элементами гофманианы или, вернее, кафканианы незаконченный рассказ «Пропасть». А в конце имеется такая приписка: «В этом месте рассказ, к сожалению, обрывается. Злоумышленники, забравшиеся в заколоченную на зиму дачу писателя, уничтожили бумаги в кабинете. Так были безвозвратно утрачены и последние страницы этого рассказа».

Что это за странные злоумышленники, которые уничтожают рукописи? И как забрались они в «заколоченную на зиму дачу», которую так бдительно охраняла местная милиция, а сверху доглядывал Союз писателей? Что за темная — из дурного детектива — история? И почему, наконец, никто не понес ответственности за этот акт вандализма и гнусную безответственность? Много вопросов и ни одного ответа.

Летом 1986 года мы с женой поехали в Абрамцево, где с трудом разыскали все так же заколоченную, теперь уже не на зиму, а на все сезоны, дачу посреди зеленого заросшего участка. В конторе поселка пусто, немногочисленные встречные старушки, истаивающие над детскими колясками, не

477

знали, где находится милиция, а в соседнем абрамцевском музее Казакова едва могли вспомнить. Какое равнодушие к писателю по меньшей мере аксаковского толка!

Мрачная, заброшенная дача произвела гнетущее впечатление каких-то нераскрытых тайн.

*УЗКОЕ*

*13 марта 1983 г.*

Опять я в Узком. До этого заезжал к Асе Пистуновой. Только сейчас я понял, зачем так срочно ей потребовался. Она получила сигнал новой книги и между делом, исподволь готовила меня к написанию рецензии, что и произошло в свой час. Но поскольку она взялась написать предисловие к моему сборнику в «Роман-газете», дело было тонкое. «Кукушка хвалит петушка за то, что хвалит он кукушку» — этого следовало избежать. Поэтому заход шел из глубины старой дружбы, каких-то беспредметных жалоб, лирико-драматической фальши. Тогда я об этом не догадывался, но впечатление осталось мутное и скорее неприятное. Ася искренне хорошо ко мне относится, я ей за многое благодарен, и всё же после каждой встречи с ней остается дурной осадок.

В Узком — божественная тишина и ощущение — обманчивое, — что здесь меня не достанут. Вспомнилось лесковское «воздухец кушать». Так я «кушал» эту тишину. Жалко, что тишина не осеняет больше дачу. Мы живем шумно — и в прямом, и в переносном смысле слова.

*14 марта 1983 г.*

Прочел замечательную рукопись Этингера о девяти похоронах, свидетелем которых он был. И стыдно стало писать про Имрушку. Полезно так вот, со всего размаху стукнуться самодовольной мордой о стену, залитую кровью. А то ведь и совсем в свинью превратишься. Среди этих похорон — есенинские, сталинские, шукшинские и, пожалуй, особенно сильно, — похороны Высоцкого в позорные дни Олимпиады, когда были растоптаны армейскими и милицейскими сапогами все принципы Кубертена.

То, что Этингер дал свою рукопись мне, совершенно незнакомому человеку, — огромный и многозначительный факт доверия.

*15 марта 1983 г.*

Сегодня закончил сценарий о Кальмане. Вместо ожидаемого облегчения, дурное и раздраженное состояние. Давление?.. Вроде бы нет, хотя проверить не могу. Моя

сумасшедшая старушка отсутствует, а если будет проверять другой врач, давление немедленно подскочит. Но я чувствую, что всё в норме. Скорее всего, разозлил рассказ Аллы о том, как изуродовали в «Новом мире» «Болдинскую осень». Редакторша сказала, им «самим стыдно». Так зачем было корезжить, почему не предоставить порчу цензуре? Так нет же, охота перед цензурой выслужиться, вот, мол, какие мы бдительные. А на цензуру — сегодняшнюю — всё равно не угодишь. Так, кстати, и оказалось впоследствии: рассказ едва-едва отбили, выкинув еще кучу абзацев и фраз. А если б «Новый мир» не усердствовал в сокращениях, больше бы осталось.

Митька продолжает кидаться на Проню. Он или что-нибудь ему повредит или сделает злобным. Пока что безмерная доброта Прони превозмогает Митькино ожесточение, но так вечно продолжаться не может. А до чего хочется иметь в доме настоящему доброе существо! Но хватит ли духу оплатить Пронину доброту уничтожением Митьки? Откупленный у злости такой ценой противен станет Проня. А уж как гадки себе самим станем мы! Это безвыходная ситуация, такое случается в жизни куда чаще, чем мы думаем.

*16 марта 1983 г.*

В духе главного цензора Красовского: ночь, благодарение св. Марии Египетской, прошла хорошо. Но проснулся в состоянии злом и нервном. Не выходит из души обида на журнал, предавший мой рассказ. Но, пожалуй, еще хуже то, что кончилась работа. Для меня спасение только в работе, пусть плохой, пустой, ненужной, но в работе. Иначе такой мрак охватывает, хоть волком вой. Но у меня нет сейчас темы. Вернее, тема есть: князь Юрка Голицын, но я к ней не готов. Писать же в том ключе, который я недавно нашел, — занятие пустое, тогда уж лучше писать в стол. От такой вот, до конца честной и нереализуемой работы я, по правде говоря, отвык. Гулять я окончательно разлюбил, не только из-за ног и задницы, но уж больно безотрадные мысли лезут в голову посреди чуждой суеты и фальши природы. У меня не осталось никаких иллюзий. Гадость всюду. Историческое чтение помогло понять, что русская жизнь извечно была замешена на беспощадной жестокости и приторной лжи в отношении властей.

*17 марта 1983 г.*

Вчера за мной заехал Андрон, и мы отправились на дачу. Он предупредил Аллу, что ничего, кроме гречневой каши,

есть не будет, поскольку обожрался на отцовском банкете. Алла учла это и приготовила громадное блюдо рябчиков с жареной картошкой, кроме того были овощи, обжаренная в сухарях капуста, мороженое и кофе. Да, и гречневая каша, к которой Андрон не притронулся. Он налег на рябчиков и сожрал не меньше восьми штук, в той же раблезианской манере разделался с овощами, капустой, мороженым, кофе, хорошо пил коньяк, но наотрез отказался от сушеной дыни, прочтя нам целую лекцию о несовместимости дыни с другими харчами. В обаянии ему не откажешь. И он, конечно, умен, довольно культурен, разогрет неустанной заинтересованностью в происходящем. Если б он не был Михалковым, я решил бы, что он не бытовой человек. Но поскольку он Михалков до мозга костей, этого быть не может, просто сейчас он глубоко запрятал бытовую алчность. Надо решать иные задачи.

Мы играли в диалоги, и он меня переговорил. Он неизмеримо лучше информирован, а в том, что лопочу я, много интеллигентского идеализма, что он мгновенно усек. Но было интересно, как в театре на умной и хорошо исполняемой пьесе. Горестно для меня отсутствие собеседников. Я вынужден разговаривать сам с собой, а это почти то же, что с

самим собой заниматься любовью. Алла очень редко соглашается включить мозг. Когда она это делает, получается интересный и точный разговор, потому что Алла очень умна, но крайне умственно ленива. Аллин ум высшего качества, ибо он изнутри, из «брюха», а не с поверхности мозга. Но она не часто балует меня беседой. Остальные — просто идиоты. Или практические умники, что столь же скучно. Хорошее получилось застолье. Даже этому ледяному человеку не хотелось уезжать.

*18 марта 1983 г.*

Ездили в посольство смотреть картину. Забыл название. «Подружка»\* или что-то в этом роде. Соль в том, что Дастин Хофман играет бабу. «Тетка Чарлея» на новый лад, но с феминистской идеей. Преобразившись в женщину, он понял, насколько женщина бесправна в капиталистическом обществе, за всё ей приходится расплачиваться пиздой. Нам бы эти заботы! Скука смертная. Но американцы веселились, как дети, и одновременно сочувствовали идее. Мы сидели в ряд: Алла, я, Щедрин, Плисецкая, Мессерер, и ни один из нас не улыбнулся, и все мы дружно злились на хохочущих амери-

---

\* «Тутси» («Милашка»).— *Примеч. ред.*

канцев. Картина уже представлена на «Оскара». Грустно, что людям даны безграничные возможности, а они лепят пирожки из говна. Но, видимо, это то, что нужно впавшему в маразм и ничтожество человечеству. От искусства решительно не хотят тревоги. Я это окончательно понял в Узком. Когда показывали серьезный и глубокий итальянский фильм «Оружие», зал почти опустел к середине картины, с затхлого егоровского фильма «Отцы и дети», кроме меня, ушло не более трех человек. И это академики! Мне вспомнилось селиновское: «Старые грызуны в пальто». Симпатичные в большинстве своем люди, но какие захудалые, душевно и умственно вялые! Конечно, есть исключения: один Этингер чего стоит, да и Стырикович и Косыгин — интересные личности. Но, скажем, своеобразие Мишустина или Черенкова — чисто бытового плана, к культуре никакого отношения не имеет. Когда говорят о своей профессии, всегда интересно, а за пределами этого — бытовизм и узость.

*20 марта 1983 г.*

Мой режиссер все более обрисовывается как Казанова-83. Он вовсе не фанатик кино, каким я его считал, а фанатик сладкой западной жизни. Ему всё равно, как сделать свою судьбу, через кино, через бабу, через убийство. Ниточка семьи еще держит его, но, думаю, он скоро ее оборвет. Ставить Рахманинова он не будет, ну и Бог с ним. Зато было интересно.

Толя Миндлин переживает свои звездный час. Выходит его материал о сыне Антокольского. Дыхание тайного писателя ложится на стекла вечности. Я рад этому, и рад, что помог его успеху. Хоть что-то получилось.

Чудесные документы в «Русской старине». Написанные невероятной чиновничьей вязью (какие головы надо было иметь, чтобы хоть что-нибудь понять!), они посвящены розыску двух чиновников 14-го класса: Пушкина и Коноплева, чтобы вручить им «решения по делу»; Пушкину, как я понял, о снятии полицейского надзора. С величайшим хладнокровием в бумагах без конца повторяется: «Пушкин и Коноплев... Коноплев и Пушкин». Вот она — Россия.

Хорош и документ, выданный отцу М. Ю. Лермонтова в подтверждение дворянства. Во-первых, он выдан на ЛЕРМАНТОВА, во-вторых, бьет все рекорды неграмотности. И самое замечательное, что подписали его предводитель тульского дворянства и еще четыре потомственных дворянина.

А выдан документ для поступления Михаила Юрьевича в Московский Университет.

Оказывается место дуэли Лермонтова точно не установлено. Не до того, видать, было. То, что считается местом дуэли, высчитано профессором Висковатым на основании показаний бывшего крепостного мужика, отвозившего Лермонтова к месту поединка, но за давностью лет почти всё запаматовавшего, и общих соображений: чтобы не видно было с дороги и т. п. Словом, и тут Россия недоглядела.

*21 марта 1983 г.*

В России обычно путают слово с делом, и за первое взыскивают, как за второе. Это последняя мысль, осенившая меня в Узком, с тем и отбываю.

*«РУССКОЕ ПОЛЕ»*

*4 апреля 1983 г.*

Приехал в «Русское поле». Накануне встречал на даче день рождения. Были, как говорится, все свои, что не помешало мне надраться, как среди чужих. Поэтому впечатления первого дня были притушены. Холодной оказалась и встреча с «ребятами», не удосужившимися занять мне место за своим столиком. Я оказался в компании каких-то необычайно радушных, речистых, компанейских и темноватых типов. Оба отменные бильярдисты, преферансисты, шахматисты, таланты, выпивохи, трепачи и оба — особенно ведущий в паре — чем-то опасны. Мне с ними неуютно. Толстый круглолицый еврей из провинции попроще и посмирнее, его высокий, длиннолицый, довольно интересный русский напарник — проходимец и шкода высокой марки.

*5 апреля 1983 г.*

Второй день чисто животной жизни. Сейчас, в полночь, не могу вспомнить, чем был заполнен день. Дулся на бильярде. С евреем я еще могу играть, но долговязый несопоставим со мной по классу, это виртуоз. Играл с Горбуновым в пинг-понг — еще хуже, чем обычно. Вечером мои соседи подбили меня на преферанс. В последний момент длинный занялся бабами, даже не извинившись перед партнерами. Третьим оказался старый отставник, который всё время подозревал меня в жульничестве. Я дал ему достойную отповедь, но выведенный из себя, тут же совершил ошибку при записыва-

482

нии вистов, чем подтвердил его гнусные подозрения. Вечно со мной так. Сейчас играют по каким-то новым правилам, мне вовсе неизвестным. Из-за этого, а также сев на практически неуловленном мизере, я продулся. Играли по маленькой, но для меня это не имеет значения, я не мог бы разозлиться сильнее, проиграй я тысячу рублей. Как же я выдохся, ведь прежде я выигрывал во все игры, в которые играл.

Читаю «Русскую старину». Удивительно цельный народ для внешней беспорядочности, расхристанности, многоликости. Цельный и на редкость однообразный внутри себя: смесь раболепия с вечным беспокойством, что ближнему чуть лучше, чем тебе. И ничего не сдвинулось за века в его мутных глубинах. Всё та же ленивая, несправившаяся, равнодушная ко всему на свете, рабски покорная и при этом вздорная пьянь.

Вечером испытал острое чувство счастья: Алла благополучно долетела в Минводы. Немного же осталось у меня: сорокавосемилетняя больная женщина. Немало осталось у меня.

*6 апреля 1983 г.*

Животная жизнь продолжается. Всё утро вожусь со своим старым недужным телом. Пошел гулять и угодил под дождь. В кровь стер ноги. Сыграл две-три партии на бильярде. По-моему, я стремительно превращаюсь в цензора Красовского; еще немного и начну

писать об «отправлениях» и снах. Впервые я не мучаюсь от своего безделья. Все-таки напряжение было велико в последние месяцы. Лишь бы эта обманчивая беспечность не обернулась раскаянием, острым недовольством собой, тоской. Даже в прошлом, бесплодном году я что-то записывал по Рахманинову.

*7 апреля 1983 г.*

Прошел сильный дождь, и синие лягушки, боясь промокнуть, спрятались в воду. Видел горностайчика. Он бесстрашно резвился на опушке леса, сразу за кюветом шоссе. Бегал, струился змейкой, залезал в дупло, выглядывал оттуда, зыряя глазками, но то ли не замечал меня, то ли пренебрегал этой опасностью, хмельно наслаждаясь весной.

Тут меня настиг В. В. Горбунов. В который раз поразился я неспособности советских людей слушать собеседника. Он не закрывает рта. Когда я пытаюсь что-то рассказать, его запертое на все замки лицо отдаляется, зримо истаивая. Область его точных знаний очень узка: история, замкнувшаяся на Ленине. Но тут я хоть получаю какую-то информацию,

483

большой частью мне ненужную, все остальные его речи — «парки бабье лепетанье». Но у него есть больное место, и стоит кольнуть туда, как он сразу прекращает свой бормот. Надо спросить о недолеченном алкоголике-сыне, которого он мучительно любит. Он боится, избегает этой темы, но в силу какой-то внутренней порядочности считает своим долгом дать требуемую информацию, при этом никогда не врет. Его сын, наконец-то женившийся на женщине, с которой прожил много лет (она противилась оформлению брака из-за его пьянства и пошла на это лишь после того, как он провел курс лечения в стационарном отрезвителе), бросил работу клубного художника и стал грузчиком в мебельном магазине. Вновь пример того, что родители наказаны в своих детях. Он неплохо зарабатывает, левача, разумеется, и Горбунова это глубоко оскорбляет и печалит. Папа с утра отправляется в ИМЭЛ\*, склоняется над многомудрыми фолиантами, а сын тащит на хребтине через черный ход буфет из разрозненного за взятку гарнитура. Жену грузчика эта деятельность бывшего художника ничуть не смущает, она даже отнеслась снисходительно к недавно постигшему его срыву. Впрочем, чья профессия почетнее: отца или сына — еще вопрос.

Вечером меня поймал Кривицкий. Он далеко не глуп, наблюдателен, очень зол, не лишен литературной одаренности, но все эти качества заслонены непомерным тщеславием завязатого говоруна-остроумца. Тут в нем даже что-то наивное проскальзывает, почти жалкое. Прежде я ничего подобного в нем не замечал, замороженный своей юношеской памятью об умнице-майоре, лучшем украшении «Красной звезды». Алла научила меня читать окружающих. Слепое неприятие мамой и Я. С. почти всех, кто появлялся на нашем пути, равно как и слепое приятие немногих и обычно наихудших, ничего не давало для понимания людей. Алла может ошибаться, если судит по первому впечатлению, по нерассуждающему чувству, но стоит ей приглядеться к человеку, и она раскалывает его, как Щелкунчик — орех. Она чужда как самообмана, так и снисхождения. Для этого нужно немало мужества.

*8 апреля 1983 г.*

Сегодня опять попал под дождь. Болят ноги: от обуви, радикулита, массажа и плохого кровообращения. Хожу пло-

---

\* Институт Маркса —Энгельса —Ленина при ЦК КПСС— *Примеч. ред.*

484

хо, через силу и никогда уже не буду хорошо ходить. Утром был чудовищный туман с гарью — на соседней свалке (тут ей самое место) жгли старые покрывки.

Мало птиц, мало живности, главную весну я пропустил, она началась в двадцатых

числах марта теплом, солнцем, синим небом.

Читаю роман австралийской писательницы, имя которой не в состоянии запомнить, «Поющие в терновнике». Отдает Томасом Вулфом — молчаливый брат Франк без всякого сомнения; чем-то напоминает «Предательство Мери Драмм» и даже «Унесенных ветром», но есть и свое, порой романтическое до глупости, порой острое, пронизательное, глубокое до изумления.

Растительная жизнь продолжается. И я не думаю приступить к «Юрке Голицыну». Колоритный образ князя-хормейстера не тревожит меня даже во время пустых одиноких прогулок. Такого еще не бывало. Похоже, что старость, действительно, существует.

*9 апреля 1983 г.*

Я оказался малопроницательным читателем. Роман Маккалоу — при всех издержках — произведение замечательное. Оно создано на редкость сильным чувством, верой в каждое свое слово и той наивностью, без которой нет настоящей веры. Только почему детей в западной литературе так часто тошнит? Началось это, по-моему, с Дос Пассоса, имевшего сильную власть едва ли не до второй мировой войны; на новых писателей он влияет через своих последователей и подражателей. У меня было нормальное тяжелое детство, но наблевал я впервые в юности с перепою. На моих глазах лишь однажды вырвало знакомого мальчика, когда он вывихнул ногу. Может быть, это, действительно, присуще тонким «субтильным» западным детям?

Заметил за собой одну особенность: я бываю удивительно неловок, порой нелеп с людьми, которых не люблю, но скрываю это. В основе своей я человек точных движений, что воспитано во мне спортом и самолюбием, дома я крайне редко совершаю неуклюжие поступки. Но, Боже мой, что я творю среди тех людей, которых внутренне отвергаю! Даже иной раз оторопь берет. Сегодня, очутившись в лифте с группой отдыхающих, я десять раз нажимал кнопку второго этажа, на котором мы и сели в лифт. «Лифт перегружен!» — объявил я и, дав сойти какому-то человеку, снова надавил на кнопку с цифрой два. «Лифт вышел из строя!» — сказал я глупо-торжествующим голосом. «Разрешите я нажму»,

—  
485

робко попросил один из отдыхающих. Я подвинулся, пожав плечами, он нажал, и мы поехали, кому куда надо. А в Дмитрове, поперхнувшись варенцом, я оплевал всех сидевших за столиком. Борис Можаяев, который и без того меня терпеть не может, весь обед обтирал бумажными салфетками свой жалко-модный костюмишко. Сходным подвигом я отметил юбилейное торжество «Нашего современника». Надо призывать себя к «повышенной готовности», когда я оказываюсь в кругу гадов.

*10 апреля 1983 г.*

Прошел пустой воскресный день, холодный, но ясный.

Пошел гулять после обеда. На раннем закате солнце стало громадным розовым шаром, медленно покотившимся сквозь редняк в его прозрачные глубины.

Дочитал «Поющие в терновнике». Роман оказался о трех поколениях одной австралийской семьи, и третье поколение, казалось бы, наиболее близкое автору, получилось значительно слабее двух других. Действие переносится в Европу, которую автор знает поверхностно, более из книг, чем по собственному опыту, здесь всё пошло из вторых рук. Художественной необходимости в третьей части не было, всё нужное для того, чтобы свести концы с концами, можно было уложить в одну большую главу. Уметь вовремя остановиться — как это важно!

Всё более удивляет меня Горбунов. Он чего-то крепко испугался и сейчас прикрывается мнимой глухотой, как Голова в «Ночи под Рождество». Это позволяет ему вести разговор, как он того хочет, т. е. избегая всех острых углов, обходя «больные» вопросы и отказавшись даже от робкого мышления. Его разговор — это поток стерильной

информации, почерпнутой в отделе «смесь» (или «разное») в таких первоклассных органах печати, как «Вечерняя Москва», «Неделя», «Московская правда», «Работница», «В мире книг». К «Литературке» он охладел — слишком остро, из толстых журналов изредка ссылается на самый реакционный «Наш современник». Еще он пересказывал мне грязную рецензию на замечательную книгу Федорова, которого не принимает.\*

*11 апреля 1983 г.*

Кривицкий с фальшиво-сообщническим лицом сказал, что у нас общий враг. Мне по глухоте послышалось: «друг», и я фальшиво умилился тому, что нас еще что-то связало в

---

\* Придет время, и он прекрасно поймет Н. Ф. Федорова (1828 — 1903), и всех русских религиозных мыслителей, и самого себя.

486

этом опасном мире. С большим трудом мы выяснили, что речь идет о подонке Кардине — назойливой платяной вше, куснувшей меня на этот раз в «Вопросах литературы». И там кто-то ненавидит меня, я давно догадывался об этом, но никак не могу взять в толк, кому и чем я досадил. Они постоянно делали вид, что меня не существует в литературе. Они никогда не обращались ко мне, кроме одного единственного раза, и то это сделал по неведению сын моего приятеля Афанасия Салынского. Материал провалялся год, но настойчивый сын Афони все-таки его провернул. Я все это замечал, но почему-то думал, что к открытым враждебным действиям они все-таки не перейдут. Статья же Кардина, судя по всему (читать ее я не стал), некий рекорд хамства, выходящий за рамки литературы. И вторично он противопоставляет мне Распутина, что попросту неприлично. Жаль, что Распутин не кончал высших женских курсов, он должен был бы ответить прохвосту, что неприлично стравливать уважающих друг друга писателей. Ударили «Вопли» по «Терпению», что совершенно для них безопасно в связи с поднятой Кузнецовым травлей этого рассказа. Кстати, настойчивое примешивание Распутина к «расправе» со мной — холостой выстрел. Я очень люблю Распутина, считаю лучшим нашим писателем и до слез жалею его бедную, прекрасную, вторично пробитую негодяями голову.\* Меня занимает иное: дружный и яростный натиск, которому я подвергся спустя год после опубликования рассказа. Что за этим?.. И почему меня вдруг отдали на растерзание всякой швали? Кому-то я крепко насолил, только непонятно кому. Рассказ всё же не предан анафеме. А Кривицкий, призывая меня мстить Кардину, когда-то объявившему всю историю с 28-ю героями-панфиловцами советским мифом, в глубине души ликовал. Я живу один в люксе, а он с женой — в обычном номере, — разве этого недостаточно, чтобы желать человеку мучительной смерти?

*12 апреля 1983 г.*

Погода окончательно испортилась. Небо затянуто безнадежной ровной серой пеленой, моросит, плотный туман оставляет лишь первый план законного пейзажа, дальше — непроницаемая муть. Бар начинает играть слишком заметную роль в здешней жизни, надо с этим кончать.

*13 апреля 1983 г.*

Вышел наконец Толин материал в «Науке и жизни» с моим предисловием или послесловием — еще не знаю. Но дело

---

\* Ныне мое отношение к нему в корне переменялось, как переменялся и он сам.

487

не в этом. Состоялось то главное, чему Толя отдал столько сил и терпения: вернулся в мир

милый, тихий, прекрасный мальчик с длинными, всегда полуопущенными ресницами. После Оськи откуплен у вечности еще один далекий спутник лучших дней жизни, Володя Антокольский.

Кривицкий продолжает травить меня Кардиным. Его совершенно не устраивает, что я решил плюнуть на это. Он всё еще ненавидит Кардина за пережитое когда-то короткое унижение, хотя сразу успел посчитаться с ним. Разоблачив панфиловцев, Кардин объявил, что не было залпа «Авроры» и взятия Зимнего. При активном участии Кривицкого он поплатился за свои исторические откровения тем, что не печатался восемь лет. Но Кривицкий вновь жаждет крови, хотя и доволен, что меня обосрала. И он начисто не может понять, что я считаю борьбу с Кардиным ниже своего достоинства. Если мне когда-нибудь придется походя лягнуть его, как уже было однажды (как выяснилось, Кардин плохо держит удар), я его пну, но отвечать всерьез — много чести. Дело в том, что Кривицкий, всячески понося Кардина, стоит на том же уровне.

*14 апреля 1983 г.*

Хмурый, мрачный, холодный день. Лягушки попрятались, птиц не видно и не слышно, но в какой-то миг на прогулке стало хорошо. Почки давно уже набухли, но сейчас зазеленели какие-то маленькие деревья. Боже, как немного надо счастья! Но тут зарядил дождь, и я в который раз промок до нитки.

Читаю детективы: Гарднера с его надоевшим гением-адвокатом, остроумнейшего Пера Вале и др., прервав ради этого знакомство с биографией Канта, который, став на какое-то время русским подданным (Кенигсберг был захвачен нами), подписывал свои письма полупьяной курве Елизавете **«ваш нижайший раб Иммануил Кант»**. Конечно, Россия никогда не входила в круг европейских государств. Чистейшая Азия, и все попытки Петра вырвать ее из азиатской колыбели ровным счетом ни к чему не привели. Я только сейчас понял великую ценность «Восковой персоны» Тынянова.

Чуть не забыл: перед дождем видел одинокого журавля.

*15 апреля 1983 г.*

Большое гулянье. И чего я так разошелся — ума не приложу. Как с цепи сорвался. Налившись по затычку, сделал предложение руки и сердца барменше, пытавшейся в этот торжественный момент обсчитать меня на двадцать пять руб-

488

лей. Заводил меня Кривицкий, но он же, надо отдать ему должное, помешал ограблению, хотя и злился, ревнуя, что мое предложение было воспринято всерьез. У барменши накануне была помолвка, что не помешало ее челу притуманиться от перспектив неожиданно открывшихся возможностей. Тут мне стало скучно чегой-то, я потащился в бильярдную, вслепую сыграл партию и каким-то образом выиграл. Затем в полубреду добрался до своего номера и заснул богатырским сном. А началось гулянье с проводов Горбунова.

*16 апреля 1983 г.*

Валялся всё утро в постели, благо никаких процедур не было, а у меня разгрузочный день. Немного погулял после обеда, читал и с отвращением вспоминал о своем распаде. Вечером зашел обеспокоенный Кривицкий — есть в нем человеческое, — принес чайную заварку, сахар и два печенья. У меня было несколько шоколадных конфет, и мы устроили роскошное чаепитие. Все мои похмельные недуги как рукой сняло. Вспомнили о вчерашнем сватовстве. Клянусь небом, Кривицкий не до конца был уверен, что это шутка. Когда же я его высмеял, он стал врать, что говорил не от своего имени, а как бы от лица барменши — вылетело из памяти ее имя. В циничном и ушлом еврее сохранилась удивительная наивность. И я знаю ее истоки, он не изменял своей кошмарной Циле.

А перед сном я узнал, что умерла Наталия Николаевна Антокольская, за день до

получения журнала с материалом о ее сыне. Насколько мне известно, не осталось никого, кто бы носил эту фамилию. Она потеряла обоих детей, мужа, зрение, но не потеряла душу, она жила сердцем до последнего дня, ждала встречи с сыном, смеялась, радовалась, но заснула и не пробудилась. Мир ее праху. Ей никогда и ни в чем не было удачи.

*17 апреля 1983 г.*

Воскресенье. Длинный, скучный, пустой день. Звонил своим редакторшам, а также Ирине Богатко, чей скучный, не сулящий удач голос давно не слышал. Законченная шизофреничка Светлана Васильевна («Роман-газета») решила, что звонок мой вызван не беспокойством о книге, а желанием пообщаться — тяжелое заблуждение — и стала гнусаво кокетлива. Богатко источала засахаренный мед, похоже, что ей опять засветил договор в Гослите.

Гулял хорошо, сперва обычным маршрутом, потом лесом, неприметными тропками. Читал о Канте и который раз по-

489

жалел, что нет у меня хотя бы паршивенького законченного гуманитарного образования, уж больно многого я не знаю — хотя бы терминологии, методики доказательств научных истин, каких-то необходимых изначальных банальностей. До всего приходится доходить «своим умом» — это утомительно. Ко всему еще глаза заболели, как у того солдата, что поймал триппер: «Мочусь, аж резь в глазах». Новая напасть!

Писать по-прежнему не хочется, хотя какие-то мыслишки порой мелькают в башке. Умиляет позиция автора «Жизни Канта», нашего соотечественника и современника, он считает, что исповедуемая им философия «подтверждена жизнью»! Что да, то да.

Как тонка пленочка вежливости у местного персонала. Все эти сестры, нянечки, официантки, сторожихи только и ждут повода, чтобы излиться дерьмом. Этим бедолагам следовало бы доплачивать за вынужденную вежливость, как на вредном производстве; ну, хоть бы молоко давать.

*18 апреля 1983 г.*

Опять трудовой день с крепким массажем, электрофорезом, зубокабинетом, тугой подводной струей.

Ходил гулять. Вышел теплой, солнечной синей благодатью, вернулся под проливным дождем. Как только я не простужаюсь?.. Не высыпаясь ночью, много и тяжело сплю днем. Мысли злые, мелкие. Худею я на этот раз плохо, может быть, ко всем диетам, разгрузкам и прогулкам надо еще тратить мозговую энергию, чтобы сползали килограммы? После ужина чудесно гулял по заполняющему сумраком лесу. И все-таки без работы я не я: тусклый, подавленный и самому себе скучный человек. Беда в том, что я уже не могу, как прежде, делать любую работу, а лишь то, что мне интересно. Порой мне кажется, что судьба настойчиво толкает меня к себе: займись своим, истинным, тем единственным, ради чего ты появился на свет, довольно убежать от себя в рассказышки, рецензии, телевыступления, кинохалтуру. Ну заберись в себя поглубже, поройся там и выдай на-гора, что хранится только в тебе. Неужели ты впрямь готов довольствоваться своей полуизвестностью, уютом дачи, избранничеством приемов и поездками в Венгрию? Очнись!

В левом ухе у меня начались какие-то странные всхлипы: противные и до того громкие, что мешают заснуть. Я решил, что это начало конца: кровь в сузившихся, обызвестковавшихся сосудах уж не верещит весенними птичьими голосами, а вопит, стонет, захлебывается. И вдруг я понял, что это стоны любви — за стеной ебётся ежевечерне немолодая пара.

490

Открытие принесло немалое облегчение, оказывается, я еще не хочу подыхать. Но я слишком рано возвеселился духом — пара эта давным давно уехала, а во мне стонет стиснутая кровь.

*19 апреля 1983 г.*

Уж не впервые посещает меня мысль, что я не хотел бы вновь увидеть маму, а тем паче Я. С. Мне кажется, что между нами механически продолжатся те дурные, отчужденные и недобрые отношения, которыми омрачались последние годы совместной жизни из-за слепой и безнадежной маминой ревности к Алле и склеротической злобной тупости Я. С. Нам нечего сказать друг другу: я лишь уверился еще сильнее в том, что вызывало мамину ненависть, а я не верю, что даже пребывание на небе, вблизи Господа Бога, могло смягчить и вообще как-то изменить такой характер, как у мамы. И смогу ли простить Я. С. всю ту темную низость, которая в нем таилась и так омерзительно обнаружила себя на исходе? А вообще, хотел бы я увидеть кого-нибудь из ушедших? Да, Мару, Якова Григорьевича, Вероню, Павлика, Оську, Лялю Румянцеву, даже Кольку Шугаева. Но с теми, с кем я прожил жизнь, так до конца и не разглядев их, мой разговор оборвался задолго до расставания. Их отношение ко мне давно стало потребительским, под конец неприязнь Я. С. распространилась и на мою литературу. Даже мое горе вызывало у него отвращение. Он, как это ни дико звучит, нацелился на жизнь, когда мамы не стало. Впрочем, это частый до банальности поворот душевной жизни вдовца, но мне думалось, что Я. С. выше. Ничуть не бывало. Он всерьез занялся «делами наследства», решил экипироваться и, по-моему, взять Фирку, если не в законные супруги, то в метрессы. Эта старая гнилая блядь внушала ему, что он может как-то узаконить свои «права» на часть дачи, пользуясь Аллиной деликатностью и моим отчаянием после смерти мамы. Его нечистоты и предательства я ему не простил. Людей, особенно близких, теряешь обычно на земле, а не с их уходом в мир иной. Бывают, конечно, исключения, но редко. При жизни потерял я маму и Я. С. При жизни потерял Лену, Машу, «англичанок», Славу Рихтера, Шределя, Салтыкова, Казакова, Конецкого, Поженяна, Немку, всю семью Мельманов и, наверное, еще многих, кого сейчас и вспомнить не могу. Коса, отсекающая близких и нужных, куда чаще в руках у жизни, а не у смерти.

491

*20 апреля 1983 г.*

Какая мощь — Гёте! Прекрасен Шиллер — адвокат человечества, но рядом со старшим другом он какой-то заморенный. А того хватало на всё: на творчество, науку, размышления, карьеру, баб (на них особенно), на светскую жизнь, путешествия, пьянство, лечение, на непрерывную мощную игру страстей при полном внешнем порядке. Вот это человек! Ближе всего к нему по всеохватности, творческой воле, уму, напряжению человеческих потенциалов любого рода наш Пушкин. Любопытно, что бурное кипение и ненасытность принято называть гармонией. Но Господь не дал Пушкину Гётева века (о подобных вещах человек тайно сведом), и ему приходилось торопиться. Поэтому он суетливее, нервнее, ему не хватало самоуглубленности, о многом он должен был догадываться, а не познавать длительным изучением, и гениальность его была чисто художественной. Гёте же, подобно Леонардо, обладал и научным гением. Они соотносятся — Гёте и Пушкин — как зрелый муж, достигший полного расцвета, и юноша, вдруг ощутивший взрослую усталость. Пушкина не убили, он ушел сам, поняв, что исчерпал себя и согнулся под гнетом быта. Неужели Гёте придал бы хоть какое-то значение жеребцу Дантесу, светским сплетням или долгам?.. А теперь о другом: Пушкин, как он ни громаден, — чисто русское явление, Гёте — европейское, мира в нашем понимании тогда просто не существовало.

*21 апреля 1983 г.*

Станный день, тяжело начавшийся (впрочем, теперь для меня тяжело начало

каждого дня), а в исходе подаривший беспричинное чувство счастья. После кино я вышел пройтись; луна стояла над пустырем довольно чистая, хотя и перечеркнутая стежкой облака, пели птицы, раз-другой шелкнул соловей, но от непрогретого днем асфальта тянуло холодом, подымался туман, из леса надавало студью — уюта в пространстве не было, а я стал по-щелячьи счастлив, как в далекие, прекрасные времена. Может быть, просто давление стало 130/70 и нормализовалась — ненадолго — работа сердца? И никаких тайн, простая, примитивная физиология. Когда-нибудь так и будут описывать всё происходящее с человеком. Вместо психологической околесицы — анализ мочи, кала, данные спирометрии, кровяное давление, пульс, кардиограмма. И читатель будет понимать, что при таких-то показателях герой обязан был развестись с женой или написать донос, или сделать небольшое открытие, или приголубить внука, или поехать в Кинешму.

492

Читаю Апдайк «Беги, кролик» — неинтересно; напряженный в дурном смысле, душный стиль, приевшиеся персонажи, всё какое-то не привычное. Он весь истратился в «Кентавре».

Серьезные люди русские классики. Толстой, садясь за «Войну и мир», обложился Кантом. Придет ли в голову кому-либо из нас ради творческих целей раскрыть книгу по философии, погрузиться в какое-либо учение, а главное, переживать поиск философской истины, как глубоко личное дело. Алексеев, мучающийся над Шопенгауэром или хотя бы Плехановым, Стаднюк, ушедший с головой в Бердяева или Маркузе; никто из них в Ленина-то сроду не заглядывал.

*22 апреля 1983 г.*

Рослый дуботол, с которым я играл на бильярде последние дни, казавшийся мне на редкость неприятным, глупым и надутым, оказался симпатичнейшим человеком, очень начитанным, склонным к культуре, любознательным и добросердечным. Рассказал интересно о церкви, которую он открыл в окрестностях. Он приехал сюда на машине и каждый день отправлялся куда-то в простор, хранящий следы былой помещицкой жизни: полуразрушенные усадьбы Гончаровых, Ланских, Васильчиковых, старые церкви и погосты, въездные, ныне никуда не ведущие ворота с частью стены, конюшни, превращенные черт знает во что. В какой-то лощине, непроглядываемой с шоссе, он наткнулся на церковь XIX века, которую селяне возвели в честь князя Мещерского, освободившего их от крепостной зависимости. Князь был в плену в Туретчине и дал зарок Богу, что отпустит крестьян на волю, если будет ему избавление от нехристей. Бог помог князю бежать из басурманского полона, и он отпустил своих крестьян. А те возвели церковь и на мраморной доске запечатлели нравственный подвиг князя. Случилось это всего за год до освобождения. Поторопился мирской сход, что бы потерпеть маленько — избежали бы расходов.

Начал читать Дос Пассоса «42 параллель» и «1919». Я и забыл, насколько это хорошо. А вернее сказать, не знал никогда, ибо читал это в незрелую отроческую пору. Вот откуда пошли приемы «папы Хема», это всё Дос придумал. Да и Фолкнер у него попользовался, не говоря уже о мелкой сошке. Крепкая рука, совершенная беспощадность и нелюбовь к людям. У него не было никаких иллюзий и ни тени сентиментальности, которой не чужд Хемингуэй. Всё серьезно до конца и безнадежно. Но до чего американские писатели любят писать о запахах! У меня осталось впечатление, что

493

США страна без запахов. Во всяком случае, там не пахнет еда и не воняют люди, как во всем остальном мире. А писатели всё стараются что-то вынюхать в своем стерилизованном мире. Может быть, их томит почти полное бездействие одного из органов чувств? Они чувствуют себя обделенными по сравнению с европейскими

коллегами. Вот и делают вид, что им аж сопатку сводит от многообразных и нестерпимых запахов. А какие там запахи, кроме тех, что источают бесчисленные одоранты: для подмышек, для рта, для ног, для рук, для сортира, для ванной, для кухни, для спальни, для белья, для паха, для жопы, для мозгов.

Вернулась та весна, что подразнила в марте и надолго скрылась. Враз зазеленели тополя, а потом в два приема распустились березы, сперва молодые на открытых местах, а потом и старые, в лесном массиве вовсю цветут мать-мачеха и медуница, а из садовых — нарциссы и тюльпаны. Распелись во всю грудь птицы. Полная луна в сине-серебристом ореоле. Хорошо!

Звонила Алла. Что-то она расклеилась. Сказала о «слезливом настроении» — впервые. Видать, не бывает всё путем. Я рассказал, что Прошка не захотел жить без любимых и объявил голодовку. Это ей понравилось, смеялась.

*25 апреля 1983 г.*

Весна продолжает радовать. Кроме ольх и дубов, все деревья зелены, но ольха тоже подошла к расцвету. Дивный ярко-зеленый мох заполнил щели в плитняке, которым выложены лесные аллеи. А трава зримо прет из разогретой по-летнему жарким солнцем земли. И как всё пахнет: земля, трава, стволы и особенно — листва берез. Такую весну я пережил здесь лишь однажды, в свой первый приезд в 1977 году. Наверное, потому я так сразу и навсегда привязался к этому месту.

*26 апреля 1983 г.*

Текут сказочные дни. Жарко, солнечно, все цветет, неистовствуют птицы. Когда я возвращался с вечерней прогулки, уже в виду проходной санатория, дорогу перебежал дивный замшевый лосенок. Бедняга уткнулся в невидимый за кустарником забор, повернулся и во все лопатки дунул назад. Я видел его темные испуганные глаза.

Нечистый потащил меня на последнюю картину В. Рогового (ныне покойного) «Женатый холостяк». До чего неизящно, натужно, несмешно и необаятельно! Но отдыхающие довольны: не заставляет ни думать, ни переживать. Так мне

494

сказала одна полуинтеллигентная отдыхающая. Советские люди с образцовой бережностью охраняют свой мозг и душу от всяких ранящих впечатлений и загадок. А может, люди, впрямь, чудовищно устали от вечной замороченности, очередей, транспорта, пленумов, демагогии, обмана? Хочется одного от зрелища: чтобы не учили, не воспитывали, не запугивали и не жучили. А хорошая развлекательная продукция западного кино до них не доходит — это для закрытых просмотров. Их «Римские каникулы» — «Женатый холостяк» их Уайлер — Роговой, их Одри Хепбёрн — Теличкина, если не хуже. Винить надо не воспитуемых, а воспитателей. Даже в рабьей своей покорности простые люди не виноваты. А виноваты — изначально — безмерные пространства, холода, снега и ветры России, где человек не мог притереться к человеку и стать общественным животным. Русские люди (в массе своей) ненавидят, презирают и боятся друг друга. И на эту неизбывную сердечную тягость навалилась свинцовая доска окаянной власти. «Не хотим серьезного!», «Не хотим сложного», «Не хотим больного!». «Хотим сладких помоев!» «Ну, а уж коли о серьезном, так чтоб — подделка, чтоб не трогала и не ранила...»

*27 апреля 1983 г.*

Приезжала Наталья Бондарчук с договорами\*. Ее не пустили. У главной проходной оказалось сразу два стража: Главврач\*\* и Начальник охраны. Документы, договоры, объяснения, ссылка на великого отца — ничто не помогло. Строгость этих ответственных и бдительных людей особенно привлекательна на фоне того, что из буфета не вылезают

полупьяные проходимцы из Чехова, из каких-то воинских и милицейских частей, родственники и знакомые отдыхающих. Я подоспел буквально в последний момент и вырвал ее из цепких рук охранников. При этом мне было строжайше указано, что она должна уехать автобусом в 18.10, т. е. через десять минут. Я едва успел подписать восемь экземпляров договоров. Поговорить о деле времени уже не оставалось. До чего же это противно! С приходом нового главврача атмосфера здесь стала куда хуже. Он помешан на двух вещах: охране и окраске скамеек в ярко-зеленый цвет. Типичный русский администратор, тяготеющий к террору и мелким переделкам, именуемым «переустройством». Ничего хорошего он

---

\* По сценариям Ю. Нагибина, написанным по мотивам сказки Ф. Зальтена, режиссер Наталья Бондарчук поставила на Кипостудпи им. М. Горького два фильма: «Детство Бемби» (1984) и «Юность Бемби» (1986).— *Примеч. ред.*

\*\* Какой-то бывший начальник 4-го управления.

495

не сделал, лишь разогнал лучших работников, усилил охрану, почему-то увеличив этим число посторонних на территории санатория, и замазюкал непросыхающей краской все скамейки, так что сесть стало негде.

В условиях нашей тотальной несвободы все мелкие ограничительные меры особенно невыносимы. Мы привязаны за каждый волосок, как Гулливер у лилипутов, к удручающему слову НЕЛЬЗЯ. Каждый, кто причастен хоть к малюсенькой власти, думает лишь о том, что бы еще можно было запретить, какие еще пути наложить на изможденных запретами граждан. После короткого, точно рассчитанного безумия Хрущева, ликвидировавшего лагерь, освободившего всех политических заключенных, открывшего двери в мир, были только запреты и ограничения данного им.

*28 апреля 1983 г.*

Прошел дождь, и то ли от перемены погоды, то ли в близости нежеланного отъезда я съехал с рельс. Стал задыхаться, и давление, похоже, подскочило. Как не полезна мне обычная дачно-московская жизнь, сколько в ней опасных раздражителей! А ведь ничего страшного мне не грозит, никакие сколь-нибудь важные литературные дела сейчас не решаются, а безотчетная тревога приняла отчетливый образ недомогания. Есть что-то страшно вредное для моего организма в самой структуре повседневной жизни. А что можно сделать? Подальше от любой суеты. Как только что-то становится обременительным, докучным — спокойно отходить прочь. Да ведь легко говорить, а всяк человек своему нраву служит. Не отступлю я с легким сердцем, не попячусь от пасти хоть и не бумажного, да и не мясного тигра. Ну а если порассуждать зрело, с учетом моих, почти иссякших физических возможностей. Что прибавит мне еще один напечатанный рассказ? И два, и три, и четыре, и десять?.. Если это не «Терпение» и не «Встань и иди», то ничего — ровным счетом. Как писал Вс. Сахаров, «...ну, написал Нагибин еще один хороший рассказ, кого этим удивишь?» С другой стороны: что бы я ни написал, из моей ячейки мне не дадут выпрыгнуть. Изменить в моей внешней жизни может что-то лишь киноудача. А на это рассчитывать не приходится. Там все места заняты. И наконец, зачем надо пробивать оголтело каждый новый рассказ? Пусть лежит и ждет своего часа, сколько уже раз так бывало. Спешить некуда, дети от голода не плачут. Надо просто писать, держась как можно ближе к себе. И читать. И думать. И вспоминать. И пребывать в

496

жизни, а не в бесплодной погоне за литературными миражами.

*29 апреля 1983 г.*

Завершается еще один жизненный цикл. Здесь было хорошо, очень хорошо. И

спасибо Господу Богу за такую весну. Порой я чувствовал себя настолько счастливым, что орать хотелось. Как дивно гулялось и по никогда не надоедающей дороге от санатория до Шумиловского шоссе, и по сыроватому пахучему лесу, изрезанному быстрыми ручьями, и по ночным тропкам санатория. И как хорошо читалось в тихом, опрятном, хорошо проветренном номере, где никто не мог меня сцапать, сбить с панталыку телефонным звонком, настичь письмом, телеграммой или рукописью. И как хорошо было одиночество и ощутимая каждой клеточкой полезность процедур. Я похудел хорошо, месяц прожил с нормальным давлением, сократил количество лекарств, которыми буквально закармила меня Алла, дал отпуск душе, вернее, той ее части, что ведет мои литературные дела. Я не нажил тут никакой серьезной думы, но поверхностно думал о многом, а это тоже полезно.

*30 апреля 1983 г.*

Жду Геннадия. Вчера здесь мелькнула толстая журналистка, которая семнадцать лет назад брала у меня интервью на даче. Я этого начисто не помню, но она так точно описала тогдашнюю дачу, всех домочадцев и собак, что несомненно так и было. Очевидно, в ее жизни это оказалось чем-то более значительным, чем в моей. Я не встречал такого интеллектуального темперамента. Она потрясена «Терпением», в восторге от многих других моих рассказов, что крайне расположило меня к ней, и все-таки через полчаса за черным кофе я был умственно измочален ею. Сейчас она безработная при высокопоставленном отце. Ее выгоняли из всех журналов и газет, где она работала, потому что не могли выносить ее умственного превосходства, помноженного на неутомимость. Об этом мне сказала ее приятельница, спокойная, молчаливая женщина, сидящая в столовой за соседним столиком. Она так же неуправляема и безудержна в умственном смысле, как герой Гарднера, жирный Генри — в эмоциональном. Интересный феномен.

День холодный, неприятный. Вдруг, после многих лет покоя «вступило» в поясницу. Иссякло благо иглоукалывания? Или это нервный протест на возвращение в родные пенаты? Ну и нервная же я сволочь!..

497

### *ПРОПУЩЕННАЯ ЗАПИСЬ*

Почему-то я ничего не написал о своем скандале с Кривицким из-за Михалкова. Это случилось дней десять назад во время тихой прогулки по территории здравницы — Кривицкий плохо ходит, хотя пьет по-прежнему хорошо. До этого мы уже подумывали о строительстве «моста дружбы» в духе Манилова и Чичикова. Он был на юбилейных торжествах Михалкова и умиленно рассказывал о них. Особенно тронул его тост юбиляра за жену, крепко покоробивший, как мне известно, всех остальных участников банкета. «Вот Наташа,— сказал растроганный чувством Михалков,— знает, что я ей всю жизнь изменял и изменяю, но она уверена, что я ее никогда не брошу, и между нами мир-дружба». Я сказал, что никакого мира и никакой дружбы между ними нет и в помине, что Наташа жестоко оскорблена его поведением, что у нее происходили омерзительные объяснения с его бывшей гнусной любовницей, и что тост его гадок. Кривицкий аж перекопился от злости. «В чем вы его обвиняете?» — сказал он дрожащим голосом. «В данном конкретном случае всего лишь в вызывающей безнравственности». — «Вот как! А вы, что ли, лучше его? О вас не такое говорили!» — «Оставим в стороне то, что я значительно раньше развязался с этим. Но когда я блядовал, то не руководил Союзом писателей, не разводил с трибуны тошнотворной морали, не посылал своих девок за государственный счет в Финляндию и Париж и сам не мчался за ними следом через Иран. А он развратник, лицемер, хапуга, „годфазер“, способный ради своего блага на любую гадость». — «Кому он сделал плохо?» — «Не знаю. Но он слишком много хорошего сделал себе самому и своей семье. Его пример развращает, убивает в окружающих последние остатки нравственного чувства, он страшнее Григория Распутина и куда циничнее. Это о нем. Вам же в наших дальнейших разговорах, если они будут, я самым серьезным образом

советую избегать трамвайного ораторского приема: „А ты кто такой?“. Впервые я увидел, что он растерялся, нет, грубее — струсил. Он испугался такого оскорбления, на которое надо ответить жестом, а на это у него просто нет сил. Он не знал лишь одного, что на подобное оскорбление старого человека я не пойду. Мне сразу стало его жалко, я смягчил тон, и он довольно быстро пришел в себя. В словах он стал осмотрительнее, но волевою ярость в защите Михалкова набрал быстро. А я вдруг понял, откуда это идет, и потерял всякий интерес к разговору, который и поначалу-то не больно занимал меня. Он привык быть холуем у сильного

498

хозяина. Вначале карьеры он холуйничал перед Ортенбергом, редактором «Красной звезды», затем долго был рабом Симонова, рабом восторженным, без лести преданным, вяло, но исправно служил Кожевникову, а, выйдя на пенсию, вдруг остался без хозяина. А это ему непривычно и страшно. И он выбрал Михалкова и притулился к нему, дряхлая, почти беззубая дворняга.

Михалков никогда не вызывал во мне ненависти, скорее — чуть брезгливую симпатию, я сам был удивлен своим упорством в споре. Оказывается, мною двигало одно из тех странных провидений, которые порой озаряют меня. Недавно я узнал, что Михалков опасный и злой человек, что добродушие в нем и не ночевало.

*1 мая 1983 г.*

Похоже, за меня взялись всерьез. Для предстоящего пленума нужны не только положительные, но и отрицательные примеры. Ведь оружие должно на чем-то оттачиваться и надо «одержать победу». Литература так съежилась, так оскудела (одни умерли, другие уехали, третьи замолчали, четвертые засахарились в совершенной покорности), что ничего годного для борьбы, разоблачения, втапывания в грязь, кроме моего «Терпения», не осталось. Конечно, маловата вещица, но если долго ею заниматься, то люди забудут, что речь идет о средней величины рассказе. Расчет подтвердился: уже сейчас многим кажется, будто, раздирая мышцы, исходя кровавым потом, рушат исполина. До чего же от всего этого несет сталинщиной!

А может, нужна последняя встряска перед кончиной, нужно испытать мощное — пусть дурное — содрогание жизни, прежде чем настанет окончательная тишина? Иных перемен, иных переживаний я ждать не мог: передо мной всегда высилась неодолимая стена.

По правде говоря, я не понимаю, почему мною так распорядились, ведь я сделал много полезного с точки зрения государства. Я вполне годился для того, чтоб быть принятым на вооружение. Но власти — я же сам писал — не нужно союзничество, нужно рабское подчинение, а во мне этого не чувствовалось. Это единственное объяснение. Никого так легко не отдавали на растерзание, как меня. А прекращали его только в том случае, если кто-то сверху вдруг говорил: хватит! Мне подсказывали правильный путь: покорность, смирение, отказ от собственной личности. То, что я не жалуясь, не взываю по помощи, раздражает даже наиболее снис-

499

ходительных ко мне. Это игра не по правилам, хуже того, презрение к власти и силу имущим.

Оказалось, что друзей в литературе у меня нет. Еще одной иллюзией меньше.

*2 мая 1983 г.*

Умер Ляпидевский. Герой Советского Союза № 1.

Умерла, не дожив дня до выхода журнала с очерком о погибшем в начале войны сыне, Наталия Николаевна Антокольская, прекрасная русская женщина. Она пережила и Павла Григорьевича, и дочь-калеку, ослепла, но не сдалась, не согнулась, не озлобилась.

Ей выпало единственное грустное счастье за долгий век: в исходе дней получить назад дряхлого, больного, задыхающегося, хромого, полубезумного Павла Григорьевича, которого любила всю жизнь. У нее был литературный дар, но она не напечатала ни строчки, она была создана для большого и теплого семейного гнезда, но и в этом ей отказали. Но главная мечта ее осуществилась: Павел Григорьевич дотлевал при ней. Как везло на людей грешному, слабому, с легковесной душой Антокольскому: Марина Цветаева, Наталия Николаевна, Зоя, по-собачьи преданная Варя и шофер-нянька Николай Михайлович.

Отвратительно, что «ждут указаний» для продолжения жизни духа. Сейчас всё духовное выключили, как электричество в пустой комнате. Мы живем без литературы, без искусства, без цели и без... Президента. И никого это всерьез не волнует, особенно — последнее. Можно отменить всю систему государства, оставив только диктатора и охрану, ничего не изменится. Можно закрыть все газеты, журналы, издательства, музеи, театры, кино, оставив какой-нибудь информационный бюллетень и телевизор, чтобы рабы не слонялись без дела, гремя цепями. И конечно, должна быть водка, много дешевой водки. Она не замедлила появиться, и благодарный народ нарек ее «андроповкой». Теперь стало до конца ясно, что у нас все играют на народной жизни.

### *ВЕНГРИЯ*

*5 июня 1983 г.*

Вместе с «душой Тряпичкиным» — Аршанским прилетел в Будапешт. Встречали нас только представители венгерского «Инфильма». Из объединения, с которым я начинал работу, не было никого. Я уже знал, что фильм из-за огромных расходов на откуп «биографических материалов» у семьи Каль-

500

мана сократился до односерийного, но не знал, что и объединение во главе с профессором К., и сам Габор Колтай предали меня. Они отказались от сценария, не успев прочесть его, и Габор уже снимал рок-оперу о св. Иштване.

В Будапеште 28°, духота, как в Рангуне. Поселили нас в отеле «Форум», бок о бок с «Атриумом», где я жил в прошлый раз. «Форум» — того же класса, но в нем нет прозрачных лифтов, где играют Шуберта в светлые дни и сонату Шопена — в траурные.

Мы сразу отправились на прогулку, но быстро вернулись домой. Будапешт — в этой части — очень плохо освещен, почти безлюден. Воскресенье истекало последним часом, а жизнь и работа начинаются тут очень рано. Мы разошлись по номерам, и сразу же нахлынула тоска. С фильмом плохо, теплой встречи не получилось, город не принял меня.

Решил заставить себя думать о чем-то хорошем. Москва вспоминалась дурно: суетой, литературными неудачами, газетно-журнальной травлей, массой обременительных ненужностей. Память о недавнем школьном вечере была слишком щемящей. Ничто не волнует меня так сильно, как встречи со школьными друзьями. Но я неизменно впадаю в какой-то полутранс, и часы проносятся мимолетно, оставляя в душе тоскующий след, как будто истаивает медленно надрывная нота. И тут я вспомнил об Орле, где в мае записывал телепередачу о Лескове, которую сам же сочинил. Об этом думалось хорошо, хотя и там оказалось немало разочарований.

В Орле поставлен гигантский мемориал Лескова, занимающий целую площадь. Посредине в кресле восседает монументальнейший, уже пожилой, заматерелый и грустный Лесков, а вокруг, на высоких постаментах расположились его главные герои: косой тульский Левша, Очарованный странник, пожирающий ошалелым взглядом пляшущую перед ним Грушу, божедомы, Тупейный художник, причесывающий свою горькую любовь — крепостную балерину, леди Макбет Мценского уезда у позорного столба. К мемориалу относятся: гимназия, столь недолго удержавшая в своих стенах не преуспевшего в науках гения русского сказа, соборная церковь, где он молился и бил поклоны; отсюда же берет начало улица, по которой он ходил в судебную управу в пору

недолгой службы. На снимках мемориальное творение отца и сына Орешкиных выглядит очень соразмерным и пропорциональным, я думал всю передачу провести на площади, благо, что в проспекте горделиво указано: к Лескову можно прийти только пешком, движение городского транспорта вблизи памятника обрывается. Поэзия и правда! Бронзовые фигурки

501

персонажей оказались крошечными, с бутылку из-под шампанского, никак не соотносящимися со своим громадным творцом. Вот как получается, когда Отца и Сына не осеняет Дух Святой — не хватило третьего Орешкина. Совместить же меня с бронзовыми куколками — дело вовсе невозможное. Да и ненужное: по площади каждые две-три минуты с лязгом, скрежетом, звоном проходят трамваи, проносятся грузовики с оторванными глушителями, тархтят мотоциклы. Несмотря на присутствие высокопоставленной милиции (на редкость бессильной), удалось записать лишь несколько фраз начала и концовку, всё остальное пришлось перенести в кабинет Лескова, сохраненный его сыном и биографом Андреем Николаевичем в кошмаре ленинградской блокады и позднее перевезенный в орловский дом-музей. Кабинет в прекрасном состоянии, украдено лишь два Боровиковских (сомнительных) да несколько икон. Если бы не гипертонический криз (я выехал машиной в Орел при давлении 180/100), то было бы упоительно вести передачу за столом, на котором лежали локти творца «Соборян».

Дом Лескова почему-то входит в комплекс «Музея Тургенева», и посмертно обхамили Николая Семеновича. Рядом с музеем — «дом Калитиных» — это что — из «Дворянского гнезда»? — со старым парком. А за парком — глубокая щель, где ютился Несмертельный Голован. Внизу протекает живописный и неожиданно полноводный Орлик, в излучке, на той стороне — слобода, где родился Леонид Андреев. Всё тонет в сиренях, воздух так густ и прян, что кружится голова.

В тургеневском музее самое замечательное — размещенные здесь кабинеты Фета, Бунина, Леонида Андреева, Пришвина и Новикова (автора «Пушкина в Михайловском»). Вещи всё подлинные, никаких «заменителей» тут не признают. У Фета кабинет просторный, барский, с великолепной павловской мебелью: комфорт, уют и удобства; кабинет человека, поздно выбившегося в большие баре и вознаграждающего себя за прежнюю обобранность. И до чего ж беден и жалок на этом фоне парижский кабинетик Бунина, доставленный сюда из Пасси, куда мы с Аллой ходили поглядеть на его дом. Крошечный письменный столик, под стать ему креслице с истертой обивкой, железная кровать с тощим одеяльцем, как нище жил величайший словотворец века, лауреат Нобелевской премии, наследник Чехова! И снова контраст: грандиозный кабинетик Леонида Андреева из его финской дачи. Разгул нуворишества. Колоссальные, тяжеленные кресла с двухметровыми прямыми спинками, непомерный стол — смесь терема с модерном в пропорциях

502

добряка Гаргантюа. Конечно, нерослый Андреев страдал манией «грандиоза». Дальше — эклектичный, из случайных вещей кабинет Пришвина, человека вовсе не кабинетного, не городского, и вдруг решившего обставиться под классика, для чего понадобился зачем-то высоченный деревянный фонарь из сюрреалистического спектакля. Он перехватил его в комиссионном у какого-то режиссера. О кабинете Новикова говорить неинтересно, как и о нем самом.

На обратном пути мы заехали в Спасское-Лутовиново, имение Тургеневых, полюбовались отлично сохранившимся домом, бильярдом, помнящим меткие удары Фета, знаменитым кожаным диваном в прихожей, на котором после охоты заснул со свеженьким романом «Отцы и дети» в руках утомленный Лев Толстой, навек обидев хозяина дома.

Но лучше всего был сад. Дивные, прямые, как стрела, «темных лип аллеи», среди

них — посаженные самим Тургеневым, чудесные шатровые древние ели, много-много ясеня — здесь проходит его северная граница; на ухоженных дорожках — чересполосица солнечного золота и бархатистых теней деревьев; залитые светом лужи и полянки; таинственные, дикие, чащобные, заручьевые, уже не садовые, а лесные заросли, где по слухам водится всякая нечисть. Божественная тишина, нарушаемая лишь пением птиц, божественный настой цветов, трав, древесной коры. Удивительная гармоничность и умиротворенность во всем, этот мир создавали умные и бережные руки. И вдруг мощно, вольно, во весь голос ударил соловей. Как странно, что обладая такой усадьбой, такими липами, ясенями и соловьями, Тургенев невылазно торчал в Париже у юбки Виардо. Давно не испытывал я столь полного и совершенного счастья, как в этом саду. И сейчас, вспоминая о нем медленно, тягуче, будто мед переливал, я спас себя в томительный венгерский вечер и заснул счастливым.

*6 июня 1983 г.*

Утро началось с явления темного человека Юрия Александровича, с которым я познакомился в первый приезд. Он числится представителем «Совэкспортфильма» в Венгрии, но, как и подавляющее большинство его коллег, занимается чем угодно, кроме навязывания инородцам наших скверных, фильмов. В тот раз он прицепился ко мне, как волчек, чтобы я выступил перед нашими «оккупационными» войсками. Он именно так сказал, оговорившись совсем по Фрейду. У меня не было ни минуты свободной (равно и желания), и я как-то сумел отвертеться. На этот раз ускользнуть не удалось, он

503

прибыл в гостиницу с готовыми пригласительными билетами на встречу со мной во Дворце советского культурного центра. Но, конечно, Юрий Александрович не местный Сол Юрок — это так, между делом, а служит он главной заботе нашего дружелюбного и доверчивого государства. Он и во время войны был шпионом, по слухам, очень радательным. Но с той героической поры спился, постарел, опустился, утратил мобильность.

Забегая вперед, расскажу о его появлении в Москве в дни Международного кинофестиваля. Он позвонил мне сразу по приезде, чтобы условиться о встрече с венгерской делегацией у меня на даче. Потом еще несколько раз звонил мне и Аршанскому, дабы не вышло какой осечки, ибо встреча, по его утверждению, имела важное политическое значение. Замешанная в высокую политику, Алла расстаралась на славу: венгров ожидал роскошный ужин, все виды напитков, гурии, блаженство рая. Но в день встречи он как в воду канул. Приехал «душа Аршанский» с женой — Гурией, а ни Юрия Александровича, ни венгров не видать. Потом дошли слухи, что его видели вдребедину пьяным на клеенчатом диване гостиницы «Россия» — в одном из коридоров. Очухался он около девяти часов вечера, позвонил сюда, сказал, что сейчас едет, но не мог запомнить адреса, в чем честно признался. «Да, говенные мы организаторы!» — самокритично приговаривал он. Я предложил ему заменить множественное число на единственное, что задело его чуткую душу: вопреки обещанию он не перезвонил. На том и закончился вечер советско-венгерской дружбы.

Почему так поторопились с устройством моего выступления, мы выяснили в то же утро в посольстве. Принявший нас советник по культуре сообщил, что отношения с венграми ухудшились. Они всё сильнее тянутся к американцам, ходят на все их мероприятия, а наши игнорируют. Эта встреча устроена в расчете на мою популярность в качестве автора сценария о Кальмане, которого венгры терпеть не могут. Венгерское кино обратилось к военной теме и выдало на-гора большой фильм об уничтожении нашими войсками их 5-й армии, поспешавшей на выручку Паулюсу. После этого в газетах появились крайне недружественные высказывания венгерских молодых людей в наш адрес. Для них оказалось полной неожиданностью, что мы так лихо и беспощадно уничтожали их отцов и дедов. Мы заявили официальный протест и против фильма, и

против газетной кампании. В ответ фильму присудили высшую премию. «Вы понимаете, что в сложившихся обстоятельствах совместный фильм о Каль-

504

мане приобретает особое значение,— заключил советник и добавил.— Надо опровергнуть утверждения венгров, что с русскими вообще нельзя иметь дела». Не сказать, что всё это звучало ободряюще. Заодно я узнал, что фильм передан в другое объединение, другому режиссеру, а Габор всю снимает легкий мюзикл о страстях св. Иштвана.

Выступление мое прошло на диво блестяще. Зал был полон. Присутствовали писатели, переводчики, газетчики, артисты, музыканты, студенты, замшелые, впрозелень, старухи и цветущая юность. Убей меня Бог, если я знаю, чего они приперлись. Правда, в разговоре выяснилось, что эти люди либо читали меня, либо видели мои фильмы: «Дерсу», «Чайковского», «Красную палатку» и, что меня особенно поразило «Председателя». У нас он до сих пор запрещен для демонстрации по Центральному телевидению. С русскими, и правда, трудно иметь дело.

Принимая душ перед обедом, я вторично в жизни грохнулся в ванне, свернул спину, но уберег голову. Чтобы domыться, я прибег к помощи специального пупырчатого коврика, препятствующего скольжению, и так проехался на нем, что едва собрал кости.

Обедали в очень милом летнем ресторане, но у меня сильно болела грудь, ребра и рука, и я отказал себе в лишнем аперитиве. «Душа Аршанский» немедленно последовал моему примеру, хотя выпить ему хотелось до рези в глазах. Он во всём видит подвох и забивание свай под губительный донос: «Вот я — воздержался, а зампред „Совинфильма“ осадился водкой»...

За обедом венгры продолжали помаленьку врать о внезапных переменах, постигших наше общее дело, так что я окончательно утратил представление, что за всем этим лежит.

*7 июня 1983 г.*

Познакомились с директором объединения Бачо и новым режиссером Дьёром Палашти. Бачо, видимо, неглуп, остер, очень самолюбив, хочет играть роль, из фрондирующих. Палашти куда проще, человек милый, упрямый и с репутацией остряка. Свое участие в кальмановской страде он объяснил так: меня втянули в это дело, поскольку у меня репутация режиссера, способного сделать фильм из телефонной книги. Я тут же сказал, что мне угадывается в нем прямо противоположное умение. Бачо недобро усмехнулся, а он, похоже, не понял, что я имел в виду.

За кофе разговор пошел мягче, доверительней, но что-то

505

они крутят, а что — не пойму. Опять я услышал, что «мы нация Бартока, а не нация Кальмана». Опять жевали жвачку на тему: Кальман кинулся в оперетту, потому что у него не пошло дело с серьезной музыкой. Я спросил, известно ли им, что Шостакович всю жизнь мечтал написать оперетту, не раз брался за дело, но лишь однажды, с великим напряжением выдал ублюдочное творение, быстро сошедшее со сцены. Поняв, какой это тяжелый хлеб, он провозгласил Оффенбаха и Кальмана **гениями**. Венгры остались при своем: написать симфонию трудно, а оперетту легко. Это разные одаренности!— надрылся я.— Великому Толстому не написать было юмористического рассказа на уровне Ильфа и Петрова. А мастера советской сатиры и юмора обратились к Остапу Бендеру вовсе не потому, что обожглись о советских братьев Карамазовых. Но разве вдолбишь такое людям, которые органически не понимают природы творчества и природы одаренности. Они и представить себе не могут, что творческий акт, породивший «Сильву» (именно «Сильву», а не оперетты Оскара Штрауса или Оскара Фельцмана), не уступает качественно тому, что явил ноктюрны Шопена или симфонии Брамса. Просто разные ипостаси единого Божьего духа.

Ко всему им противно, что автор фильма о венгерском композиторе, пусть и мало

ценимом,— русский. Это понятно, хотя и мелко. Меня, к примеру, нисколько не раздражает, что Клаус Манн написал роман о Чайковском.

Другое их рассуждение: Кальман не народен, потому что не народна цыганская музыка, с ее вершиной — чардашем. Народными считаются только те древние истоки, которые питали Бартока и Кодая. Тогда не народен и Чайковский, ибо он не спускался до рожковой музыки, но много брал от старого городского романса. Цыгане пришли в Венгрию три века назад и не остались тут кочевниками, как в России, что не мешало Пушкину, а позже Григорьеву, Полонскому и — особенно — Блоку пользоваться цыганскими мотивами в своем творчестве,— они прочто осели на землю (я сам бывал в цыганских деревнях), их искусство, их мелодии проникли в венгерскую кровь. Справедливо говорят о **венгерско-цыганской музыке**, о ее влиянии на Листа, Брамса и др. Палашти путает ресторанных цыган с таборными и оседло-сельскими. Утверждать, что чардаш не народен, равносильно утверждению, что не народна вся русская музыка, написанная не крюками. Непредсказуемы ходы судьбы, кто бы мог подумать, что мне придется с пеной у рта, до срыва сердца защищать Кальмана от его соотечественников. Но кой черт мне всё это сдалось?

506

*8 июня 1983 г.*

Встреча в Министерстве культуры с заместителем министра по кино Сабо. Это один из тех чиновников, которых народная молва снимает с поста чуть не каждый день. Такие обычно держатся дольше всех. Опять утомительные рассказы о том, что Габору было не совладать с Кальманом, поэтому его отфутболили на легкую темку о св. Иштване. А затем — чудовищный, избыточный, острейший, разрушающий печень обед.

Долго разговаривал с Палашти в его красивом доме в Буде. Высоченные потолки, широченные окна, в которые ломятся усыпанные крупными спелыми ягодами ветви черешен. Как задавленно, темно и тесно мы живем! Режиссер не пьет, не курит, не ухаживает за женщинами, не путешествует, не заражен коллекционерством и тягой к культуре, он не охотник и не рыбак и уж давно не игрок; все заработанные деньги вкладывает в дом. Это его единственная страсть. «Я прихожу сюда, обретаю эту тишину и счастлив». А зачем ему тишина? Какой в ней смысл? У него некрасивая симпатичная жена с антикварной лавкой, дающей много больше, чем вся его режиссура. Есть дочь-невеста. Скоро будет свадьба: она кончает театральный институт и выходит замуж за молодого актера. Сказала, что они дня не останутся со «стариками» под одной крышей. Придется снимать им квартиру в Пеште, что повергает счастливого отца в пучину отчаяния, не столько морального, сколько материального толка. Дочь ни за что не хочет сниматься в его фильмах, он объясняет это ее щепетильностью, думаю, что начинающая актриса просто не хочет портить себе репутацию. В хорошую историю я влип.\*

Ужинали в частном ресторане под открытым небом, на площади в Буде, где дымчато-голубой взгляд новорожденного Палашти впервые столкнулся со светом и где позже он кончал среднюю школу. Этому месту суждено стать мемориалом великому постановщику «Кальмана». Ресторан был частный. Хозяин, молодой парень, сам подавал на стол из уважения к жене Палашти, к ее коммерческому гению.

*9 июня 1983 г.*

Магазинный день. Перед тем как мы рванулись в мнимый избыточный мир торгового Будапешта, к нам зашел интересный молодой человек Петер, производственный директор нашего нового объединения. Он категорически потребовал на-

---

\* В дальнейшем я стал о Палашти (режиссере и человеке) куда более высокого мнения.

507

звать ему день начала съемок, показать павильоны и т. п. И это при ненаписанном еще

сценарии. Я уж на что не деловой человек, а и то понял, что это арапский номер. Палашти занят какой-то халтурой на телевидении и ему нужно тянуть время, имитируя деятельность. Но «душа Аршанский», старый производственник, был на высоте и в два счета сделал дурака из этого хвастуна. Тот понял, что попал не на трепача-чиновника, а на матерого специалиста, и поджал хвост.

Промучившись по жаре весь день, мы кое-как отоварились и после прекрасного освежающего бассейна при гостинице отправились на прощальный обед в Буду, в лучшую ее часть возле «Хилтона», где мы когда-то останавливались с Аллой. За жареной форелью венгры принялись врать, что Палашти надо время, чтобы ознакомиться с материалами, а то мы сейчас в неравном положении. Я сказал, что это положение сохранится вперед, ибо материалы существуют лишь на немецком и русском языках, которыми Палашти не владеет. Тогда местный Аршанский — Пал, которого я неизвестно почему держал за приличного человека, стал нагло врать, что он переведет для Палашти книгу Веры Кальман (350 страниц) за три дня, книгу Эстеррейхера (230 страниц) за 2 дня, а Мусатова — в обеденный перерыв. Тут даже нашим гостеприимным хозяевам стало совестно, и разговор замяли.

Попутно выяснилось, что сценарий у них до сих пор существует только в подстрочнике, поскольку Шопрони дали на перевод пять дней и он, даже с помощью другой моей переводчицы, ничего лучшего сделать не мог. «Вы же сами настаивали на Шопрони» — неблагородно укорили меня. А я не настаивал вовсе, я дал Еву Габор, сказав, что Шопрони может ей помочь. Студия сама обратилась ко мне, поскольку они не знают ни одного литературного переводчика с русского. «А почему сценарий до сих пор существует лишь в двух экземплярах? — спросил я.— Почему с ним не познакомили Ольгу, нашу устную переводчицу? У вас же есть ксерокс». На это они вообще не смогли ничего ответить и предложили выпить. Я отказался со злости, чем глубоко огорчил Аршанского. Без меня он не отважился на рюмашку. Под конец я их вообще обхамил. Они предложили мне в наш последний день поработать с режиссером, на что я ответил решительным отказом. Мы не можем работать с ним, пока он хоть что-нибудь не узнает про Кальмана или хотя бы внимательно прочтет сценарий. Я торчу тут почти неделю, а он не потрудился хоть как-нибудь приблизиться к Кальману. Я поеду с Аршанским на Балатон. По-моему, они испытали некоторое об-

508

легчение. Значит, не будет новых споров, резкостей, взаимных уколов и неудовольствий, грязного рабочего пота, будет сладкий «фан»\* на лоне природы.

*10 июня 1983 г.*

Провели день на Балатоне. Купались, загорали, обедали, плыли паромом на полуостров, где осмотрели старый монастырь. Там есть модернистская скульптура св. Иштвана — из жести, талантливо сработанная.

Когда американцы снимали там какой-то фильм, городские власти приказали прибрать территорию возле монастыря, чтобы не срамиться перед культурными янки, и местные радители первым делом свезли на свалку эту скульптуру, сочтя ее железным утилем.

Под вечер неожиданно появился чего-то перетрусивший Палашти с Ольгой. Мы долго разговаривали на открытой террасе кафе. Я предложил им приехать в Москву и там составить подробный эпизодный план сокращенного сценария, чтоб я мог делать его уже наверняка, по прямому адресу. Палашти всполошился, испугался, расстроился и заявил, что в Москву он ни за что не поедет. Из его лепета выяснилось, что он считает Москву каким-то вертепом, новым Вавилоном, Содомом и Гоморрой, Лонг-Айлендом и Пляс Пигаль в одном лице, что в этом вихре развлечений, наслаждений, сладостного порока, дионисийского культа невозможна никакая работа, даже малая сосредоточенность, и его, тихого, непьющего человека, недавно перенесшего инфаркт,

просто сметет этот ураган. Тогда я пригласил их к себе на дачу, в сельскую тишину, на полный кошт. Неуверенно, испуганно он согласился.

И приехал, и это стало началом моей гибели...

*18 июня 1983 г.*

Провел неделю в Венгрии, где «Кальманиана», похоже, рухнула, по причинам мне непонятным. Самое характерное для нынешнего времени — совершенная неясность мотивов происходящего. Всё покрыто канцелярским таинственным мраком.

Отношение весьма прохладное и не только из-за кинонеприятностей. Венгры косятся в сторону, ставят фильмы о своих погибших на Дону героях и проявляют удивительное равнодушие к нашим воздушным поцелуям.

---

\* Fan (англ.) — развлечение, веселье, забава. — *Примеч. ред.*

509

В проулочке возле Вацци — бедного женского рая — я увидел группу низкорослых плохо одетых людей, которые выскочили из автобуса и вмиг создали очередь у маленького магазина, хотя в соседних был тот же невзрачный набор товаров. Я узнал моих знатных соотечественников. Они не представляют, что можно что-то купить без очереди, этого не принимает замученное сознание. Они поторопились создать знакомую реальность, чтобы поверить в чудо поупок.

Старуха Кудрявцева нанесла мне удар под ложечку. С помощью своего родственника, секретаря Калининского обкома, добилась от высшего начальства запрещения моих рассказов о Лемешеве. Маленьких, исполненных любви и нежности рассказов. Хорошо это выглядит в конституционном государстве, без усталости бубнящем о законах и законности. Мера в духе Николая I, запретившего писать Чаадаеву.

Состоялось великое мероприятие, столь трепетно ожидавшееся всеми причастными российской словесности. Но что-то незаметно просветления в изождавшихся душах. Мелкая дрожь продолжает колотить редакторов и издателей, всё так же мутен и уклончив их тусклый взгляд.

Не ликуют и рядовые труженики: реальная зарплата уменьшилась на одну треть в связи с сокращением премиального фонда.

Правда, есть и хорошие стороны: справедливость торжествует. Щелокова и Кубанского разбойника вывели из ЦК за допущенные ошибки. Каждый ошибся на миллионы государственных рублей. Щелоков до того наошибался, что его жена покончила самоубийством. Впрочем, ходят слухи, что он сам ее прикончил, чтобы свалить на нее вину; кроме того, слабонервная женщина требовала, чтобы он вернул всё награбленное.

У Гали Б. тоже много ошибок, связанных с бриллиантами. Но она получила 200 рублей пенсии и пьет мертвую на даче, и с распухшей мордой стреляет на личном пруду полудиких уток.

Что-то непривлекателен этот новый виток нашего бытия. Он не сулит даже обманчивых надежд; недаром, вопреки обычной доверчивости советских людей к приходу новых руководителей, не возникло ни одного доброго слуха. Все ждут только зажима, роста цен, обнищания, репрессий. Никто не верит, что поезд, идущий под откос, можно вернуть на рельсы. Странно, но я ждал чего-то разумного, конструктивного, верил в серьезность попытки восстановить утраченное досто-

510

инство страны и народа. Слабые следы такой попытки проглядывают в угрюмо-робкой деятельности нового главы. Но он не того масштаба человек. Ему бы опереться на те созидательные силы, которые еще сохранились в народе, на интеллигенцию, на гласность,

но он исповедует древнее благочестие: опираться надо лишь на силу подавления. Это дело гиблое.

*19 июня 1983 г.*

Хорошо сегодня утром спалось под грозу. А в кратких опамытываниях под раскаты такими ничтожными казались и критическая брань, и злые интриги Верки Кудрявцевой, и вся трусливая возня, в которую выродилась литературная жизнь.

Характерно для великого равнодушия, объявшего моих соотечественников, для молчаливого признания мнимости всех утвержденных ценностей, что о внезапной смерти 82-летнего А. Суркова, неотделимого от эпохи, мне за весь день слоняния по редакциям никто ничего не сказал. А это значит: не поэт, не человек ушел, а свалился фанерный лист с изображением какого-то сановника. Ну и что? Другой поставят.

С Трифоновым так не было, даже с полузабытым Ю. Казаковым не было. Это проверка истинной ценности литераторов. Нечто подобное, но уже в гомерических масштабах происходит с нелитературными смертями. Уходит благодетель человечества, борец за мир, величайший герой на поле брани и на ниве созидательного труда, а всем до лампочки. Через день уже никто не помнит, что он был.

О великих решениях, призывающих, помимо всего прочего, к простоте и ответственности, к прямому и честному разговору с народом, говорили на обычном выпрэнно-ледяном, помпезно-казенном языке, исключавшем серьезность преобразований. Либо уже не могут говорить иначе, чем на языке пышно-бюрократической лжи, либо кому-то хочется скомпрометировать и принятые решения, и лежащую в основе их инициативу.

*14 июля 1983 г.*

Я прошел по самому краю своего жалкого существования, по узенькой полосе, за которой обрыв. Нервную, вредную ра-

511

боту с Палашти я соединил с гриппом, который перенес на ногах, и с пьянством. Грипп сперва ударил меня в грудь — отчаянно болел пищевод, каждый глоток давался с невероятным трудом, — потом обложил горло налетами, потом дал чудовищный гипертонический криз, приступ остеохондроза — спать не мог, — и, наконец, предельное обострение стенокардии. Легкий дискомфорт в области солнечного сплетения перешел во всё усиливающиеся болевые схватки. Затем боль стала неотвязной и не давала заглушить себя жменями нитроглицерина. Хорош был и фон: сперва — мозжащий холод, затем — паркая, душная жара с грозами, воздух перенасыщен электричеством, которое потрескивало в кончиках пальцев. Склонен думать, что никогда еще не был я так близок к финишу, и нет уверенности, что все обошлось. Нет, я еще не готов к смерти. Мне хочется увидеть и новые свои книги, и пластинку, и хоть какую-то картину из всех заделанных. И еще мне хочется видеть Аллу. Расставание со всеми другими людьми мне не будет трудно, ведь Лены уже нет. Столько прожить и не нажить хотя бы одной дружеской привязанности!.. Ну, это не совсем так. Были Павлик и Оська, и Саша Галич, и еще были друзья, да скурвились. А иные связи, некогда сильные, не поймешь почему, ослабели: Верочка, Любочка, Слава.

Ходим на просмотры в Дом кино. Грустно. Кроме профессионально крепкого фильма Лидзани, ничего, хотя бы пристойного не было. А ведь какие имена: Трюффо, Коппола, Каstellани, а маразм такой, что не знаешь, плакать или смеяться. Больше тянет к первому: жалко, что всё так развалилось и унизилось в лучшем из миров.

Горделивое сообщение в фестивальном журнале: «Завязываются тесные связи с

кинопредпринимателями Мозамбика и Мадагаскара». Это ж надо додуматься!..

Провал полный, а газеты бьют в литавры, как во время страшной Олимпиады. А кого, собственно, обманывают? Весь мир знает о полном падении давно уже опустившегося фестивалишки, ну, а мы-то подавно знаем. Никто из больших актеров не приехал. Ни одного имени. Нельзя же серьезно относиться к Раджу Капуру. А на прежних фестивалях бывали Де Сика, Феллини, Лоллобриджида, Куросава. Это мероприятие стерто с кинематографического глобуса земли.

512

*16 июля 1983 г.*

Позавчера были на концерте Евтушенко, посвященном его пятидесятилетию. Тут повторилась история, стрясшаяся со мной в Зале им. Чайковского, только в более гнусном виде. Чингиз Айтматов читал поздравление, хорошо и тщательно составленное. Это чувствовалось по отдельным фразам, достигавшим нашего слуха. Остальное пропадало в звуковой каше, заваренной испорченным микрофоном. Чингиза дважды хлопками, криками и топотом ног сгоняли с трибуны — не из дурного чувства, но хотелось слышать, что он говорит, и публика требовала исправить микрофон. Этого так и не удалось сделать. После второго провала он покинул сцену весь какой-то обмякший и разом постаревший. Женя не был столь подавлен. Хорошо поставленным голосом он попросил извинения у «своего друга Чингиза» за шалости техники и, не задерживаясь более на нелепом происшествии, уверенно начал читать. Но и у него случился сбой: публика начала орать: «Дальше от микрофона!», «Ближе к микрофону!» Не теряя хладнокровия, Женя сказал: «Эдак с ума сойдешь: дальше, ближе, дальше, ближе. Слушайте, как есть». Тогда публика сама стала находить в громадном караван-сараяе те места, куда долетали слова. Какой бардак! Почему ни здесь, ни в Зале Чайковского, ни в Большом Кремлевском дворце во время кинофестиваля не проверили предварительно аппаратуру? До чего же всем на всё наплевать. И главное, никто за эти безобразия не расплачивается.

Кстати, выяснилось, что мой двухчасовой вечер в Академии им. Фрунзе, так долго готовившийся, прошел под онемевший микрофон. Но военные люди бровью не повели: сидели, не шелохнувшись, и, возможно, были рады, что им не морочит ослабевшее сознание чей-то настырный голос. Беззвучие было роскошно оформлено: мне вручили грамоту, стопку военных книг, памятный вымпел, вынесли устную благодарность, угостили коньяком. Потом еще прислали фотографии и хороший денежный перевод. Словом, моя деятельность в качестве Великого немого была высоко оценена. Может, это новое направление в идеологической работе? Ведь у нас форма начисто оторвана от содержания. По форме идет напряженная культурная жизнь, но содержания никакого, оно поглощено беззвучием.

А стихи Женя читал плохие и длинные. И даже старые его стихи, казавшиеся по памяти свежими, больше не звучат. Нищие мыслишки, ничтожные слова, убогие рифмы и, главное — тягуче, тягуче, как патока. Это чисто эстрадная поэ-

513

зия, теперь уже нет никаких сомнений. Но и такая имеет право на существование в век поп-арта.

Хороша была старушка с букетом — «прорывающая ряды». Скорей всего, Женя нанял ее за грешницу, уж слишком неправдоподобно, гротескно она выглядела: бабушка-«тролльчиха» полуметрового роста. Женя преклонил колена, поцеловал лягушачью лапку и прижал к груди скромный букет. Публика отнеслась со сдержанным восторгом к этой явной показухе. Женя ничего не стыдится.

На второе отделение мы не остались, я неважно себя чувствовал. Пропустили и банкет, где в положенную минуту раздастся: «Я подымаю бокал за удивительную русскую женщину, за Василису Премудрую, Марфу-Посадницу, мою вторую маму, Нину Сергеевну

Дристунову, заместителя директора ресторана „Окунь“». И тогда присутствующие с облегчением поймут, что банкет не подорвет благосостояния торгового дома «Евтушенко и сыновья», ибо шпроты с задранными хвостами, плавающие в желто-зеленом машинном масле, колбаса из нутрии и прочие разносолы доставлены бесплатно премудрой женщиной из ресторана «Окунь», и никому, кроме государства, ничего не стоили, равно как и славное вино в оплетенных бутылках, присланное благодарной Грузией, чьих звонких сынов Женя перепирует на язык родных осин. Сам же виновник торжества в таких случаях потягивает персональную «Изабеллу», которую держит под стулом.

*1 августа 1983 г.*

Вот уже неделя, как я мучаюсь обострением ишемической болезни (так, кажется, это называется по-научному). Сперва были кратковременные схватки, потом они превратились в мучительные, ничем не снимаемые приступы. Наконец, стало так неуютно, что я дал повести себя к Орлову. Правда, местная кардиограмма, которую делали на аппарате времен Анны Иоанновны, ничего плохого не показала. Более совершенная аппаратура Орлова показала небольшое ухудшение, подтвержденное американским прибором стоимостью в двести тысяч долларов. Я видел на экране собственное, как-то гибельно содрогающееся сердце. Тяжелое впечатление. Орлов ничего угрожающего не обнаружил и дал нормальное, вполне консервативное лечение. Но мы-то и сами не лыком шиты. Еще до визита к нему мы нашли кудесника, который курсом сухого голодания брался вернуть мне мое спортивное сердце, юношескую стройность, давление космонавта. Волшебного человека звали Гелий Константинович

514

Казеев, он был похож на чертика-домоуправа из «Альтиста Данилова»: мышинный жеребчик с острой бородкой, до дерзости самоуверенный, «фанат» своего метода, как сейчас любят говорить, с ореолом авантюризма, которым отмечена вся буйно разросшаяся доморощенная медицина. Его конек — голод. Считается, что он спас Маратова. Может быть, так оно и есть, ибо он пользовал его после курса, который Дима прошел у Орлова. Со мной же этот эскулап сыграл в отчаянную игру; он подготовил меня к голоданию тем, что вывел из моего организма все соли, прежде всего калий, с помощью «тюбажей» и чудовищных клистиров, кроме того, продержал меня на строжайшей диете, а в заключение отменил все лекарства: гемитон, индерал, валиум. Наконец, после горячей ванны настал голод. При этом я обязан был вести обычный образ жизни: немного работать, гулять, встречаться с людьми. Исполнительный и послушный, как всегда, когда вверяюсь чужой воле, я поработал, почитал, послушал музыку и поехал осматривать храмы. Если б я дал себе труд разобраться в том щемящем чувстве, с каким глядел на город, на прохожих, ощущая драгоценность каждого усталого лица, то наверняка бы понял, что умираю. Но мне не хватило какой-то малости. Уже на пути домой мы проехали мимо полуразрушенной церкви, где на паперти дремал старик-сторож, а над ним красовалось объявление: «Подгонка мужских брюк по фигуре». Ради этого уничтожили старинный храм. И вот тут мне стало грустно воистину предсмертной грустью.

Едва вошел в квартиру, позвонила Таня Гутман, снимавшая меня накануне для документального альманаха. Я испугался, что нужны пересъемки, и почувствовал тесноту в области грудины. Но Таня кинула оливковую ветвь: всё в порядке, никаких пересъемок. Боль отпустила. Минут через десять снова начало щемить, всё сильнее и сильнее. Я обжирался нитроглицерином — ни черта не помогало. Вызвали Гелия. Он дал мне грелку на грудь, проделал несколько шаманских пассов, требуя, чтобы я «освободил анус», «освободил средний таз». «Хоть сейчас,— сказал я,— но где он находится?» «Не отвлекайтесь!» — приказал чародей, видимо, сам не слишком твердо знавший местонахождение «среднего таза». Лучше мне не становилось, скорее наоборот, и Алла настояла на вызове «неотложной помощи». Тут Великий целитель здорово струхнул, стал мелово-бледен и очень говорлив. Речистость его усилилась с появлением медицинской

бригады. Он заговаривал мне зубы, чтобы я его не выдал. Почему-то ему подвернулся на язык поэт и резчик по камню Виктор Гончаров. Можно было подумать, будто мы для того

515

только и встретились, чтобы обсудить унылое творчество этого художника. Если бы я умер в те минуты, то с именем Витьки Гончарова на устах. Только этого не хватало, и я напрягся против смерти.

Наконец боль прошла, и бригада, сделав электрокардиограмму, показавшую отсутствие инфаркта, убыла. И немедленно заяц превратился в льва. С невероятным нахальством Гелий обвинил Аллу в отмене всех лекарств. Он, видите ли, прописал **споловинить** их. Беспардонно призывал он меня в свидетели: «Вы же еще спросили, как расщепить дробинку индерала». Как будто я знаю, что такое индерал. Гелий уже видел себя на скамье подсудимых и подбирал способ защиты. А мы бы его пощадили, даже если б он отправил меня на тот свет. Я — во всяком случае. Но — низкий человек — он всех меряет на свой аршин.

Саша Черноусов, очевидно, вызванный Аллой, заметил, что выводя из меня жидкость, Гелий лишил мой организм защитного калия. Целитель ответил чудовищной грубостью. Саша побледнел, но всё же удержался от зуботычины. «Гелий,— сказал я слабым голосом,— где брат твой Калий?» Он диковато глянул на меня, поскольку Священное писание знал не лучше медицины.

Аля Кузнецова (она тоже была вызвана на подмогу), читающая много периодических изданий, сказала, что метод Гелия — симбиоз врачебных советов из «Недели», «Здоровья» и «Работницы». На другой день Мария Марковна припомнила, что основополагающее начало теории Гелия взято с суперобложки книги «О вкусной и здоровой пище». И вот этому ученому мы с Аллой детски доверчиво вручили мою непрочную жизнь. Взбешенная этой безответственностью, Люся кричала в телефон, что я чудом уцелел. Могу сказать одно: я шел на этот эксперимент, как на Голгофу, мое нутро сопротивлялось новаторскому лечению изо всех сил. Но Алле уж очень хотелось меня вылечить, а чего не сделаешь для любимой женщины.

Сейчас лежу, пришибленный, конечно, читаю про Гитлера, декабриста Кривцова и его братьев, слушаю Имрушку. Весь день у нас милые Муся и Галя. Алла, бедная, ужасно растерянна и подавлена. Я попросил позвонить Гелию и отказаться от его услуг, узнав предварительно, сколько мы ему должны и как передать деньги. Ожидавший совсем иной расплаты, Гелий тут же охамел, назвал Аллу «истеричкой», а Сашу и Алю — «гоп-компанией», но при этом великодушно согласился «продолжать курс». Тут Алле слегка изменила врожденная сдержанность.

516

*10 августа 1983 г.*

Почему я в таком ужасе от «окружающей действительности»? Разве нынешняя Россия настолько хуже той, какой она была во время Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина? Хуже, конечно, куда хуже. Россия всегда была страшна, но во мраке горели костры, те же Гоголь, Герцен, Салтыков-Щедрин. Сейчас костры потухли. Сплошной непроглядный мрак.

*13 сентября 1983 г.*

Были неделю в Венгрии. Вылетели вовремя, приземлились вовремя. Надо же!.. Отель «Атриум» с прозрачными лифтами очаровал Аллу. Шли стенания на тему: «Ну, Мышкин, создал ты жизнь для Алиски!» Я воспринимал ее восторги спокойно. И оказался прав. Приятный человек Палашти сказал приятным голосом, что я-де слишком послушно выполнил все его пожелания, и дал мне набросок своего сценария — невероятную пошлость. День на Дунае несколько поднял Аллин дух, на турне по магазинам подорвало ее веру в социализм даже в венгерском исполнении. Барахла навалом, а купить нечего.

Мнимо хорошая, на деле недоброкачественная — на жиру — ресторанная еда, вспучивающая брюхо горой, шизофреническая болтливость Ольги, фальш Тавора, заключительная накладка с гостиницей и чудовищный отъезд (будапештский аэропорт самый страшный в мире) — довершили картину. Чуда не свершилось. Уезжали без слёз. И всё же их жизнь несравнима с нашей. И дело не в продуктивном обилии, не в легком быте, а в самосознании граждан, в отсутствии черной, всё разъедающей лжи и одуряющего страха.

*4 октября 1983 г.*

Ну вот и случилось то, чего я мучительно боялся, обманывая себя с редким и удивительным искусством, что минет меня чаша сия: цензура с абсолютной категоричностью зарезала мою повесть «Поездка на острова». Противопоставление церкви государству, антитеза: власть — интеллигенция, «невольны напрашивающиеся параллели», Малюта в образе советского человека — вот пока то, что я знаю. Цензура обнаружила свой антисоветизм: я вовсе не вкладывал такого смысла в исторические параллели. Идея моей повести: нет зла большого и зла малого, зло, оно всегда зло, и стыдно пасовать перед малым злом, когда наши предки шли против зла великого. Очень здоровая и вполне современная мысль. А что если побороться? Даст это что-нибудь, кроме нервот-

517

репки? А может, подождать, когда решится с книгой — чем черт не шутит? А если не шутит, то уже терять нечего. Но боюсь, что все попытки отстоять повесть — жалкое донкихотство. Время портится стремительно, и уже завтра мне будет казаться диким, что я вообще сунулся с этой повестью. (Так оно и оказалось.)

*17 октября 1983 г.*

Вонь крепчает, духота усиливается. И странно, что я всё это предвидел. Я ждал, что рано или поздно они обрушатся на историческую литературу. Так и случилось. Роль застрельщика взяла на себя, разумеется, смрадная «Литературная газета». Если захлопнется и эта дверца, то писать будет не о чем. И какая во всем тупость! Мой «Рахманинов» — до неприличия к месту сейчас. Пошла новая волна драпа, в самый раз показать, как жалка участь беглеца, как терзает душу ностальгия. Но меня так ненавидят, что плюют на собственную пользу, лишь бы нагадить мне.

Может, я чего-то не понимаю, не чувствую, не вижу себя со стороны? Мне кажется, что я тихо, уединенно живу, ни во что не лезу, никого не трогаю и только работаю, в стороне от тех путей, на которых раздаются чины и награды за каждый промежуточный финиш. А для литературной сволочи мое поведение — бревно в глазу. Я невольно оттеняю их низость, подхалимство, интриги, непрестанную грязную суету, злобную грызню вокруг Христова гостинца. Ведь ко всему я еще довольно много и часто печатаюсь. «Зачем ты хороший, когда я плохая?» — эта жалоба андреевской проститутки звучит во всём, что говорится и умалчивается обо мне. Совсем непросто остаться приличным человеком в наше время, даже такой пассивный подвиг дается кровью.

*18 октября 1983 г.*

Разговор с Сизовым о «Рахманинове». За день до этого — странный звонок Сергея Михалкова. Смысл звонка в том, чтобы я канителил как можно дольше со сценарием. Видимо, тянуть надо около двух лет, чтобы его успели переизбрать на съезде писателей. С сыном-беглецом он провалится, с сыном, работающим над новым фильмом, да еще о Рахманинове, — спокойно пройдет. Совершенно неожиданно Сизов сказал, что решили дать Андрону постановку без всяких предварительных условий, т. е. без обмена его вольного паспорта на общенародную «крепость». «При сложившейся ситуации... — бормотал Сизов. — Тарковский, Любимов... куда же еще!.. Пусть поставит картину, там

видно будет!...»

518

Мудрое решение. Слишком мудрое, чтобы осуществиться.

Реакция «папы Шульца», которому я позвонил вечером, была непонятна. Он стал разговаривать, как пьяный конюх, с матом — в адрес шалуна-сына, его парижской семьи и т. д. Это было совсем непохоже на первый — сдержанный и любезный — разговор. Алла догадалась потом, что всё это предназначалось для других ушей, ведь я звонил к нему на дом. Мат выражал его гражданский пафос и вместе — давал выход восторгу. «Пусть ставит настоящий фильм, мать его, а не всякое говно! Что он там навалял, в рот его так, какую-то видовуху сраную. Хватит дуричь, работать пора. Не мальчик, в нос, в глаз, в зад, в ухо его!..» Это всё о блудном сыне. Библейское возвращение блудного сына решалось в другом ключе. Кстати, тут возвращения так и не состоялось (мудрое решение отменили), и Михалков не смог возложить руки на запаршивевшую голову странника-сына и омыть ее жидкой слезой из ослепших от горя глаз.

*26 октября 1983 г.*

Каждый день гуляем с Люсей от одной смердящей очистительной системы к другой. Никогда не думал, что их столько в нашей округе. Путь наш пролегает лесом по-над ручьем, мимо бесконечных свалок, оврагов, превращенных в помойки, неопрятных следов летних пикников. Господи, как засрала твой мир! Как загадили чистоту под деревьями! И горестно-смешно выглядел лесник, озабоченно помечавший сухостой для санитарной порубки.

Говночист военного городка крикнул из своей говенной будки жене, возящейся у плиты в фанерной кухоньке:

— Скоро обедать будем? Больно вкусно пахнет!

— Да я и не начинала жарить,— отозвалась жена.

Это ему так сладко говном пахнуло.

Мне иногда кажется: люди согласны про себя, что достойны уничтожения.

*27 октября 1983 г.*

Смотрел сцены из разных спектаклей, а также концертные номера полупрозрачного еврейского театра. Мощное впечатление оставил худрук: жирноватый, большеголовый, волосатый иудей, который всё умеет и всё делает блестяще: играет на рояле, поет, пляшет, лицедействует, разговаривает, хотя последнее — с какой-то провинциальной спесью. Он сам москвич и все актеры москвичи, а театр считается биробид-

519

жанским — очередной вольт наивной, бессмысленной, непонятно на кого рассчитанной хитрости. Изумительная музыка — мелодичная, изящно-печальная, какой-то нескончаемый нежный стон; поразительно пластичные танцы, а «Лошадка» — такой номер, равного которому нет в мире. Ко всему еще «лошадка» дивно одета, женой Ильи Глазунова: поперечно-полосатое трико с меховыми вставочками подчеркивает гибкость молодого, упругого, ловкого тела артистки. А плюмаж на гордой головке, а чудный хвостик над круглой улыбающейся попкой! Я не видел более эротического зрелища, причем без тени похабства. Впечатление такое, будто побывал в сказочной стране. Неужели это можно увидеть у нас, в нашем тупом и мрачном городе? Какое дерьмо рядом с этими странствующими евреями театр Любимова — плохие актеры, надсадная, заимствованная режиссура, копеечное поддразнивание властей. А «лошадка» вообще над властью, она отрицает ее каждым взбрыком, вскидом полосатой попки, встрясом плюмажа.

На днях случайно узнал, что толстый худрук был любовником жены теннисиста

Лейуса, который задушил и расчленил неверную. Говорят, расправой над изменницей Лейус спасся от валютного дела, грозившего ему куда худшими неприятностями, ибо задушил он частное лицо, а долларовой спекуляцией обесчестил государство.

*8 ноября 1983 г.*

Дорогие папочка и мамочка, Ваш сын, которого вы так легкомысленно зачали в 19-м, так серьезно пытались выкурить, а по нежелательному появлению на свет пылко возлюбили, готовится стать атомной пылью.

Дико, родившись при извозчиках, свечном свете в деревнях, керосиновом — на даче, умирать от нейтронного взрыва. Наука чересчур быстро развивается.

Так ли «блажен» тот, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»? Думаю, что ответ должен быть отрицательным.

Как горестно и страшно, что где-то за Марьиной рощей медленно и неотвратимо уходит Лена. Она почти без сознания, бедная. Но, слава Богу, не чувствует боли, если только мне не врут. Господи, Боже мой, и до этого пришлось дожить. А ведь были улочка Фурманова и Лопухин переулок, и маленький дом на Остоженке, и молодость, и жалкие радо-

520

сти посреди кромешного мира, и не оставлявшее меня желание, что не помешало мне поступить с ней так жестоко.

Дробно и много сплю. Выносливости никакой. Над самой пустой работенкой, вроде рецензии, просиживаю больше недели. Скромная повесть о капельмейстере Голицыне, давно задуманная, представляется непосильной тяжестью.

*12 ноября 1983 г.*

Сразу, без разгона началась зима. Со вчерашнего дня валит густой снег, метель. Порывы ветра сдувают снег с деревьев, и он вскипает каким-то дымчатым облаком, закрывая даль. Гулял по неуютному нашему микромиру, видел перепуганную за своих сыновей Дашку. У нее был вид матери времен войны, конечно, не плакатной, а истинной, горячей от боли. Все делают вид, будто никакой войны нет. Война идет уже не первый год, бессмысленная до помрачения рассудка, и убивают каждый день мальчиков, да не просто убивают, а калечат, ломают позвончики камнепадом, оскопляют и ослепляют, зверствуют — с полным правом народа, подвергшегося коварному нападению. Какое смятенное лицо было у жалкой Дашки! А протестовать она должна против нападения на Гренаду, о которой никогда не слышала. Те же, что слышали, уверены, что это навязшая в зубах светловская «Гренада, Гренада, Гренада моя!».

Она сказала о том, что стало ясно и мужичью: «Ничего у этого не вышло, народ уж ничем не проймешь, воруют, пьют и прогуливают по-прежнему». И все-таки, наш новый Заибан не теряет надежды привести народ под конвоем в светлое будущее.

Читаю прелестные письма дочери Марины Цветаевой. Как глубоко проникла Марина Ивановна в своих близких, как пропитались они «духом Цветаевой». Они и думали и говорили по-цветаевски. Ну, предположим, у дочери это наследственное, а у сестры — там, где она на подъеме? Ее легко спутать с Мариной, а ведь она человек бытовой и порядком осовеченный. Аля же просто дубликат матери. Ее письма к Пастернаку — это неизвестные письма Марины Ивановны; совсем по-Марининому звучит обращение «Борис», а налет влюбленной требовательности и вся игра на равных, на которую Аля не имела морального права! Видимо, спасая остатки своей личности, Эфрон пошел в шпионы

и террористы, вступил в партию. Хоть через подлость, через убийство, но сохранить что-то свое, мужское, ни с кем не делимое. Он не просто негодяй, он фигура трагическая, этот белоглазый Эфрон.

Марина Ивановна и Ахмадулину на какое-то время подмяла под себя. Та общалась с Ахматовой, не обладавшей этими змеиными чарами; поэтически, казалось бы, делила себя между двумя, на деле же, была в полном плену у Цветаевой, у ее интонации, даже синтаксиса. И спаслась приверженностью к Лиэю, как называл это божество Аполлон Григорьев.

Интересно, каким психологическим трюком сумела Ариадна Сергеевна обелить для себя отца? Ведь она, в отличие от матери, обязана была всё знать. Анастасия Ивановна — просто старая советская приспособленка, приживалка с горьковского подворья, но Аля — другая, чистая. Как ловко умеет человек оставаться в мире с собой и договариваться с Богом!

Наши бездарные, прозрачно-пустые писатели (Софронов, Алексеев, Марков, Иванов и др.) закутываются в чины и звания, как уэллсовский невидимка в тряпье и бинты, чтобы стать видимым. Похоже, что они не верят в реальность своего существования и хотят убедить и самих себя, и окружающих в том, что они есть. Отсюда такое болезненное отношение баловня судьбы Михалкова к премиям. Медали должны облечь его тело, как кольчуга, тогда он будет всем виден, тогда он материален. В зеркале вечности наши писатели не отражаются, как вурдалаки в обычных зеркалах.

Сегодня, гуляя, видел, как возле магазина какой-то щуплый и задиристый мужик сшиб с ног другого и неумело, размахисто лупил его по башке, шее и спине. Тот не пытался встать с покрытой первым девственным снегом земли, рядом лежала его фетровая шляпа. Впечатление было такое, что он не возражал против этих вялых и не слишком болезненных побоев. Окружающих экзекуция тоже не занимала. Когда же усилие отошел поздороваться с другими алкашами, притаившимися в магазин, пострадавший поднялся, нахлобучил шляпу и с грязной спиной деловито зашагал по своим делам, тяжеленькая авоська оттягивала ему руку. Ни возмущения, ни обиды в нем не ощущалось. Водка («андроповка») осталась при нем, бутылки не побились, и он бодро шагал к своему уютному, теплему дому, глава семьи, отец и муж, старый производственник, отличник труда и обороны, строитель коммунизма.

522

А до этого я видел, как двое подростков третировали своего товарища. Уж не знаю, чем он им не угодил, но они время от времени пытались сшибить его с ног, а когда он отбегал, кидали в него чем попало. Он всё принимал, как должное. Мне мучительно видеть даже не самое издевательство, а гнусную покорность жертвы. Русские люди всегда знают за собой какую-то вину и безмолвно принимают наказание.

*14 ноября 1983 г.*

Прочел роман Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом». Странное впечатление. Написано несомненно умным и талантливым человеком, а что-то не получилось. Раздражает его кокетливая игра с языком, который он недостаточно знает. Но дело не в этом, среднехороший редактор без труда устранил бы все огрехи. Он не может выстроить характер. Все герои сшиты из ярких лоскутьев, словно деревенское одеяло, ни одного не ощущаешь как живой организм, и налиты они клюквенным соком, не кровью. Много хороших описаний, превосходных мыслей, органично введенных в ткань повествования, а ничего не двигалось в душе, и самоубийство героя не только не трогает, а вызывает чувство неловкости, до того оно литературно запрограммировано. Так много написать и ни разу же коснуться теплой жизни!..

17 ноября 1983 г.

Позавчера выступал на заседании Клуба книголюбов, посвященном Асиной «Книге книг». Минут двадцать говорил о ней так, как никто не говорил ни о Сафо, ни о Жорж Санд, ни об Ахматовой и Цветаевой. Под конец, чувствуя, что становлюсь смешон вместе с моей героиней, в крайне осторожной форме сказал о чрезмерном захлебе, с каким она пишет о всех деятелях культуры, независимо от их величины и значения. Нельзя же писать об унылом Перове теми же словами, что и о божественном Леонардо. Это то, что Чехов называл «хмельть от помоев» (о Стасове). Из всего мною сказанного Ася запомнила только эти слова и смертельно обиделась. Но я рад, что сказал. Ася открылась мне с неожиданной стороны: подхалимка и деляга. В разгар прений ввели под руки в дым пьяную старуху Прилежаеву. Она кутила в связи с присуждением ей премии Ленинского комсомола. Гиньоль! Ася только что на колени не стала при виде этой фантастической комсомолки.

После этого Ася и «Ювочка» Яковлев в ресторане подымали кубки во здравие комсомольской праматери. Оказалось, что умный, талантливый и честный Яковлев глубоко прези-

523

рует Асю и не может взять в толк, почему я с ней вожусь. Она платит ему тем же: стукач, убийца, бездарь. Вообще, советские писатели и «ученые» в области искусства относятся друг к другу, как челядь: каждый истово презирает другого, считая коллегу разбойником и вором и не понимая, как только барин его терпит.

Ася мне недавно сказала: «Это я с тобой такая милая, а вообще-то я стерва». Тут не было ни игры, ни преувеличения. Покончено еще с одной иллюзией. Чистая и восторженная энтузиастка оказалась обычной карьеристкой.

А ЦДЛ по-настоящему страшен. Грязные, засаленные старые официантки-жулябии плохо и хамски обслуживают грязных скупых злобных оборванцев-жуликов от литературы.

Возле стола администраторши сидел некто страшный с плохо забинтованной головой. Торчали неопрятные клочья ваты, бинт был захлестнут и вокруг шеи, жалко, по-собачьи глядели из серой марли насмерть раненые глаза. Это писатель, которого я по ошибке принимал за спившегося, постаревшего и охромевшего Калиновского. Официантка сказала мне, что ему сделали какую-то чудовищную операцию, и сейчас он очень страдает, что никто не хочет водить с ним компанию. Я и раньше не замечал, чтобы он был окружен друзьями и поклонниками, но ему кажется, что прежде все искали его общества. Он бесконечно жалок, но и противен в своем унижении. Случилось несчастье, заползай в нору и зализывай свои раны, зачем ты навязываешь другим свои язвы, нельзя требовать от измученных людей подвига доброты, сострадания и небрезгливости. На кого я злюсь — на него или на себя, что не уподобился доброму самаритянину?

Замечательная встреча с Камшаловым в «Молодой гвардии». Обдриставшись на «Председателе» (вместо того чтобы помочь нам отметить двадцатилетний юбилей фильма, он сделал попытку запретить фильм, ставший классикой), Камшалов испугался моего появления в редакторском кабинете. Держался льстиво, робко и предупредительно. Но когда, прощаясь, я по ошибке взял его чемоданчик, вместо своего, точно такого же, раздался железный окрик (следователя, прокурора, конвойного): берите свой! С перекошенным лицом он вскочил на ноги. Я со смехом сказал, что использовал старый кинотрюк, дабы узнать его тайны. Он не улыбнулся. Что-то волчье появилось в его широкой, наигранно простодушной морде. До чего же художественно завершенным было это самораскрытие.

524

А всё дело было в том, что его кейс был набит бутылками водки.

### *УЗКОЕ*

*21 ноября 1983 г.*

Приехал в Узкое. Тут всё осталось неизменным, только «Березы» Бакста переместились с одной стены на другую. Те же нянечки, те же сестры, та же безумная, с горящими глазами Татьяна Александровна, тот же пузатый врач Борис Семенович у бильярда, той же серой мышью скользнула с чайником в руке фиктивная жена девяностолетнего математика, те же ученые шаркуны-оборванцы в коридорах,— одуряющее ощущение, что время остановилось. Есть в этом что-то жуткое и вместе — привлекательное. И охромевшая библиотечка ничуть не изменилась после больницы, и по-давешнему несу я в номер мемуары Хвоцинской. Наверное, это хорошо, недаром англичане культивируют такую стабильность, считая, что она сохраняет нервную систему, но в нашей жизни — неизменной и неподвижной в целом и утомительно динамичной в мелочах — это производит давящее впечатление.

Спал плохо, в кошмарах снов легко вычитывается страх за Аллу, снова вверившую свою жизнь коварству воздушного океана.

*22 ноября 1983 г.*

Опять бездельничал. Играл на бильярде, ходил в парикмахерскую. Понял, почему парикмахеры самые глупые и пошлые люди на свете — они никогда не выключают радио. Это была странная парикмахерская — из фильма ужасов. Меня обслуживала сонная расплывшаяся старуха в глубоком склеротическом маразме, усиленном глухотой. На самое простое движение она затрачивала несколько минут. Томительно и страшно было смотреть, как тяжело давались ей такие несложные действия, как налить воду в стаканчик, направить бритву, повязать салфетку. Но работала вполне уверенно, еще раз подтвердив, что склероз щадит профессиональные навыки. При этом она была мрачно-игриво настроена и всё пыталась выяснить, зачем я бреюсь и стригусь ни с того, ни с сего. Жену, небось, ждете? Я сказал, что жена улетела в Армению. Значит, дамочками санаторными увлекаетесь? Нашим «дамочкам» я гожусь в сыновья. Не может этого быть, у вас кто-то есть. Время от времени она отлучалась в прилегающее помещение, чтобы покалякать с девушкой-гигантом. То была парижская Рита из Венсенского леса — «самая бо-

525

льшая женщина в мире». Она носила короткое платье, из-под мятой юбки обнажались чудовищные ляжки, каждой достаточно, чтобы построить женщину средней упитанности. А лицо красивое и разговор нормальный. Потом откуда-то возник парикмахер вдвое толще ее, довольно молодой, видимо, ее брат. Кто же производит таких монстров, какие Голиафы? Мне было здорово не по себе, не люблю когда меня заигрывают в брокенские игры. Ну вот, сказала моя парикмахерша, сдирая с меня «пеньюар» — так красиво называется грязноватая простынка,— теперь и к дамочкам можете идти.

*23—24 ноября 1983 г.*

Ходил гулять и вышел к Ясенево. Одурающее однообразие девятиэтажных коробок. До чего плохо и бездарно устроились люди на земле. Животные заняты поиском пропитания, устройством логова и сезонной любовью. Человек, в конечном счете, занят тем же, только любовь не лимитирована. Отличают нашу жизнь от животной, делая ее значительно хуже, лишь водка, папиросы и телевизор. Животные не знают войн, мы же беспрерывно воюем, а в антрактах измышляем новые, все более зверские способы уничтожения друг друга. Но нельзя же думать, что причина войн коренится в том поверхностном отличии от животных, которому мы обязаны нашим пороком. Нет, природа выдумала нас для познания самой себя. Делаем мы это, как и все остальное, из рук вон плохо, и природа нас время от времени убирает, то с помощью нашествий, то

войн, то стихийных бедствий, и нанимает других, столь же бездарных слуг. Похоже, сейчас могучий органический и неорганический мир постигло полное разочарование, — институт, именуемый «человечество», будет закрыт навсегда. А земля, отмывшись в воздушном океане, поплывет дальше в своей изначальной чистоте.

Сколько бы ни орали о сохранении мира, сколько бы ни проклинали войну, а на дне души никому не хочется пропустить термоядерный фейерверк. Такого зрелища не было и не будет. К тому же так приятно, что тебя никто не переживет, а главное — получают по заслугам зажавшиеся, те, кому достался весь пирог.

На всех балконах многоэтажного Ясенево развешано жалкое, заношенное, проссанное белье, половички, коврики, какие-то цветные тряпки — печальные флаги полной капитуляции.

Четверг не подарил мне никакой серьезной думы. Верстка вышибла меня из колеи. Тяжело править набор книги, об-

526

реченной на растерзание цензором. (Так и случилось: из двадцати пяти печатных листов осталось шестнадцать.)

Ходил в лес. Много лыжников — по-спортивно хорошо-одетых, очень умелых, длинноногих. Это все-таки совсем иная юность, чем выпавшая мне на долю. Мы были под стать приютским детям из убежища им. Андерсена-Нексё: полугодные, низкорослые, неухоженные оборванцы. И как странно, что я совсем не знаю нынешних молодых, они дальше от меня, чем австралийские аборигены. От их опрятного облика веет вызывающей бездуховностью.

(В этот день — как я узнал лишь в канун Нового года — скончалась Лена.)

*25 ноября 1983 г.*

Вожусь с версткой. Настроение неважное. Ходил гулять с доктором биологических наук — океанологом, дамой средних лет, объехавшей полмира, избородившей все моря и океаны. Почему-то от нее не веет свежестью пространств. Она не лишена мозгов, даже симпатична, и всё равно — духота. Поразительная неосведомленность во всём, что не связано напрямую с ее делом. Считала, что учителем Нерона был Аристотель (!). Никогда не сышала ни о графе Баранове, ни о рок-опере, сводящей с ума всех московских образованцев.

Но вышкола на диво. Ни одного вольного высказывания, всё по газете, полный отказ от собственного мнения, умение выключать слух, если разговор вдруг «уклонился» в сторону. По-моему, мы близки к созданию образцового гражданина социалистического общества. Головы, души, моральные ценности — всё сдано на склад и едва ли когда востребуется. Поразительное свойство у таких людей: говорить без умолку ни о чем. Смысл этой трепотни — не дать коснуться серьезных тем. Этих картонных людей ничто не мучает, не заботит, у них нет сомнений, колебаний, желания хоть как-то разобраться в окружающем. Они запрограммированы, как роботы. Этим оплачено право беспрепятственно ездить за бугор; и какого черта они рвутся туда, где им всё не нравится? Ну и сидели бы в своем раю. Ведь не только из-за джинсов, ползунков, дамских сапог и электротоваров рвутся эти праведники за кордон, хотя магазины и стоят на первом месте. Естественный для человека порыв к свежему воздуху превратился у нас в источник дополнительного угнетения, обуздания и принуждения. Ради того чтобы ездить, люди идут на отказ от собственной личности, на немоту, на предательство.

527

*26 ноября 1983 г.*

Неожиданно явилась Надя и привезла с собой симпатичного болгарского журналиста Любена Георгиева, Олю Кучеренко и какую-то рыжую бабу из Грузии. Оля поразительно хорошо сохранилась. Ей лет пятьдесят пять, а у нее легкая, стройная фигура,

нежный цвет гладкого (без подтяжки) лица, живые блестящие глаза. Беспредельный эгоизм замечательно сохраняет молодость. Смерть мужа, уход любовника, общее неблагополучие — ничто не коснулось забронированного сердца Оли. Надя не так юна и прелестна, но человек добрый, даже растроганный. Сказала, что помнит каждую малость наших далеких дней. Странно, но я запал в некоторые души. И еще есть в ней хорошее — она несет с собой праздник. Ее Москва — это не вонючая помойка, которая так пугает нас с Аллой, а дивный город, исполненный веселья, тайны, соблазнов. Я понял, как мог терпеть ее чуть не целый год. Она — с карнавала, а все остальные мои знакомые — из морга. Они просидели у меня часа полтора, мы не пили, только разговаривали — легковесно, поверхностно, но тепло осталось. Даже чем-то поэтичным пахло — безбытным, беззаботным. Болгарин привез прекрасно изданное в Пловдиве «Царскосельское утро», которое я тщетно пытался получить через паразитарный ВААП.

Все-таки тяжеломерно мы с Аллой живем. Наши сборища почти всегда надсадны, не легки и не веселы, и слишком много оберегающих указаний, профилактической опеки, напоминающей о старости, болезнях, расплате за легкомыслие. Наверное, так нельзя, хотя изредка надо быть беспечным.

*27 ноября 1983 г.*

Дурацкий день. Три с половиной часа у меня сидела журналистка из «Известий», и я бесстыдно, в который раз, талдычил о школьной дружбе, об измене футболу ради литературы, о советском рассказе, который поддерживается только изнемогающими усилиями Соротокиной и Наумова. С огромным трудом удержал на устах готовое сорваться имя Беломлинской-Платовой, которую все считают моей выдумкой. А она — номер 1. Зачем я так растрчиваю время и силы? Что у меня — вторая жизнь в запасе? До прихода журналистки я два часа правил другое интервью — для «Семьи и школы». Великий воспитатель, Песталоцци, сукин сын! А потом поездка в Москву, возня с версткой, никому не нужное выступление, повесть заброшена. А все дело в том, что я беспокоюсь за книгу, за новые рассказы, за всё литератур-

528

ное будущее, поэтому мне кисло, неуверенно пишется, поэтому меня тянет к сублимации работы. Надо взять себя в руки, вечно я куда-то заваливаюсь: то в кинохалтуру, то в теле-радиовыступления, сейчас вот интервьюерная горячка. Как же не стыдно срамить своим равнодушным бормотанием детство, мать, школьных товарищей, Чистые пруды? Нельзя же так опускаться.

*28 ноября 1983 г.*

Сегодня гнилой день: дождь не дождь, какая-то квелая сочь из серого упавшего на деревья неба, гололед. Сразу стал хуже себя чувствовать. Не сердце, даже не давление, а слабость, бескостность какая-то, не было сил пойти погулять. Но работать силы были, и я полдня просидел над интервью, а полдня — над мерзким режиссерским сценарием Палашти. До чего же упрямый и душный человек! После всех разговоров, скандалов, ссор, объяснений опять всё сделал по-своему. А может, я зря на него злюсь? Он просто не может иначе. От совершенной неспособности выйти из своих пределов. Он от чистого сердца разводит всю эту низкопробщину. Как только у меня прорывается высокая нота, он затыкает уши и старается заглушить меня голосом ярмарочного Петрушки. Но есть, конечно, и чисто режиссерское стремление к самоутверждению, неистребимая ненависть к сценаристу. Тоска зеленая!.. И непонятно, что делать. Все слова сказаны, все доводы приведены, все оскорбления выплюнуты, остается плакать или... плюнуть. Всё же я сделаю последнее усилие: избавлюсь от самой махровой пошлости. Вторая половина, где он сблизился с литературным сценарием, куда опрятнее.

Качество интервью зависит на девяносто процентов от того, кто его ведет, на десять от того, кто его дает. Катаеву в «Известиях» здорово повезло. С ним имел дело

талантливый и умный журналист. Недоброе и фальшивое катаевское брюзжание обрело тон достоинства, которое начисто отсутствует и в его жизненном поведении, и в его нынешних писаниях.

*29 ноября 1983 г.*

Ездил в Москву. Сквозь чудовищный туман, мокрядь, серую склизкость. Мрачный путь. Мрачный город. Мрачная полуразрушенная ремонтом квартира. Удручающие послания из Союза писателей: какие-то призрачные отчеты, никому не нужные обсуждения, бесконечные перевыборы в недейственные органы. Впрочем, так ли уж все это никому не нужно? Достаточно открыть бюллетень МО СП, чтобы убе-

529

диться в обратном. В результате липовых мероприятий, пустого шума, грязной суеты зачинщики этих «мероприятий» разъезжаются по разным странам Европы с мифическими целями и реальной пользой для себя, своих жен, детей и внуков. Плащи, кожаные пиджаки, вельветовые джинсы, магнитофоны, ползунки — вот навар пленумов, заседаний, совещаний и перевыборов. На фоне этого циничного разгула уничтожают гнездо Пастернака и никому, кроме надорванной Ахмадулиной, до этого дела нет.

До чего убого выглядят наши издательства и редакции журналов. Сразу видно, что они непричастны серьезной жизни контингента, тех, кто пользуется кремлевской больницей и кремлевской столовой. Марков, Бондарев, Чаковский, Иванов и иже с ними не затрудняют себя посещением издательств и редакций, что приходилось порой делать даже Шолохову, не говоря уже о Симонове или Льве Толстом. Они всё имеют с доставкой на дом и печатают их в иноземных типографиях, на веленовой бумаге и облекают шагреневой кожей. Фантастически изменилось наше бытие, в котором прежде при всем ножебойстве существовало некое подобие этического начала (пусть лицемерное), сейчас — откровенный разбой.

*30 ноября 1983 г.*

Наша грубая, примитивная и назойливая пропаганда достигает цели. «Врите, врите — что-нибудь да останется», — мы взяли это на вооружение. Нет ничего проще управления с позиции силы, особенно когда этой силе ничего не противостоит. Талдычь без конца одно и то же, рассудку вопреки и правде наперекор, и народ, ослабленный страхом, с бациллой рабства в крови, примет эту ложь за истину, большей частью — искренне. Ну а для тех, кто не сразу принял, есть удавка. Так всех убедили, что американцы умирают от голода. Массажистка мне на полном серьезе сказала: «У нас денег полно, а купить нечего, а у тех всё есть, а купить не на что». Потом, правда, добавила задумчиво: чегой-то безработные одеты больно хорошо. И снова провалилась в свой рабский идиотизм. Народу и не нужно другого строя. Как испугались в исходе шестидесятых тощего призрака свободы и с какой охотой кинулись назад в камеру, где не надо ничего решать, не надо выбирать, не надо отвечать за свои поступки, где всё отдано надзирателю, а твое дело жрать, спать, срать, гулять, трепаться о погоде с однокамерниками, мечтать о выпивке и отрабатывать легкий, необременительный урок. Воистину — быдло. Был ли когда-нибудь народ насто-

530

лько покорный, безмозглый, доверчивый, несмотря на все обманы? И все-таки, это не врожденная безмозглость, а сознательный отказ от ума — из страха перед удавкой.

Наконец-то из ножен извлекли самое старое и заслуженное оружие: бдительность. Неважно, что оно проржавело, затупилось, другого нет, вернее, есть, но оно не по руке пасущим стадо. И ведь сами отлично знают, что оружие это легко обращается против тех, кто его поднял, но окостенелый рассудок не может изобрести ничего нового. Бдительность, экономия, оптимизм — три цвета нынешнего времени. На деле же:

подозрительность, разгильдяйство, обреченность.

Выступал в Калининграде. До этого продиктовал Ахмадулиной письмо по поводу пастернаковской дачи. Умеет она очаровывать и обманывать людей. Эта интонация плавающей доброты, беспомощности, доверия, мольбы о снисхождении, и из темных зрачков нет-нет да и глянет дьявол. Я чувствовал по телефону этот нечистый зырк. Но люди, видевшие ее лишь в искусственной душевной прибранности, наотрез отказываются верить в ее холод, жестокость, самомнение, беспощадность ко всему, что не она. Ох, и умеет же она обманывать!

В Калининграде все обычное: смесь убожества, трогательности, энтузиазма. И ужасно много некрасивых людей, особенно, женщин. Как выродился физически русский народ!

*1 декабря 1983 г.*

Сегодня услышал последние светские новости. Группа грузинских юношей и девушек (в большинстве — дети привилегированных родителей) пытались угнать самолет. Убито несколько человек команды, кто-то из пассажиров, трое угонщиков, один, вроде бы, застрелился. Всего погибло восемь человек. Расстрелян директор крупнейшего Елисеевского магазина. Директор Смоленского гастронома застрелился сам. Еще трое выдающихся московских гастрономических директоров арестованы. Есть и достижения: снижены цены на бриллианты, меха, ковры и цветные телевизоры определенных марок, которые никто не брал, потому что они взрываются. Последнее — просто накладка. Что-то перепутали. Зато по некоторым «ракетам» можно смотреть третью программу.

Вообще, за торговлю взялись крепко. Но если подымать ее таким образом, то надо расстрелять всех, без исключения,

531

директоров, завмагов, даже овощников из пустых смрадных палаток, потому что все воруют. Не забыть и пивников, почти официально разбавляющих пиво. И, разумеется, всех работников общественного питания.

Если же распространить этот метод лечения общества на другие сферы, то надо казнить врачей, в первую голову хирургов, получающих в лапу за любую операцию, ректоров университетов и директоров институтов, а также членов приемочных комиссий — без взятки к высшему образованию не пробьешься, прикончить надо работников ГАИ, авторемонтчиков, таксистов, театральных, вокзальных и аэропортовых кассирш, многих издательских работников, закройщиков ателье, жэковских слесарей и водопроводчиков, всю сферу обслуживания. Если же кончать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает, то надо ликвидировать все население страны.

По счастью, внимание нашего руководства как всегда устремлено на литературу. Главное — исправить литературу, ибо она вечна, а жизнь брэнна и скоротечна — черт с ней.

*2 декабря 1983 г.*

Говорил по телефону с несчастной Репиной. Хотел узнать, вышла ли моя рецензия. Она, конечно, понятия об этом не имела. Живет словно не в Москве, а в своей костромской дыре. Как только дотянула она до сегодняшнего дня при такой непригодности!

Вдруг она принялась рассказывать о своей шестнадцатилетней дочери-акселератке. Она выкуривает мать из квартиры. В полночь сходится ее компания, начинаются танцы до трех-четырех утра, звенят бокалы, стоны любви раздирают ночь. Она на втором курсе ПТУ, но на занятия почти не ходит. Интересов, кроме танцев, водки и парней, никаких. Репина уступила ей большую комнату, а сама перебралась в боковуху, но и здесь мешает дочери, особенно же — ее великовозрастному любовнику. Зина Александрова оставила

внучке капитал в пять тысяч рублей; та не может получить всей суммы до совершеннолетия, но может получать на жизнь через опекунов. Она требует, чтобы мать очистила квартиру и забыла о ее существовании. «Она не любит вас?» — спросил я наивно. «Ненавидит», — устало ответила Репина. «А вы ее?» Долгое молчание, потом: «Я помню, как несла ее из роддома... Жалко!» — в голосе слёзы. Ее бывший муж, отец девочки, поэт-переводчик, пытался лишить дочь наследства, грозил Репиной выколоть глаза, но в конце концов уго-

532

монился, получив заверения, что его оставят в покое с алиментами, которые он и так не платил. «Вот тот мир»...

*3 декабря 1983 г.*

Сегодня Ада с фальшивым состраданием сказала, что Лена совсем плоха. Что ее смерть — вопрос дней. Она давно в бессознательном состоянии, без малейшего просвета. Теперь я понимаю угрюмые умолчания Саши и почему Лена никак мне не отзывалась. Я-то думал, что ее мир сузился до одной внучки, и мне было горько. Оказывается, Ленин мир сузился куда больше, его вообще не стало, есть дышащее, не сознающее себя тело. Как это страшно. Почему-то я никогда не думал, что переживу Лену. Кроме мамы и Я. С. никто так сильно не вплетался в мою судьбу. Конечно, сейчас моя жизнь занята Аллой, но это уже не жизнь, а сборы в путь.

Лена же была в самую насыщенную, горячую, жестокую и страстную пору моей жизни. Поэтому ей так плохо пришлось со мной. Маша лишила меня доверия к близости, и я не был равен Лене в наших отношениях. Свое истинное лицо я вернул себе только с Аллой. Но это уже у гробового входа.

Лена оставалась со мной через всю мою влюбленность в Аду, через всю мою любовь и ненависть к Гелле, и в то краткое безвременье, которое потом наступило. Но ей уже слишком важен был Сашка, поэтому второго начала у нас быть не могло. Лену никогда ничто не отвращало от меня: ни усталость, ни обида, ни другие заботы, она всегда с радостью отзывалась мне. Не так часто бывает полное физическое совпадение людей, нам это выпало на долю. Хоть в одном моя жизнь была до конца полноценной.

*4 декабря 1983 г.*

Приехал Сашка. Я с ужасом ждал его приезда. У него не было новостей. Он был такой же, как всегда, даже чуть веселее обычного. Когда все происходит на твоих глазах, когда оно вплетено в твою повседневность и ты реально служишь страдающему человеку, ты все ощущаешь иначе, чем «сочувствующие» со стороны. Послушать Сашу, так он не сын у одра умирающей матери, а повар-любитель, одержавший победу на районном конкурсе кудесников флотского борща и капустного пирога. Сколько застолий он оснастил изделиями своего кулинарного таланта, у меня аж слюнки текли от аппетитных названий: хинкали, кюфта-бозбаш, лагман, хачапури, китайские пельмени, бастурма. Но это не мешает самоотверженному служению больному бесконечно близкому человеку, не ослабляет горя и тоски.

533

Потом приезжала журналистка из «Известий», которая недавно писала о Роскине. Она рассказала, что он не просто сдал за последние месяцы, а рухнул в дряхлость. Он прожил очень долгую, опрятную и для человека его крута удачливую жизнь. Он не сидел, и близкие его не сидели. Он был дважды женат, один раз весело, другой раз серьезно, но не тягостно. Жил в уютной, хорошо обставленной квартире, которой не добивался в поте лица, долгое время очень хорошо зарабатывал, а нужды не знал никогда. До старости играл в теннис, а в старости начал водить машину и не бросал баранки до восьмидесяти пяти лет. У него нет ни чинов, ни званий, ни наград, это раздражает его, но одновременно

осеняет нимбом гордой независимости. Его уважают, он ничем не поступился в себе. Хорошая жизнь, чистая, безукоризненная. Единственная его боль — потеря Оськи. Боль немалая, но, может быть, не стоит ее преувеличивать, ведь он не жил с Оськой, а был приходящим отцом.

*5 декабря 1983 г.*

Ездил в Москву. Работал с редактором. С удивлением узнал, что великий смельчак и правдолюбец Б-н — просто мерзавец. Нет, не просто, а коварный и ничтожный. В последнем я не убежден. Он спивается, хотя при диабете и дважды взрезанной поджелудочной железе водка — яд. Это заставляет меня думать, что он человек несчастный, мучающийся; не имея силы выйти из игры — при его бездарности это был бы конец, он губит себя водкой. Но, возможно, я его идеализирую.

Я отчетливо ощущаю работу моего подсознания. В долгих и мучительных, а порой щемяще счастливых снах является Лена в крайне преображенных образах. То она почти девчонка, то голливудская звезда, то сливается с мамой, то с Аллой. Порой я ее не узнаю и, лишь просыпаясь, в последний миг перед наступлением яви понимаю, что видел Лену, а не девочку, не звезду, не маму и не Аллу. Лена в моих снах всегда милая, привлекательная и веселая.

*6 декабря 1983 г.*

Опять задумался о вчерашней поездке в журнал. Как погрузилась бедная Инна, какая она жалкая, растерянная. Я понял по ней, насколько серьезен террор, развернутый против литературы. Наша власть на редкость однообразна и традиционна: во всех бедах и уродствах русской жизни всегда обвиняют литературу. Можно подумать, что не жизнь

534

порождает литературу, а литература — жизнь. И стоит что-нибудь запретить в литературе, как механически этот недостаток изгоняется из нашего обихода. Это не от Сталина и даже не от Николая I, — от сотворения Руси стали путать слово с делом.

*7 декабря 1983 г.*

Читал Тарле о Крымской войне. Чтение мучительное, да иным и не бывает соприкосновение с русской историей. Страшно воевала Россия — человеческим мясом; грудью против снарядов, грудью против танков (уже в наше время). Нераспорядительность, повальное воровство, равнодушие (при жалком энтузиазме и самоотверженности единиц), нерешительность и бездарность, прощающая себе все ошибки и преступления, — это Крымская война, это все другие русские войны.

Малоталантливо воевали и «союзники» — особенно англичане, их лорд Реглан был едва ли не ничтожней наших Меншикова и Горчакова. И у Арно, и у Канробера, и даже у Пелисье — ошибка за ошибкой, промах за промахом. Но все они думали о солдате и старались беречь его. Вот чего и в помине не было у нас, где «солдат спал на спине, а животом прикрывался», где «с каждого сухаря брали от министра до кашевара».

Нахимов был маньяк. В его одержимости Севастополем — что-то нездоровое, почти безумное. Для него не существовало ни мироздания ни культуры, ни Пушкина, ни Леонардо, ни женщин — один Севастополь.

*8 декабря 1983 г.*

Читаю материалы по декабристам. Интересно, как выглядело 25 декабря с точки зрения царской фамилии. Заодно выяснилось, что Николай был элементарно неграмотен, он писал «арьмия», «перьвий», «недопущать» — совсем по Зоценко. Романовы сюсюкали друг над другом, как старые няньки над писунами-младенцами. Как они чувствительны, сентиментальны, восторженны и утонченны, когда дело касается членов их семьи и

высокорожденных родичей, как холодны, грубы и беспощадны, когда дело касается всех других, кроме раболепствующих сановников. Но дошел до записок принца Вюртембергского, и сразу пахнуло интеллигентностью, гуманностью, готовностью к состраданию — никакой азиатчины. А эти — какие-то слезливые палачи. Охают, ахают, умиляются друг над дружкой, рыдают и лупят картечью по безоружному мирному населению. И все у них

535

ангелы, а суперангел — гнусный и двуличный Александр, устроитель военных поселений, отдавший Россию Аракчееву; почти такой же ангел — Николай, убийца с оловянными глазами; два очаровательных ангелочка — фрунтовой унтер Михаил и пьяный дебошир Константин. Но святее святых — императрица-мать. У этой святой женщины не нашлось и слова заступничества, когда началась омерзительная расправа над декабристами. А всеми заторханный принц Вюртембергский поднял свой голос в защиту бунтовщиков. Вообще «святое семейство» понятия не имело о милосердии. Но как ни дико, они всерьез верили, что народ их обожает. Хоть бы раз задумались: а за что? За рекрутчину, за поборы и батоги, за нищету, за бесправие? Единственное право русского народа — это крепостное право.

*9 декабря 1983 г.*

Возился с Голицыным. Никак не могу представить себе его образ в движении. Писать ассоциативным способом можно о себе самом, здесь это не пройдет; в лучшем случае получится некая сублимация проникновения в чужие глубины, игра.

Как мало пищи для раздумий и чувств дает окружающее. Бродят какие-то тени, полупризраки, в них всё угасло, кроме профессиональных навыков. Но и те, в ком сохранилась энергия, так же скучны — заперты на все замки и то ли вовсе лишены душевной жизни, то ли навсегда упрятали ее в подвал, а ключ потеряли. Все мыслят по шаблону, рассуждают по шаблону, чувствуют по шаблону и, похоже, вовсе не тягостятся своим безличием. Легко же пошли на ликвидацию даже слабых следов индивидуальности мои соотечественники. И не просто легко, а с удовольствием, с облегчением, все смертельно устали от «свободы».

В «Известиях» вышло до стыда пресное интервью со мной, даже та крошечная, микроскопическая остротца, что была в моем разговоре, вытравлена без остатка. Заодно я узнал, что начальство не решается опубликовать мой рассказ «Дети лепят из снега», напечатанный в свое время в «Вечерке», в ряде моих книг, в переводах на иностранные языки и экранизированный для телевидения. Причем совсем недавно его опять показывали. Вот до чего дошло!

*10 декабря 1983 г.*

Снова на первых страницах центральных газет напряженно и пусто улыбаются заурядные, тусклые лица каких-то

536

мифических «передовиков». Да ведь всё это было, было, десятилетиями улыбались герои труда, и всё пустели магазины, всё падала производительность, всё ниже становилось качество продукции и всё длиннее хвосты очередей, и докатились мы до уровня слаборазвитых стран, торгующих не изделиями, а содержимым недр. Воистину: ничего не забыли и ничему не научились. Неужели дело настолько плохо и положение так безвыходно, что ничего не остается, как повторять убогие, давно скомпрометировавшие себя сталинские ухищрения? Как им самим не скучно, не стыдно и не противно.

*15 декабря 1983 г.*

Вернулся из Узкого. Теперь кажется, что там было хорошо, хотя и немного беспокойно, не сумел я скрыть свое местопребывание. И всё же нервы немного угомонились. Впрочем, телефон быстро растрепал их опять. Коварные венгры, нахальные и недаровитые начинающие авторы, гнусный Феликс Кузнецов, которому нестерпимо охота от меня избавиться да чего-то боязно, какие-то институты, которым зачем-то нужно, чтобы я у них выступил, давно забытые знакомые и неведомые обитатели помоек — без устали мучают наш телефон.

*30 декабря 1983 г.*

Сейчас Алла сделала мне новогодний подарок: сообщила, что 24 ноября скончалась Лена. Я это знал, твердо знал, потому и не спрашивал Сашку ни о чем. Хотел приучить себя к этой мысли. А когда стал просить Аллу сказать правду, она лгала мне во спасение. Она правильно рассчитала, что я залью горе водкой. Лена так и не пришла в сознание, так и не узнала, что умирает. Ей не было шестидесяти пяти. Совсем гнилые люди, вроде Немки, Вали Л. живут себе и живут, без толка и смысла, а Лена, исполненная интереса к жизни, не сдавшаяся, сохранившая душу и в своей матрасной могиле, умерла. Я еще не охватываю до конца случившегося, но это придет, и мне будет очень, очень плохо.

Она была единственным человеком, который меня никогда не обидел, даже малостью. А я ее всё время обижал, хотя не предал, и она это знала. Лена навсегда останется болью во мне. А ведь ни от кого не было мне столько радости. Как сразу пусто стало в этом муравейнике.

*31 декабря 1983 г.*

Вот и кончился год. И унес Лену.  
537

## 1984

*1 января 1984 г.*

Вот и проводили еще один год и встретили новый. Каким кошмаром он обернется? Сам ли я устал или время устало от лжи, демагогии, угрозы войны, отсутствия жратвы, низости правителей, тщетности всех усилий добра, но у меня создалось впечатление, что всем надоело жить. Алла уверяет, что впечатление это ложное. Женьке Е. ничуть не надоело тщеславиться. Ванде — спекулировать, Александрову — обивать пороги КГБ и МВД и таскаться с мешком на Чукотку, а также получать с Таймыра через Душанбе подванивающую рыбу, Краснопольскому — Ускову — снимать халтуру и получать бляхи, а всем другим — пить. У меня нет силы для желаний. Я очень многого хотел и слишком малого достиг, что-то во мне перегорело. Хочу ли я всерьез, чтобы Андрон ставил «Рахманинова», чтобы я правил «Петра» в Лос-Анджелесе?\* Наверное, хочу, но вяло. Привычка к неудачам убивает волю, желание, стремление к чему-либо. Всё как-то лишается вкуса, ничто не влечет, не манит. И пишется вяло, и читается вяло, и думается нехотя.

Раньше я очень остро жил: и внешне, и внутренне. Сейчас я больше имитирую заинтересованность. Может быть, это временный упадок, порожденный смрадным временем, неудачами и особенно — безнадежной Лениной болезнью, ее умиранием и смертью.

Автоматизм существования, привычек очень силен в человеке: делаешь, вроде бы, всё то же, что и прежде: пишешь, звонишь в редакции, встречаешься с людьми, но сам

словно и не участвуешь во всём этом. Ненависть — единственно активное чувство, которое осталось во мне. Да и не просто осталось, а набирает силу.

Что произошло с Андроном? Очевидно, семья сплотилась против него и сумела перетянуть на свою сторону мать с ее

---

\* Ю. Нагибин, как и ряд других советских кинематографистов, принимал участие в работе над американским телефильмом о Петре I.—Примеч. ред.

538

наследственным богатством. Возможно, ему поставили ультиматум: или возвращайся, или забудь о своей доле наследства. Конечно, он не мог бы прожить все эти годы, если б мать его не поддерживала. Нельзя же закладывать всю семью ради одного, пусть любимого, сына. Не исключено, что славный старик-отец пригрозил ему более серьезными карами: за границей, в напряженном уличном движении, человеческая жизнь не стоит копейки. Там всё грозит смертельной опасностью, даже проигрываютели.

И всё же, надышавшись тем воздухом, невозможно вернуться в нашу смрадную духоту. И я начинаю думать, что он пойдет на всё: на разрыв с семьей, потерю наследства, на смертельный риск, лишь бы не возвращаться к тому медленному самоубийству, которым является наше существование, точнее сказать, гниение.

Почему он не зашел вчера в Дом кино? Почему не было его брата? Почему американцы\* не пошли к Никите, как было условлено? Там происходит что-то серьезное. Нельзя же верить тому, что ему просто надо отоспаться. Но до чего же верно нарисовал я картину его встречи с Ермашом! «Значит, договорились? Ставишь?.. Да, не забудь паспорт свой оставить Харитонычу, а то еще потеряешь в суматохе».

Не могут наши переступить через самих себя, хушь плачь! Какими их слепил Сталин, такими они остаются при всех переменах. Тут, видать, дело в генах: новые поколения ничуть не отличаются от предшествующих.

7 января 1984 г.

Вчера у нас собралась большая и совершенно ненужная компания — следствие безответственной трепотни за новогодним столом, когда всех любишь: Алик, Ирка, Люсьен с женой, Инга и свои люди — Саша с Ларисой, Нина С. Инга за те несколько лет, что я ее не видел, из худощавой, со следами былой красоты добродушной женщины превратилась в фурию. Она — копия своей неуправляемой матери, но без ее гниловатого шарма. Она энергично, уверенно напилась и стала говорить мне дерзости по поводу «Терпения». На этот раз хула шла не по главной линии: калека ее, вроде бы, устраивает, но отношение матери к детям — ложь. Тут — сугубо личное. У нее двое неудачных сыновей, которых она любит. Один — уголовник, наркоман, не вылезает из Белых Столбов, другой — расслабленный, безвольный алкаш, как-то поддерживаемый отцом, таскается к нему каждую неделю,

---

\* Какие-то голливудские деятели.

539

прислуживает полубезумной от злобы и обиды на весь мир бабушке и всем этим очень утешает материнское сердце.

Инга не хочет признать, что она упустила парней в блядстве, пьянстве, безбытности, и состряпала себе оправдывающую их (да и ее самое) теорию: прикованность к стойке — это протест, уход от бесчеловечной действительности. И нечего возводить хулу и на таких вот детей, и на их родителей, не желавших приучить их к правилам официальной лжи. Оказывается, своим рассказом я ударил еще и по такой, весьма многочисленной части населения. Ведь распад коснулся не только «элитарных» детей, но и вовлеченных через

школу, двор, институт в их орбиту детей из простых семей. Кстати, моему поколению было куда труднее отстаивать свою личность в том безнадежно гнилом, чумном мире, который создал Сталин, но мы: Павлик, Оська, Лева Тоом, Каждан, Эфрос, Стасик, Рюрик, Бамик, Витька и множество других ребят отстаивали себя дружбой, книгами, мечтами, спортом, повышенной опрятностью в отношениях. А вот компания отца вышеназванных братьев защищала свою юношескую самостоятельность бардаками, пьянками, чудовищными по разнузданности, бильярдом, картами и террором на Петровском катке «Динамо».

Потом Инга толкала всех в снег, падала сама, и Саша добродушно говорил: «Будем поднимать». С трудом засунули ее в машину бывшего первого таланта Москвы Люсьена с чудовищным пузом и на радость оставшимся увезли. Ее муж, очевидно, погорел, что было неизбежно при его чрезмерной приближенности к прежним властителям. К тому же он алкоголик, да еще влюбчивый. Начальство вынуждено было прекратить какой-то его слишком далеко зашедший роман. Инга — злая неудачница во всём: в детях, в муже, в себе самой.

А Нина С., не заметив, что я вижу, очень возликовала, когда Инга стала крыть меня за «Терпение». И у Нины тут что-то личное, связанное со старшим, запрограммированным на неудачи сыном, со странностями младшего.

Лена полтора месяца была без сознания. Она не знала, что умирает. Оказывается, у нее был сильнейший инсульт. Как сумел Саша всё это скрыть от меня? Он всё же сильный человек и с несомненным моральным началом. Вот откуда и его раз навсегда решенное неприятие отца. Хотелось бы понять, как формировался Сашин характер. Ведь он щедро отдал дань отроческой расхлябанности, юношеской безала-

540

берности с водкой, бильярдом, картами, дурными знакомствами. Но с него всё это стекло, не оставив зримого следа. Может быть, что-то от слонялы в нем осталось, но он показал себя замечательным сыном, он с величайшей ответственностью относится к семье, читает, думает, имеет свое твердое отношение к действительности и напрочь не принимает того, что кажется ему подлым, двуличным, карьерным. У него есть мораль, есть принципы. Неужели наша семья, отношение Лены ко мне сыграли какую-то роль в его формировании?

*29 января 1984 г.*

Весь мир болен — не в переносном, а в прямом смысле слова. Болен (похоже, безнадежно) и наш правитель. Не завершит он своей великой преобразовательной деятельности, хотя успел немало: окончательно испортил отношения с Америкой, приблизил войну, повысил стоимость почтовой марки на одну копейку, выпустил дешевую водку, которой народ присвоил его имя, напомнив о славной «рыковке», расстрелял директора Елисеевского магазина и снял вора Щелокова. Больше он ничего не успел, даже закончить дела Колеватова.

Болеют люди и животные. Особенно жалко последних. Все стонут, жалуются, томятся, мучаются, чешутся, скребутся, покрываются сыпью, коростой, «обрастают какой-то скверной шишкой» — по выражению Лескова. Эпидемии гриппа следуют одна за другой, свирепствует желтуха, расцвела саркома. Это, конечно, не случайно. Химикаты проникают в нас ежедневно: с водой, хлебом, мясом, крупой, рыбой, овощами и фруктами. Всё заражено. Продуктами атомного распада насыщена земля, вода и воздух, они выпадают дождем, снегом и градом. Это мировой процесс, но, конечно, у нас он, как всегда, принял самые чудовищные, губительные формы.

*31 января 1984 г.*

Сегодня ночью мне приснился (после всех похмельных ужасов) прекрасный сон: ко

мне пришла женщина из какой-то дальней дали, но вернувшая свой молодой образ. Она как-то радостно и привычно, словно нас ничто не разлучало, потянулась ко мне. Мы прилегли (именно, прилегли, а не легли) на диван, я успел подумать, что вот оно — счастье. Меня всего залило радостью, и тут я проснулся. Эта радость задержалась во мне, и прошло немало времени, прежде чем я начал жалеть о недосмотренном сне. А потом и вовсе затоско-

541

вал, догадавшись, что то была Лена. Господи, была же в моей жизни такая полнота, окончательность совпадения с человеком!

*10 февраля 1984 г.*

У меня бывают странные дневные засыпания на десять-пятнадцать минут. Необыкновенно глубокие, с пронзительно сильным и одуряющее реальным видением. Вчера было такое. Я увидел Аллу и услышал ее голос: «Проша спросил, будешь ли ты завтра... Послезавтра (это она подчеркнула, словно удивленная его неосведомленностью). Он закрыл глаза». Почему это так мило? Второй день думаю и не могу понять. Я рассказал Алле, и ее это тронуло, она то и дело повторяет: «Он закрыл глаза». (И сейчас, когда я перепечатаваю запись, что-то нежно сжимается во мне, а почему — непонятно.)

Сегодня с утра траурная музыка. Чуть больше года прошло, и опять перемена. На этот раз всё более смутно и непредсказуемо, чем в прошлом году.

Странное состояние: ни скорби, ни злорадства, ни сожаления, ни надежд. Конечно, Андропов хотел что-то сделать: навести хоть какой-то порядок, изменить безобразное отношение к труду, к своим обязанностям, хотел пробудить чувство ответственности и стремление к новому, лучшему. Он не преуспел в этом, да и не мог преуспеть. Нельзя перестроить жизнь гигантской запущенной, разложившейся страны с помощью одних постановлений да ужесточения режима. Он решил «дать нам волю», опираясь только на КГБ. Что и говорить, — мощный союзник, великий рычаг прогресса, но одного этого мало. Зато он прикончил литературу. Думаю, что навсегда. Кому захочется оживлять этот труп, ведь без нее куда спокойнее.

*17 февраля 1984 г.*

Существовал ли еще когда такой феномен, чтобы власть лезла к гражданам в душу, мозг, распорядок дня, чтение, постель, в задницу, наконец, и чтобы народ при этом настолько ее игнорировал, не замечал и не принимал всерьез? В этом есть что-то величественное. Обывателям (т. е. нормальным народным людям) наплевать с высокой горы, кто уткнулся в кормушку власти, есть ли у нас президент, или мы сироты, какая очередная ложь проповедуется с амвона, они настолько неотягощены внутренними обязательствами перед государством, что это почти свобода. Во всяком случае, внутренняя свобода. Американцев все-таки занимает, кто будет пре-

542

зидентом, их тревожат военные ассигнования, волнует мировая обстановка. Нам на всё насрать. Мы так привыкли к лжи, что не верим в объективную реальность чего бы то ни было, кроме собственного быта, которого тоже нет. Вот уж воистину: «Мы живем, под собою не чуя страны». И дело-то, оказывается, вовсе не в Сталине. Он — просто крайнее выражение всех особенностей и тенденций этого строя. Как живет страна: продуктовые и транспортные муки, мавзолейные очереди и обувные магазины, телевизор, изредка кино и очень, очень много водки. Раз в году — отпускная страда. Всё. Да, еще возня с внуками, страдающими поголовно диатезом, желтухой и кретинизмом разного уровня.

Конечно, среди людской несметы попадают и такие, что читают, ходят в музеи и на выставки, даже иногда думают, но таких совсем мало. Я не говорю о тех, кто читает в метро, ломится на выставки Глазунова и Шилова, подлинных властителей дум,— это

шваль, уж лучше бы забивали козла и дули водку.

А у начальства новая гадость: бояться «войти с предложением». Вонючая трусость подается как великая государственная осмотрительность, тонкий расчет, зрелость души и ума.

*21 февраля 1984 г.*

Вчера в ЦДЛ ко мне подошел какой-то помятый, неопрятный человек с орденскими планками и сообщил, что умер художник Шишловский, которого он знал по Волховскому фронту. Задохнулся, туша пожар в своей мастерской. Это проливает некоторый свет на гибель Рухина. Он тоже задохнулся в мастерской, спасая от пожара своих пьяных гостей. Видимо, краски, масла выделяют какие-то отравляющие, удушающие вещества. Считалось, что Рухина прикончили. Смерть Шишловского как-то странно царапнула меня. Я уже давно понял, что он человек неважнецкий: эгоист до мозга костей, скупердяй, к тому же скрупулезен в денежных делах («огоньковская» история) и вообще крайне необязателен. А жалко, жалко... Малая Вишера и голод, Акуловка и Маруся связаны с ним. Теперь всё это только мое воспоминание.

*29 мая 1984 г.*

Вернулся из Венгрии, где пробыл неделю. Смотрел материал, ходил на съемки, встречался с телевизионщиками и журналистами, ел пышную, невкусную и крайне вредную еду, мучился животом, обдристался в номере и читал толс-

543

тенный роман Оутс «Делай со мной, что захочешь». Тяжелое все-таки дело литература. Оутс прямо-таки кишки наружу выворачивает, и ни черта не получилось. Персонажи ее так и не пробудились для жизни, остались марионетками, которым она не дает ни минуты покоя, дергая их за все веревки, но эта мертвая суетня не вызывает даже вялого интереса. И как у всех пишущих баб, чтоб им пусто было, герои без конца потеют, смердят и блюют. Это, конечно, не случайность, а желание создать «мужскую» прозу. Тем же отличаются препротивные романы Мёрдок. Удивительно, что Оутс неспособна наделить персонажей не только самостоятельной душевной жизнью, но даже отчетливой внешностью. Я не вижу ни ее женщин, ни ее мужчин. От Джека в памяти лишь красные юношеские прыщи, и когда автор талдычит о его физической привлекательности, это кажется бредом. Зачем герои соединяются в финале, что означает этот натужный символ? Герои пусты: ни кишок, ни психологии. Одна из самых противных книг в непривлекательной американской литературе сегодняшнего дня.

*АВСТРИЯ (август 1984 г.)*

Как мало мне надо, чтобы почувствовать к чему-либо отвращение, которое никогда не пройдет. Пешком я добрал до Пратера, при входе взял большой вафельный стакан с мороженым чуть не десяти сортов, уселся на скамейку, вытянул усталые ноги и с наслаждением всосался в холодную сладкую благодать. И тут мимо меня неторопливо, деловито, чуть задев мои брючины, прошествовала в кусты огромная раскормленная крыса. Мне сразу омерзел Пратер, омерзело уличное мороженое.

На другой день за завтраком я развернул целофановую обертку, в которой подается ломтик черного хлеба, и обнаружил, что хлеб зацвел. Не просто заплесневел, а будто мохом подернулся. Меня чуть не вырвало. Мне омерзел мой отель с его рестораном, омерзела Вена и сразу захотелось домой.

Разговор с актрисой Захариас, играющей загадочную любовницу Меншикова Дарью (?) Лунд. Она родом из Швеции, еврейка, родители — выходцы из России. У нее трое детей (все при ней, на съемках, две девочки — четыре и два года—и годовалый малыш. Он обрезан. Она привезла с собой молодую няньку-шведку). Разговор происходил на

лужайке перед бассейном. И актриса, и нянька были без лифчиков, как и многие другие пляжные дамы. Их это ничуть не сму-

544

щало, меня — тоже. Легкие «бикини» Дарьи Лунд слегка сдвинулись, обнаружив жалкую растительность лобка, и это тоже не вызвало даже тени замешательства. Ко всему еще она коммунистка. Маленькая, тощенькая, в чем душа держится! — и такой сильный сплав. Детишки появились на свет от разных отцов, но ни с одним она в браке не состояла. Что ее тоже ничуть не смущает, а меня подавно. Она не лишена интеллигентности, знает Фрейда, смотрела «Дерсу Узала» и умилилась дружбе офицера с таежным карликом. Очень общительна и вовсе не жалка. Дети милы, даже обрезанный Мозес (Моисей) не так плох. Мы заспорили о том, имела ли она право обрезать сына. Ей такого рода сомнения и в голову не приходили. «То, что я сделала — вызов мировому антисемитизму!» — «Жаль, что расплачиваться за этот смелый жест придется вашему сыну». — «Ну и что же, все должны!..» — «Простите, а вы спрашивали его согласия?» Со смехом: «Ну, он же малютка!» — «Это и плохо. Вы воспользовались его беспомощностью и сделали выбор за него. Обрезаться никогда не поздно. А может, он не захочет для себя такой сложной участи, может, ему предпочтительнее жить по законам и возможностям своей арийской половины? Нельзя решать за другого человека. Достаточно того, что вы без спроса пустили его в этот страшный мир».

К нам подошел исполнитель роли генерала Гордона — очень самоуверенный, надменный английский актер. Он, видимо, величина, хотя его имени я сроду не слышал и тут же забыл. Он произвел анализ и обнаружил полнейший произвол в тонком вопросе о возрасте действующих лиц. Больше всего его злит, что Шелл, который старше его почти на десять лет, по фильму моложе на тридцать. Правда, ближе к концу фильма они подравниваются. По воле игривой мысли Шиллера Петр внезапно и резко стареет, а Гордон до конца остается в своем возрасте. На это ему наплевать. Потом оказалось, что исполнитель роли Меншикова моложе Шелла на двадцать лет, а по фильму Меншиков, вопреки исторической правде, сделан на поколение старше Петра. До чего же мелкие дразги у этих высокооплачиваемых! Но тут дело в том, что эти двое получают много, а у Шелла — супергонорар.

Порядок в группе образцовый — каждая мелочь, каждое передвижение в пространстве определены и зафиксированы. Утром под дверь гостиницы подсовывают листок с распорядком дня каждого члена группы, указано, кто, на чем и куда едет. Но мне начинает казаться, что подобный сверхпорядок не лучше нашего бардака. Всё как-то не доделывается, всё наспех, только сами съемки необъяснимо медлительны.

545

Шиллер делает вид, что добивается совершенства, а снимает по бредовому сценарию и абсолютно равнодушен к его нелепостям. У него великолепный оператор-итальянец (снимал все фильмы Бертолуччи), он заставляет камеру всё время двигаться, что придает кадру необыкновенную подвижность и жизнь. А у Палашти всё стоит (кроме хуя): актеры, окружение, камера.

И всё же, даже на высокоорганизованных съемках — налет какой-то киногнили. Может быть, от недоброкачества самого дела, почти всегда жульнического?

(То, что меня смущало на съемках, впоследствии обрело название: непрофессионализм. Шиллер терялся на съемочной площадке, он не привык иметь дело с многонаселенным кадром, не умел организовать его.)

Заходил представитель «Совэкспортфильма». Странная смесь неинтеллигентности с выборочной эрудицией. Он почему-то всё знает про Смутное время, но ничего вокруг. По его теории Болотников был заслан поляками, и хотя отказался от «должности» Лжедмитрия II, лелеял какие-то честолюбивые планы. Он возглавил всякий сброд, его

движение не было социально, как, скажем, пугачевщина. Может, это бред, но ход мыслей интересный. У представителя было три лица: Передонова, Карандышева и Вальтера Слезака — утонченного киногероя двадцатых годов. Он был то ничтожен, то жуток, то почти прекрасен. По образованию инженер, по призванию историк, по роду деятельности — шпиончик. Он утверждает, что битву за зрителя кино безнадежно проиграло телевидению. Кинозалы пустуют. Жители Австрии бывают в кино не более трех раз в год. Они всё хотят видеть у себя дома, потягивая пиво или кофе в удобном кресле. Но будущее даже не за телевидением, а за кассетными фильмами, ибо тогда каждый будет смотреть то, что он сам хочет, а не то, что ему предлагают. Наверное, он прав. Интересно, что кино умирает, не только не изжив себя, но даже не успев стать собою, т. е. настоящим искусством. Если бы кино разрабатывало свой язык — движение, оно бы не поддалось ни телевидению, ни кассетам. И как ни странно, тут дело в экране. Маленькая площадка телеэкрана тяготеет к статике, движение на нем невыразительно, оно не просматривается. Маленький экран требует неподвижности, крупных планов, возможности взглянуть в лицо, ему полезны диалоги, убийственные для кино. И еще — кино может рассматривать мир, как бы под микроскопом, что на маленьком экране не производит никакого

546

впечатления. И наконец, кино предполагает зал и сопереживание, а телевизор работает на разъединении людей. Значит, должны быть совсем разные зрелища, а кино покорно прислуживает телевизору.

Телевидение тоже не торопится обрести свой собственный язык. Я знаю только один настоящий телефильм, это «Жизнь Леонардо да Винчи» Ренато Кастеллани. Он вводил Леонардо в наш мир, а нас — в мир Леонардо, вызывал слёзы и заставлял трудиться мозги. А вот «Верди» того же Кастеллани начисто не удался, обычный кинофильм о музыканте, только пагубно оскученный ненужными подробностями. А главное, фильм так заболтан, что почти не осталось места для музыки. Как всё трудно в искусстве, как редки удачи!

Хорошую историю я прочел в газетах. Парень — австриец, отсидевший 24 года за несколько убийств — бессмысленных, не сопровождаемых ни грабежом, ни изнасилованием — чистый садизм, столяр по профессии, так разжалобил юридические власти страны своим примерным поведением, что был выпущен из тюрьмы с трехлетним испытательным сроком. В Австрии нет смертной казни, столяр имел пожизненное заключение. Он вернулся в семью, начал работать, а через год убил молодую женщину и ее шестилетнюю дочь, по-прежнему бескорыстно. Есть подозрение, что до этого он убил мальчика, почти сразу по выходе из тюрьмы. Преступление доказано, убийца и не думал отпираться, тем не менее, нашелся самостоятельный мыслитель, его сосед, которого не проведешь, он готов доверить единственную дочь славному Юпи. Возможно, он говорит искренне, будучи еще большим садистом, чем маньяк Юпи, или же дочь заслужила хороший удар по черепу.

Торчу в номере. Третий час пополудни. С чувством голода возвращается желание жить, вдруг покинувшее меня утром. Как-то разом всё омерзело и невыносимой показалась возня с той грязной писаниной, которую Шиллер считает сценарием. Ведь я же всё сделал: толково и энергично, появился лаконичный, порой остроумный, всегда точный и «окрашенный» диалог, всё пришло в соответствие с историей, исчезли длинноты, нелепицы, много хороших находок. И ведь ему это нравилось, когда Машка переводила устно мой сценарий в Суздале. Что же случилось потом? Ума не приложу. Но Шиллер словно оглох и отупел, он ничего не

547

слушает, не хочет понять, не принимает даже того, с чем был безоговорочно согласен

прежде. Я вынужден каждый день доказывать столяру-садисту, что убивать людей плохо, что так себя порядочные дяди не ведут. Да он и сам это знает, но ничего не может поделать с собой.

Люди непробиваемы. Люди разучились слышать друг друга. Они умеют лишь подчиняться силе, но всё свое держат при себе до поры, до времени. А может быть, иначе не уцелеешь в беспощадном мире?

После поездки в Зальцбург тоска разыгралась с новой силой. Известие о внезапной смерти здоровяка Тендрякова меня ошеломило. Значит, это может произойти в любой момент, без предупреждения, без крошечной отсрочки на прощание, слёзы, на какие-то итоговые признания. Так вот бесцеремонно, хамски, по-ОВИРовски.

Тендряков прожил чистую литературную жизнь, хотя человек был тяжелый, невоспитанный и ограниченный, с колоссальным самомнением и убежденностью в своем мессианстве. Строгий моралист, он считал себя вправе судить всех без разбору. При этом он умудрился не запятнать себя ни одной сомнительной акцией, хотя бы подписанием какого-нибудь серьезного письма протеста. Очень осмотрительный правдолюбец, весьма осторожный бунтарь. Но было в нем и хорошее, даже трогательное. Он свято верил в свою равнодушную жену и всю ее еврейскую семью, относившуюся к нему сверху вниз. Исключение составлял на редкость глупый и симпатичный тесть. А теща говорила о нем: «Наш мужичок». Короткое время мы были друзьями, он разрушил эту дружбу из дремучего и слепого эгоцентризма и возненавидел меня за собственную неуклюжесть. Тем не менее он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик. Это серьезная утрата для нашей скудной литературы.

А вот Евтушенко производит смутное и тягостное впечатление. Он, конечно, исключительно одаренный человек, к тому же небывало деловой и энергичный. Он широк, его на всё хватает, но при этом меня неизменно в его присутствии охватывает душный клаустрофобический ужас. Он занят только собой, но не душой своей, а своими делами, карьерой, успехом. Он патологически самоупоен, тщеславен, ненасытен в обжорстве славой. Я!Я!Я!Я!Я!...— в ушах звенит, сознание мутится, нет ни мироздания, ни Бога, ни природы, ни истории, ни всех замученных, ни смерти, ни любви, ни музыки,

548

нет ничего — одна длинновязая, всё застывшая собой, горластая особь, отвергающая право других на самостоятельное существование. Он жуток и опасен, ибо ему неведомо сознание греха. Для него существует лишь один критерий: полезно это ему или нет.

А как хорошо он играет в пинг-понг. Он выиграл блицтурнир на даче Брандауэра, хотя здесь собрались сильные игроки. Так же мастерски он играет в теннис, даже в Австрию ракетку захватил. Он стал модно одеваться, а при его росте и худобе вещи отлично сидят на нем. Он пьет, почти не пьянея, ему неведома ни физическая, ни душевная усталость. Иногда я начинаю всерьез думать, что у него, вместо внутренностей, электронный аппарат. Он — робот. И, как робот, холоден. С ледяным лицом он говорил о смерти Тендрякова. О смерти Дика он вообще не слышал и как-то высокомерно удивился, что меня интересует судьба такого жалкого человека. И, как робот, в чем-то ограничен. Отсутствие нравственной основы страшно обедняет человека, особенно человека творческого. Он не видит подлости в катаевских писаниях и страшно удивляется, когда я нахожу доносы в его собственных опусах. Он, кстати, не понимает, чем плох донос, эта литературная форма ему очень близка, но вместе с тем он знает, что по какой-то ханжеской договоренности донос причислен к смертному греху.

Чем объясняется его несомненно хорошее отношение ко мне? То ли я чем-то поразил его, когда он был совсем юным и очень хотел быть взрослым, то ли я просто вошел в его обслугу. Рецензия в фотожурнале, прекрасный отзыв на запрещенный роман, письмо в защиту дрянного фильма. Вроде бы чепуха. Но Трифонов отказал ему в отзыве на роман, никто не обмолвился словом о фотовыставке, фильм дружно бранят, и в защиту

выступить никому не хочется. Так что в большом хозяйстве мне отведена скромная, но нужная роль. Значит, можно побаловать меня поездкой в Зальцбург, можно было сводить нас с Аллой в хороший лондонский бар. Всё правильно, всё справедливо.

Что за странную игру ведет со мной Шиллер? Он всячески подчеркивает, что я тут не нужен. Но ведь это неправда. Вся группа воеет от того грязного бреда, который он тянет на экран. А когда я приезжаю на съемки, мы что-то исправляем, ну, хотя бы грубейшие фактические ошибки, что-то в диалоге. Все знают, что Шиллер лепит халтуру, но это не мешает лорду Оливье ехать сюда, чтобы покрасоваться в роли

549

короля Уильяма, не мешает маститому Шеллу позориться в роли лже-Петра. Деньги решают всё. Но ведь эти люди и без того богаты, к тому же стары и одиноки, не унесут же они на небо свои банковские счета. Но, видимо, богатство само требует своего увеличения.

Убей меня Бог, если я когда-нибудь пойму, почему режиссеров так влечет к дряни, почему им непременно надо либо изгадить сценарий, либо не дать его исправить, если он уже говно. Почему Шиллер не использовал мои поправки, зачем Палашти изуродовал отличный сценарий? Может, они не со зла? Просто невежественные, неодаренные и малоумные люди вдруг получают возможность не торговать, не просиживать стулья в канцелярии, не спекулировать, не обслуживать более богатых и достойных, а самоуправно делать что-то странное, что называют искусством. Им не хочется ни с кем делиться, не деньгами, деньги давно поделены, а властью делать всё по-своему. Режиссеру никто не опасен, кроме сценариста, ибо тот — первооснова, и чем лучше первооснова, тем меньше чести режиссеру. Таким образом: чем хуже сценарий, тем лучше. Это отпадает, когда сам режиссер автор или хотя бы соавтор.

Что со мной происходит? Нервы разболтались окончательно. Я всё время стремлюсь в отчаяние. И не могу проанализировать причину срыва (прежде мне это удавалось). А может, дело просто в старости, беспомощности, идущей от усилившейся глухоты, непрактичности, особенно приметной в очень поднаторевшем мире, растерянности перед жесткостью окружающего, вечными болями — в ноге, руке, шее — и в утрате навыков общения. Мой круг ограничен Аллой, лемешистками и гостями. Я не борюсь, не отстаиваю себя и потому напрочь утратил форму. Я забалован. Прежде всего Аллой, но также отношением многих незнакомых мне людей, пишущих удивительные по доброте письма.

И, конечно, я многого не понимаю. Мне кажется, что можно жить, не оскаливаясь поминутно, не пытаюсь раздавить другого, не окружая себя завесой хамства. Люди поразительно недоверчивы друг к другу, всё время ожидают нападения, отсюда их чудовищная агрессивность.

Сегодня смотрел материал «Петра». Шелл талантлив, правдив, хотя — не по своей вине — играет очень ручного Петра. Меншиков из рук вон плох — вина целиком на ре-

550

жиссере, который сам не знает, чего хочет. Толстой — гиньоль. Хорош плотник Никита, есть в нем подлинность, неужели это иностранный актер? В чем гениальность Витторио Стораро, я так и не понял. Нормальные кадры, никакого особого операторского видения я не обнаружил. Его маленькая поэма в прозе о том, как надо снимать «Петра», обещала значительно больше.

Шиллер устроил мне фальшивую истерику в связи с моим отъездом, как я, впрочем, и ждал. Видимо, он потом будет лить на меня: вот, мол, бежал, бросил группу на произвол судьбы. А ведь я пробыл здесь ровно две недели, т. е. тот срок, на который они меня

вызывали.

Шиллер саботировал мою работу. Переводчицу Волконскую всё время отрывали, потом Шиллер увез ее в Москву, хотя на студии Горького есть не хуже, а едва она вернулась, как в тот же день улетела в Штаты к больному отцу. А тут был Тим, прекрасно говоривший по-русски, но мне дали его лишь на один день. Прикатившая из Москвы блядь Фея даже не объявилась, а когда я попросил привлечь ее для работы, она нагло сказала, что приехала сюда отдохнуть. На показ материала меня не звали и попал я в последний день на просмотр случайно, столкнувшись с Рымалисом. Всё — загадка.

*10 сентября 1984 г.*

Какая жалкая история разыгралась на днях! Лари Шиллер, которого я всего две недели назад наблюдал в славе и величии, низвергнут в аид. За какие-то жульнические проделки, чудовищный перерасход. Страховая компания, где американское телевидение застраховало картину «Петр I», поймала его за руку и добилась отстранения от картины. Он уже не продюсер и не режиссер. Ставить будет Марвин Чомский, тоже одесский еврей, но другой. Отснятый материал и права на картину у него откупили. Вначале я думал, что это его собственный трюк, он говорил Андрону, что фильм не принесет ему ожидаемых доходов. Накануне съемок он острил: «Теперь бы найти того, кто бы поставил эту муру!» Ан, нет! Он раздавлен происшедшим и приехал сюда в наивной, бредовой надежде найти справедливость. Он придумал для наших руководителей совершенно ребяческую чепуху, на которую они клюнули: его сняли за то, что он делал просоветский фильм (это о Петре-то!), а Марвин Чомский будет делать антисоветский. Я допускаю, что наши сделали поправку: Шиллер имеет в виду «прорусский» и «антирусский»; но как можно поставить

два полярно противополож-

551

ных по идее фильма по одному и тому же сценарию? Наши всполошились, и это придало ему бодрости. Для меня он приготовил другой вариант. Учтя все мои замечания, он стал делать высокохудожественный фильм и высокопартийный, а Чомский с моими замечаниями не считается, поэтому фильм будет антихудожественный и антипартийный. А ведь он знает, что я знаю, что никаких моих замечаний, кроме частных, он не учел. Кое-что удалось поправить прямо на съемках в Австрии, но в основном он сохранил старый, нелепый, исторически и литературно неграмотный сценарий. Он даже не перевел мой вариант на английский.

Он сидел, пил кофе, смахивал слёзы и безбожно врал, как бережно отнесся он к моей работе. Смотрите, Чомский использует Шафирову для антисемитской пропаганды! Но ведь, уезжая из Вены, я оставил ему письмо, в котором писал, что нет ничего хуже, когда еврей предается антисемитизму. Что он — считает меня беспамятным идиотом? Или это безграничная наглость, верящая в свою гипнотическую силу? И небезосновательно верящая: деликатных людей такая беспардонность подавляет. Становится стыдно за собеседника, и от этого ты как-то странно подчиняешься ему.

И мне было стыдно за его вранье, унижение, неумение достойно снести удар, к этому прибавилась жалость, и вот я уже звоню Боровику и прошу вступить за лучшего друга советского народа, старого большевика Шиллера, которому мешают поставить партийный фильм. Хорошо, что мудрый Боровик на это не клюнул.

Я дал слово позвонить Павлёнку, что и сделал в понедельник. Но туман уже рассеялся, и наши поняли, что погорел Шиллер по финансовой линии, за растраты и злоупотребления, а «просоветизм» его тут вовсе ни при чем. Как выяснилось, вся группа проголосовала за продолжение съемок, а в нашем договоре с американцами не оговорено, что картину должен снимать только Шиллер, и никто иной.

На глазах разыгралась довольно знакомая по американской литературе драма. Возвышение одаренного авантюриста, упоение нувориша, крах. Интересно, сумеет ли он оправиться? Шиллер похож на того короля-еврея, который ради увеличения доходов

немножко шил. Он ворочал миллионами, но не поленился продать великому бизнесмену Кухлянскому остов корабля. Зачем он понадобился Кухлянскому — не знаю, едва ли в ближайшее время будет ставиться еще один фильм о царе-плотнике. Кухлянский вначале ликовал, потом скис — Шиллер отказался оплатить перевозку остова. Но продавать его Шиллер тоже не имел права, ведь это соб-

552

ственность телевидения. И таких мошеннических проделок, видеть, было немало.

Шиллер не стеснялся говорить при юной и весьма соблазнительной княгине Волконской, переводчице и возлюбленной, что плакал безутешно четыре дня. Считалось, что в его падении лишь Волконская, заменившая при нем предательницу и распутницу Машку, осталась ему верна. Но неожиданно она улетела в Бухару, где сейчас находится вся съемочная группа. Любопытство пересилило преданность возлюбленному.

Выяснилось, что Шиллера сняли не столько за перерасходы и жульничество, сколько за непрофессионализм. Он должен был снимать шесть страниц сценария в день, а снимал только три с половиной. При таких темпах фильм не мог выйти к сроку на телеэкран, а это полный погар для компании. Ведь они ставят фильм на деньги за рекламу. За рекламу зимнюю, поэтому весной им Петр I не нужен, даже если он будет сделан на уровне лучших фильмов Куросавы или Феллини.

(А Шиллер не погиб: снял какой-то фильм и подал на американское телевидение в суд, требуя возмещения убытков — материальных и моральных — на сумму в сто миллионов долларов. Компания подала встречный иск на него и на Максимилиана Шелла, который сорвал съемку, отказавшись продлить контракт. А Шелл подал в суд на телевидение за то, что они дали ему плохого дублера. Длиться это дело будет лет сто.\*)

*15 сентября 1984 г.*

Саша должен был вылететь в США (Сан-Диего) для работы, по приглашению американских ученых. Ему взяли билет через Мехико, он прошел весь ужас оформления, получил все характеристики и справки, а накануне отъезда услышал роковое: несвоевременно. В день, когда он должен был пересекать океан, Саша разбирал гнилые грязные овощи на продовольственной базе, а супруга ученого-путешественника убирала мерзлую капусту на подмосковных полях. Такова наша научная жизнь!

*3 октября 1984 г.*

Вернулся из Ленинграда и узнал, что умер Владимир Осипович Роскин. Когда я видел его в последний раз, то по-

---

\* Нет. Всё решилось быстро. Шиллер получил 1,5 миллиона долларов. Шелл вернулся на съемки и женился на Андрейченко.

553

нял, что он принадлежит уже тому, а не этому свету. Он стал бесплотен и невесом, меня угнетало чувство, что он либо испарится, либо воспарит.

Владимир Осипович прожил восемьдесят восемь лет, пережив всех своих сверстников-художников, всех близких и друзей. Физически он был ужасно слаб, его шатало, заносило, каждое движение стоило ему невероятного труда, но он не распался, подобно Сосинскому. Тот сырой человек, а Роскин, словно осенний лист — легкий, сух, опрыт. Он хорошо видел, до последнего дня работал, у него появилась старческая глухота, ослабла память, но ни тени маразма. Опрятный, подтянутый, благожелательный, ни в чем не поддавшийся власти, не прельстившийся ни одним ее гостинцем, «ни единой долькой не отдалившейся от лица», он до конца остался джентльменом. Он был хорошим, талантливым художником, многое умел, участвовал в оформлении «эпохальных» объектов: советского павильона на Парижской выставке, сельхозвыставки, павильона в

Брюсселе и т. д., но не имел ни одной награды, ни даже звания «заслуженного». Власти ИЗО чувствовали, что он ими брезгует, рядом с ним они издавали неощутимую в их собственной среде вонь. Он вовсе не был человеком не от мира сего. Ему хотелось выставки, монографии, хотелось, чтобы его картины попали в музеи. Он ничего не добился, потому что действовал сугубо парламентскими методами. Он убеждал, доказывал свою правоту, а надо было лизать задницы, подличать, писать слёзные жалобы во все инстанции, стучать. Ничего этого он не умел, но нисколько не завидовал умению других. Он никогда не проводил параллелей: Глазунов, Шилов — это из какой-то неведомой ему системы координат. В его мире этих людей не существовало, при этом он никогда не декларировал своего отношения к ним, мне кажется, он считал их не реально существующими людьми, а знаками мероприятий, вроде Алеши Стаханова или Павлика Морозова.

Роскин сказал мне незадолго перед кончиной, что любит меня. Так и было, я это чувствовал, но находил для него слишком мало времени. Я живу и слишком занят, и слишком трудно с самим собой. У меня остается время лишь для любви к Алле и возне с ушедшими. Сейчас мне больно, что мы так мало виделись, что я так и не привез его на дачу, а ему очень этого хотелось. Надо каждую минуту помнить, как непрочны люди, и жить лишь по этому компасу.

Оборвалась последняя живая связь с детством, юностью, Оськой, с самым дорогим в моем прошлом.

554

*26 октября 1984 г.*

Съездил в Венгрию, где официально приняли картину «Кальман». Почти день в день два года длилась эта мизерная эпопея. И дико — я чуть концы не отдал из-за этого дерьма, сражаясь с режиссером. Впрочем, я отстаивал не сценарий, а собственное достоинство, право сказать хоть что-то свое. Возможно, и ради этого не стоило доводить себя до нервно-сердечного срыва. Но если так рассуждать, то можно сползти к полному равнодушию, к мещанскому свиному безразличию. Пока ты еще способен поставить жизнь на карту ради чего-то, находящегося вне тебя, пусть даже не слишком ценного (а кто знает, что ценно, что не ценно?), ты остаешься человеком; потерял эту способность — ставь на себе крест.

Похоже, что «эпопея» завершилась вовремя. Мне уже надоел мнимоевропейский «Атриум», ужасная еда на свином жире, от которой я сразу и ужасно заболеваю, спесь маленького провинциального народа, бессмысленный щебет Оли, грозные цены Пьера Кардена, пресловутый юмор Палашти и торгашеский фанатизм его в общем-то симпатичной, в отличие от всех остальных, жены. Точка поставлена, и слава Богу. Но все-таки хорошо, что это было. Два года рядом с обычным мышинным существованием шевелилась какая-то посторонняя жизнь, мелькали новые лица, порой привлекательные (Хусти, его жена, Ева Габор и ее семья), новые милые венгерские города, написалась веселая повесть — я рад, что она есть, и к тому же оставалось время для другой работы: «Рахманинов», «Юрка Голицын», «Квасник и Буженинова», статьи, рецензии, телепередачи, интервью, другие сценарии, хороший рассказ. Это было энергично прожитое время. Зря я «увенчал» свои будапештские впечатления «Максимом» с художочными блядушками, обнажавшими квелые титьки.

Умер В. Кожевников. В некрологах о нем на полном серьезе: крупный художник, большой талант, выдающийся деятель. Он уже многие годы был эталоном плохой советской литературы; так дурно, как он, никто не писал, даже Марков, даже Стаднюк, даже Алексеев. Хотя от природы он был талантлив. Несколько его старых рассказов, отдельные куски в «Заре навстречу» отмечены несомненным изобразительным даром, умением видеть и находить слова. Но он всё принес на алтарь Отечеству. Интересно,

сознавал ли он сам, насколько дисквалифицировался? Чувствовал ли он потерю дарования, как потерю руки, ноги, или внешнее преуспевание компенсировало утрату высших ценностей?

555

*17 ноября 1984 г.*

Вчера был у Милы Федоровой. Видел после тридцатилетнего перерыва ее мужа, бывшего лейтенанта, черноволосого, певучего красавца. Сейчас ему 75. Он хорошо выглядит для своих лет, но плохо для того юного лейтенанта, каким оставался в моей памяти со дней нашего первого знакомства на его свадьбе.

Было необыкновенно мило, как уже не бывает ни с кем, даже на наших больших встречах. Настоящее пусто, будущего нет, живо одно прошлое, если сумел его сохранить, а мы это сумели. Мы умеем вызывать его так могуче и зримо, что оно приоткрывается даже посторонним людям. Нашу магическую способность понял и оценил бывший лейтенант.

Милый Бамик всё более впадает в образ ученого-затейника. Таких развелось немало. Он щедро реализует себя в шуточных, поздравительных стихах и эпиграммах, песнях, всевозможных симпатично-мараматических выдумках, домодельных аттракционах... Бамик считает своим долгом каждую встречу украшать либо новой, им самим сочиненной песней (вчера — целым циклом, записанным на пленку), или слайдами, привезенными из ЮНЕСКОвских поездок, или старыми танго, или прозаическими посланиями. Это трогательно в таком серьезном человеке...

*19 ноября 1984 г.*

Позвонила Катя Суздалева и сказала: «Дядя Юра, папа умер». Как только я услышал, что она зовет меня к телефону — сроду не звонила, — я подумал о самом страшном. Но услышав ее слова, никак не мог взять в толк, о чем она. Я и сейчас в странном ожидании, что недоразумение разрешится. Господи, до чего ж это плохо. И почему я с ним не помирился? Глупо, но мне хотелось обставить это как-то по-особому значительно. Ну а помирись я с ним, было бы мне легче? Не знаю. Было бы как-то по-другому, мягче, что ли. После смерти мамы ничто меня так не оглушивало, даже смерть Я. С. (видимо, я уже не любил его), даже смерть Лены (я был готов к ней), и потом — меня обманули, сказали, что Лены нет, когда она уже с месяц лежала в могиле, а к Пете я еще утром собирался на дачу.

Он лежит в морге и терпеливо ждет, когда простятся с великим Томским, испоганившим Гоголевский бульвар и многое другое.

Катя просила меня написать об отце, я сказал ей сквозь

556

слезы: неужели ты не понимаешь, что я не могу. Я понимаю, — ответила она. И всё же, я взял себя в руки и написал.

Я потерял свои записи, сделанные в Узком, но хорошо помню, что почти все они были связаны с Петиной смертью. Я работал и много работал: перепечатывал повесть о Кваснике, но стоило мне оторваться от машинки, и тут же в башку лез Петя. Никогда не представлял, что он так много значит в моей жизни. Я так охотно и надолго ссорился с ним, так раздражался всеми его неверными поступками, а их было немало, так сурово судил его безответственное отношение к Оле, что и вообразить не мог мою сегодняшнюю боль. Оказывается, все мои претензии к нему не стоили выеденного яйца, я любил его, пусть не так безмятежно, как Павлика и Оську — да ведь то было на заре туманной юности, — но столь же сильно и преданно. Эта новая пустота уж ничем не заполнится. Впервые я остался без друга.

Алла была на Петиних похоронах. Всё выглядело пристойно, хотя и холодновато.

Но ее удивило, как серьезно, благодарно и добро относились к Пете в институте. Говорили о том, что у Пети была самая **интеллигентная** кафедра, это вроде бы неожиданно, но Петя, сын ларечника, обладал истинной интеллигентностью, в отличие, скажем, от внешне более цивилизованного Володи. Тот — черный хам в душе, Петя — интеллигент. Он был мягкий человек и жалостливый, хотя и слабый. Но он не принял причастия дьявола, поэтому и ушел без признания и наград, а смотревший на него сверху вниз Володя — обожрался этим причастием.

## 1985

*Апрель 1985 г.*

Всякое столкновение, просто сближение с тем, что заменяет у нас действительность, ошеломляет. Представить себе умозрительно всю степень коррупции, взяточничества — прямого и косвенного, — трусости, перестраховки, забвения всяких приличий — невозможно. Вот сейчас я отчетливо вижу, что меня уже вторично выживают из телевидения и кино. На телевидении я занялся предельно скромным делом — учебными передачами для четвертой программы, идущей в те часы, когда никто телевизор не смотрит. Но и здесь я кому-то отдал смордящие ноги. Моя активность стала опасна для околонучных побирушек, грызущих свой серый телевизионный сухарь. Сегодня режиссер Х. сказала мне прямо: «На вас ополчились, потому что ваши передачи слишком качественны». Они подчеркивают убожество того, что тачают безымянные кандидаты наук, делясь скудным гонораром с карликовым начальством учебных передач. Для меня эта деятельность — игра, радость, отвлечение, я просаживаю на съемках всё, что мне следует за работу, а для них — способ жить. И меня выталкивают и вытолкнут, как пить дать. Киношники тоже сомкнули ряды. Долгим неучастием в киноделах я усыпил их бдительность. Они и оглянуться не успели, как в работе оказались: «Бемби», навязанный студии Горького чудовищным упорством Наталии Бондарчук, совместный с венграми «Кальман», американский «Петр I» — этот «неслыханный» по нашим масштабам договор и переполнил чашу терпения. Теперь творится что-то безобразное: на «Голицына»\* не подписывают договор, ибо нельзя иметь на студии два договора, но ведь «Бемби» уже сдан и принят, стало быть, никакого договора нет. «Мосфильм» спускает на тормозах «Школьный альбом» — без всякой причины. Наверное, с этим можно бороться, но нет ни сил, ни желания. В свое время я навязал «Мосфильму» «Ивановых», и что из

\* Имеется в виду сценарий Ю. Нагибина о князе Ю. Н. Голицыне — известном капельмейстере и основателе русского народного хора, — по которому в 1988 г. режиссером Б. Бунеевым на Киностудии им. М. Горького будет снят фильм «Сильнее всех иных велений». — *Примеч. ред.*

558

этого вышло? — стыд и срам. Если студия не хочет, ты ничего не добьешься. Надо делиться: с режиссером, главным редактором объединения, иногда с директором студии или его замом, с кем-то в Главке кино, но делиться обязательно, иначе тырываешь цепь.

*30 мая 1985 г.*

Меня постиг ряд каких-то необязательных неудач. Французы отказались печатать почти готовую книгу о Чайковском. Похоже, это связано с общим, мягко говоря, охлаждением к нам. Мою прекрасную передачу об Анненском сняли, вдруг выяснив, что Анненский — декадент. Передачу о Лермонтове зажали намертво. Повесть о шутах

вернули из «Огонька». Разбили новую машину. С «Чайковским» (кино) глухо. Все-таки я запрограммирован на неудачу. У всех людей бывают просветы, у меня — никогда. Даже в мелочах мне не везет. На премьеру «Кальмана» пригласили с опозданием, я не смог приехать. На премьеру, которую устраивала Верушка, просто забыли пригласить. Повесть о Кальмане печатать отказались (венгры), — почему? — никто не может сказать. Ко всему еще нашему столяру отрезало ленточной пилой два пальца. Все мучительные работы по перестройке квартиры встали намертво.

На это накладывается общий кошмар ликвидации литературы и всей культуры под видом борьбы с пьянством. Как жить дальше, чем жить? Никогда еще не было у меня такого панического состояния.

Работать я стал ужасно медленно. И воображение скисло. Как легко, играючи, писал я раньше сценарии; как трудно — сейчас.

Любопытно: в России тронуть пьянство, значит, убить литературу. Советскую — во всяком случае. Во всей необъятной «Человеческой комедии» Бальзака пьют меньше, чем в одном рассказе Е. Носова.

*(Сегодняшний комментарий:* «Голицын» ставится, машину отремонтировали, передачу об Анненском разрешили и пустили по первой программе, передача о Лермонтове ставится так часто, что надоела мне самому. Повесть о шутах вышла в «Октябре», печатается в моем новом сборнике и в альманахе. Французы издают повести о Чайковском, квартира давно приведена в порядок, хотя пальцы у столяра не отросли. Пить помаленьку продолжают — и в жизни, и в литературе. Решительная победа над алкоголизмом одержана в кино. А вот успех «Кальмана»\* сорвали, настолько, что оператор

---

\* Картина получилась пустынная, но милая, даже талантливая. К сожалению, венгры не могли забыть, что они — нация Бартока и что автор фильма — советский гад.

фильма покончил самоубийством — выбросился из окна.)

*8 июня 1985 г.*

Запись делаю перед приездом школьных друзей. Два дня провел с Андроном. Впечатление тяжелое, не от него даже, он человек в поверхностном общении необременительный, а от той атмосферы, которую он приносит с собой. Мир кажется насквозь гнилым, прагматичным, корыстным до задыхания, пустым и неценным. Неужели всё до конца прогнило? Неужели не осталось хоть немного бескорыстия, жалости, душевной щедрости? Ну а мы с Аллой — монстры?

Как всегда противоестественно быстро отшумел наш стариковский праздник. Как медленно влачится порой время и как умеет оно промелькивать — никакая молния не сравнится. Хоть бы раз затомиться на таком вечере, это было бы насыщением, но нет, с каждым разом всё мимолетней, всё нереальней. И приглядеться не успеешь, а уже сигналит за калиткой автобус — пора... И на что ушло время, ведь шесть часов — это много, это долго, и тут — будто вспышка при фотографировании. Все ли так ощущают или я один? У души свое время — не равное физическому, и мое время мчалось так, что я слышал свист в ушах. А теперь оно поползет привычностью плохой работы, мелких неприятностей, докучных обязательств, страха смерти.

Прощаясь, Андрон сказал у калитки: «Я очень тебя полюбил». И прозвучала искренняя нота. Он беспощадно современен, но что-то человеческое живо в нем. Он сам освободился от своей огромной семьи, бывших и действительных жен, детей, полудрузей, знакомых и способен жить так, но, видно, не может человек, чтобы к нему совсем не поступало тепло из окружающего. Он с удивлением обнаружил, что общение с ним для

меня важнее денег, успеха. Он привык, что все отношения людей строятся лишь на взаимной выгоде. И, наверное, впервые увидел, что может быть иначе. Что-то в нем дрогнуло. Но полагаю, он быстро возьмет себя в руки.

Звонил Курбатов. Рассказывал, что Гейченко в канун пушкинского праздника положили в местную больницу, откуда увезли в Ленинград ставить стимулятор на сердце. Праздник впервые прошел без него — тускло и бестолково.

560

«Но он оставил по себе странный звук,— сказал Курбатов.— Какой-то маленький ансамбль не то гудошников, не то гусяров, которые из тайного укрытия время от времени издавали томительные взвой».

Откуда у Курбатова его прекрасный язык? Он же детдомовский. Его ухо не воспитывалось на прекрасной народной речи. Откуда вообще мы, городские, живущие общим дурным речевым шумом, берем язык? И почему одни выуживают из смутного многоголосья дивную красоту, а другие — звуковой мусор?

Продолжается грязное шутовство, именуемое «борьбой с алкоголизмом». Интересно наблюдать, как спускается в песок это важнейшее для страны дело. Оказывается, всему виной бокал шампанского. О пьянстве, страшном, черном, беспробудном, нигде ни слова (подразумевается, что его не было да и быть не могло),— губителен глоток золотого, как небо, ай. Алкоголь тщательно вытраивают из литературы, кино, театра, изобразительного искусства (упаси Боже, чтобы в натюрморте оказалась бутылка!), пьют же ничуть не меньше. И одна погудка: не волнуйтесь, вот пройдет съезд, и всё вернется на круги своя. Реальные хозяева страны — аппарат, среднее звено, контингент — научились ловко отбивать любые наскоки верховных правителей, склонных к реформаторской деятельности. Это они — истинные хранители советского хроноса, а не стоящие на мавзолее. Народ должен быть одурманен, чтобы и дальше терпеть ярмо, в то время как хозяева обжираются даровой икрой, искалывают грудь орденами и лауреатскими медалями. Не отдадут они награбленного ни за какие коврижки. Бухарская история тому порукой: с боем брали разбойника — секретаря обкома.

*18 июня 1985 г.*

Всё сильнее во мне чувство, что жизнь когда-то была. И не только в Коктебеле, где я развился, как молодой мустанг. Она была с Леной, была в Ленинграде, вспыхивала в Марокко, Польше, Норвегии, США, на Плещеевом озере, в Москве. Лучше всего было с Леной, сильнее всего в Ленинграде. Последней жизнью сердца были мои поездки к Алле на Суворовскую. Была не только любовь, но и увлечение окружающими людьми, новая очарованность старыми зданиями и старыми картинами, было то самое «хорошо», что заставляло Хлебникова жечь на костре свои рукописи, чтобы не уходить с ночной похолодавшей реки.

561

Как помнятся вспышки счастья: в первом и втором Париже, в первой Вене, в кенийском заповеднике, на Каннском рамазане, в Японии, когда увидел вершину Фудзи, в австралийском эвкалиптовом лесу, у «Тайной вечери», в фестивальном Зальцбурге, а сильнее всего — когда выпустили Я. С. и когда я, завшивейший, переступил порог нашей жалкой квартирнки на улице Фурманова в декабре 1942 года.

Но это другое, а жизнь как длительность, как напряжение радости была особенно сильна во мне последние три года перед войной, потом в начале пятидесятых, потом в исходе их. В 60-х влюбленность и гусарский разгул сменились разворотом и черным пьянством. Счастье могло быть в моей жизни с Аллой, но всё изгадили мама и Я. С. А потом я был уже слишком усталым, изношенным и нездоровым.

Сейчас я не жду ни счастья, ни радости, самое большое — избавления от очередной изнурительной заботы. Люди испоганились и обмельчали до предела: трусливые, холодные, завистливые, алчные, источающие злобу, насквозь пустые. А ведь я так умел радоваться людям! Сейчас я их почти боюсь, чуть зазеваешься — и тебя либо обхамят, либо обманут, либо обременят непосильной просьбой.

Указ от 7/1? 1935 года об уголовной ответственности детей с двенадцатилетнего возраста. Любые сроки, **расстрел**.

Вот как любил жену русский человек Тулубьев. Он срезал с углов дома стружки, собирал грязь с тележных колес, заливал теплой банной водой и поил свою жену Ирину.

Поил он ее и вином, смешанным с порохом и росным ладаном, наговаривал на воск и серу и заставлял носить мешочек с наговоренной дрянью, прицепив его к шейному кресту.

Хорошее выражение: «измыть искалянные порты». Порты здесь — не штаны, а одежды.

Молотов: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это дело политических взглядов. Но идеологию нельзя уничтожить силой. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести войну на уничтожение гитлеризма».

В договоре был пункт — взаимное обязательство — «отказ от идеологической пропаганды друг против друга». Сталин заверил Риббентропа, что «советское правительство может гарантировать своим честным словом, что Советский Союз не предаст своего партнера».

Когда Гитлер утвердил план «Барбаросса», Сталин за-

562

претил активную подготовку к отражению неминуемой агрессии. Узнав об этом, Гитлер воскликнул: «Чертовский парень! Сталин незаменим».

Муссолини о Сталине: «Да он уже стал тайным фашистом. Как никто другой помогает нам, ослабляя антифашистские силы». Гитлер о Сталине: «Он жесток, как зверь, но подлость у него человеческая»; «Когда я завоюю Россию, то поставлю правителем Сталина, конечно, под немецким контролем, потому что никто лучше не умеет обращаться с русским народом».

Профессор церковного права Белашевский получил письмо от немецкого коллеги. Там в конце, как положено, стояло ни к селу, ни к городу: «Хайль Гитлер!» Наш профессор закончил ответное письмо не хуже: «Да здравствует товарищ Сталин!»

Рокоссовский: «Этот недоучившийся поп только мешал всем. Мы его обманывали: какое бы несуразное распоряжение он ни давал, мы поддакивали, а действовали по-своему».

Уничтожено было: в Гражданскую войну — 18 млн; коллективизация, раскулачивание, голод — 22 млн. Репрессии 1935—41 гг. — 19 млн; война — 32 млн. Репрессировано с 1941 по 1953 гг. — 9 млн.

Что у нас хорошо: то, что не может быть так плохо, чтобы не стало еще хуже.

А ведь ничего не изменилось со сталинских дней, кроме того, что властям неохота сейчас сажать. Ибо законом мы так же не защищены, как во времена Иосифа-строителя.

*6 сентября 1985 г.*

С каждым днем я всё сильнее убеждаюсь в абсолютной несерьезности нынешних великих преобразований. И дело не в том, что знаменитый эксперимент оказался очередной липой, а в настойчивом талдычении о «дальнейшей централизации». Это не глупость, а единственная возможность сохранить власть. На кой ляд нужны все эти

икроеды, если дело пойдет напрямую: производитель — потребитель? А только так можно сделать хозяйство товарным, сделать здоровую экономику и нагнать развитие страны.

Сохраняются и все внешние формы: королевские отъезды и приезды всё равно куда: в Тюмень или в страны Западной Европы. Ведь это деловые командировки, почему же им при-

563

дается столь торжественный характер, словно это въезд Александра Македонского в завоеванную страну или триумфальное возвращение Цезаря из покоренной Галлии? Кстати, никакие победы во всех этих вояжах не одерживаются, можно было бы обставлять их поскромнее. Как присосалась к России вся эта византийщина!

*7 сентября 1985 г.*

Были у Нины Соротокиной. Ели вареники с валуями и картошкой, соленые валуи и жирную свинину, запивая облепихой, ежевикой, брусникой. Все восторгались столом и удивлялись, где Нина достала свинину. Это был стол эпохи сплошной коллективизации. До чего же всё развалилось! За столом, если исключить нас с Аллой, сидели почти оборванцы. А ведь это всё ученые, люди со степенями. Ножи и вилки были не только разнокалиберными, но чаще без черенков. Бедную обстановку скрашивали цветы, какие-то растения в кадках. Но чувствовалось, что окружающим прием кажется из ряду вон.

Как все неблагополучно у Нины и вокруг нее. Тяжело начало жизни старшего сына, семикратного абитуриента, поступившего лишь на восьмой раз, правда, в хороший институт — архитектурный. Его бессмысленная женитьба на поблядушке-стюардессе, смерть ребенка, дурацкая гибель ее жениха, скверный развод, новый скоропалительный брак, уже разваливающийся — какая-то роковая заряженность на неудачу. Так же всё нелепо у самой Нины — ее непонятный, немотивированный, стыдный развод с Феликсом, возненавидевшим ее прямо-таки зоологической ненавистью — без малейшего повода с ее стороны, темное, тайное неблагополучие младшего сына, в порочности которого непоколебимо убежден весь поселок, и, наконец, лучший друг оказался педерастом и гебешником. За него Нина, разумеется, не отвечает, но во всем остальном есть и ее вина. Она запустила и дом, и мужа, и детей. Ее парни росли на сквозняке микрорайона, а это куда хуже наших старых московских дворов. Вырастить ребенка сейчас непосильное дело. Вот Т-ина дочь клеила картонные домики, населяла их крошечной мебелью, хлебными человечками, а в пятнадцать лет привела в дом тридцатилетнего пердилу. Без перехода: от кукол — в еблю.

Опять пошли разговоры о денежной реформе. По логике, по соображениям экономическим, политическим, международным этого не должно быть, нельзя же признаться в такой

564

острый момент в полном банкротстве системы, кроме того, при невозможности обеспечить население продуктами и товарами широкого потребления девальвация ничего не даст, кроме обнищания тех, кто вкалывает на этот режим (спекулянты быстро оправятся), но разве есть разум и расчет у правящей нечисти? Чего стоит повышение роли парторганизации в создании кинофильмов. Казалось бы, они должны были что-то понять, чему-то научиться за шестьдесят восемь лет издевательства над страной, нет, ничего не поняли, ничему не научились. Уткнулись мордой в кормушку власти и знать ничего не хотят.

*6 октября 1985 г.*

Как замечательно умели быть счастливы Пастернак и даже наименее несчастнейший

Мандельштам. Любопытно, что эта способность стать мгновенно счастливым, почти не от чего, очень долго была свойственна мне. Это меня спасало. Ведь я тяжело жил — и дома, и в литературе, и в кино, и с самим собой. Сейчас я эту способность почти утратил. Если же вдруг загорится лучик, я начинаю думать, откуда он, глядь, лучик и погас.

Интересно, как умная, сильная, талантливая — не только в науке (об этом я не могу судить), а в славе — Ольга Фриденберг, гордо заносившаяся перед Пастернаком в молодости (и не только потому, что он был влюблен в нее, а она в него — нет), так сникла перед ним в старости. Не он подавил ее, сам того ничуть не желая, а его расправивший крылья гений. Его аргументы: переводы Шекспира и «Фауста», стихи и проза — оказались сильнее всего, что могла предъявить эта незаурядная, морально более качественная натура. Какая многозначительная победа: да, гений сильнее таланта.

Юра Васильев живет на невыкупленной даче под Коломной, множит мраморные гениталии, пьет по-черному (после инфаркта и инсульта), водит собственный «рафик» (ездить за водкой), неопратно страдает и дружит с женатым сыном. На что он живет, никто не знает. Он ничего не продает, не ставит спектаклей, не оформляет, не иллюстрирует, от него отступились даже старые меценаты Делюсины, он со всеми поссорился. Юность его обещала другое. Он был красивый человек, своеобразный, очень неглупый, независимый, много умеющий. Казалось, он скажет свое слово в искусстве. Его

565

беда — в переизбытке творческой силы. Он не знает, куда ее девать и разбазаривает на чудачества, ломание и самодурство.

Экзгумация стахановского движения ошеломила не одного меня своей глупостью, ничтожностью, бессилием государственной мысли. Самые простые, малоразвитые люди поражаются, зачем надо вспоминать об этой стыдобе, позорной липе, ведь ни для кого не секрет, как создавались уродливые достижения Стаханова, сестер Виноградовых, Бусыгина и др. Худшее от Сталина, худшее от Хрущева — таков народный приговор.

Еще один гиньоль: трезвость — норма нашей жизни. Тут уже пошел Щедрин. Вовсю пропагандируются: стадион вместо водки, марафонские забеги вместо застолий, свадьбы под ситро, а у водочных магазинов чудовищные очереди, ближе к концу дня — столпотворение, в парфюмерных магазинах исчезли зубные порошки, паста, тройной одеколон; говорят, что научились оттягивать спирт из гуталина. Продажа сахара возросла в сто раз — гонят все. Найдены и другие заменители алкоголя: делается надрез на темени и туда капают ацетон; надевают на голову полиэтиленовый мешок и чего-то впрыскивают или порошок насыпают. Много случаев отравления, усилилась наркомания. Даже женщины-хозяйки злятся, у них отняли последнее — гордость гостеприимства.

*2 ноября 1985 г.*

Вчера ездили во Внешторгбанк. Столкнулись на улице с Окуджавой: доброе улыбающееся лицо, хорошие прозрачные глаза. Мы поцеловались, обменялись несколькими ничего не значащими фразами, но ощущение чего-то очень хорошего не покидает меня до сих пор. Была связь между нами, и сохранилась память о том четвертьвековой давности времени. Я только сейчас начинаю понимать, как хороши были шестидесятые годы. Любовь к Алле вытеснила их из души, и моим внутренним лучшим временем стало время далеко не лучшее.

А еще я видел восьмидесятилетнего Прута, он сидел в приемной банка и читал без очков статью о себе в «Советском экране». Он едет в Швейцарию на традиционный сбор школьных друзей. Почему-то Прут кончал школу в Швейцарии. Начали они встречаться в 1960 году, тогда их было тридцать шесть, сейчас осталось шесть. Как мило и трогательно прильнули органы безопасности к этой дружбе.

День был серый, грустный, какой-то прощальный.

566

*4 ноября 1985 г.*

Опять ужасная слабость, не мог заставить себя пойти на прогулку. Всё время засыпаю, а просыпаюсь в таком изнеможении, что нет сил подняться. Что это — естественная разрядка после долгого мучительного напряжения, связанного с небывало трудным оформлением поездки, кинобардака, рижского телевояжа с последующим отравлением, всей моей пустой, но изматывающей деятельностью (бесконечные выступления, скандал с Бабич\*, непрохождение повести, мелкая и непростая работа, высушивающая мозг) или какого-то серьезного, окончательного нездоровья, или просто старости, которая щадит меня — относительно — снаружи и всё изъела внутри?

А что если мое плохое отношение к маме и Я. С. (последнего я почти ненавижу) я придумал из самосохранения? Я, действительно, почти выключил их из сознания, вовсе выключил из круга жалости и даже не вспомнил, что вчера исполнилось десять лет со дня маминой смерти. Как бы то ни было, а думаю я о них очень редко и без всякой теплоты, особенно о Я. С. Слишком много было в них дури, злобы, слепоты, себялюбия, жестокости и даже фальши.

В маме было много от дворянски-помещичьей духоты и самодурства (даже в доброте ее, обращенной чаще всего на приживалов, подхалимов, угодников), а в Я. С.— от бездельника-авантюриста.

Искусство замерло в ожидании декретов.

Для бездарных писателей у нас рай на земле, талантливых ждет царствие небесное. Как, оказывается, все чтили, любили, ценили несчастного спившегося Юрия Казакова, которого даже делегатом съезда не выбирали (не назначали), хотя там полно было ничтожеств. Ныне кажется, что Трифонов был вторым Шолоховым. А его почти всегда ругали, издавали скупое, и жил он за счет заграницы и некоторого пиетета к его революционным предкам. То же самое разыграют в свой час с бедным Окуджавой и, противно думать, со мной. Хотя я едва ли вызову такое умиление — имущества больно много оставлю, да и жил размашисто, сволочь такая. А Булат

---

\* Кинорежиссер.

567

превратился в окурочек. Это мимикрия, он стал хорошо издаваться, ездит за бугор то и дело, его признание всё растет, и чтобы его не кусали, он прикинулся совершенным дохляком-оборванцем. Вот то, чего я никогда не умел.

А куда делись люди?

## 1986

*Февраль 1986 г.*

Я не подвел итогов минувшего года, ибо подводить-то было нечего. Я ничего не

написал, кроме статьи о «Человеке без свойств», всё остальное не стоит выеденного яйца. У меня вышло всего два новых рассказа, из которых один был написан в 1979 году. Собственно говоря, это не рассказ, а глава из повести, дважды загробленной цензурой. Сейчас он вышел петитом, и никто не обратил на него внимания. Вышли два фильма: «Кальман» и «Бемби», второй — смесь удач с дурновкусием. «Кальман» не лишен некоторого обаяния. По этой причине он был хамски обруган «Правдой». Были две хорошие телепередачи: «Анненский» и «Бах»; я рад, что они есть, но ведь это игра, развлечение. Написал ловкий сценарий о Голицыне, но ведь картина, если ее поставят, всё равно будет ниже ожидаемого.

Но была Италия — наспех, бегом, и всё же... Год миновал, а Пиза, Портофино, Генуя, Турин и Болонья останутся.

Пока я собирался навестить осиротевшую Петину семью, Оля вышла замуж. Недолго она вдовела — меньше года. Видать, жених был наготове. Не в нем ли причина ее внезапной — после стольких лет жизни с Петей — плодовитости? Как-то всё иначе теперь выглядит. Она лихо судится с Ленкой, которая тоже не явила величия в этой истории, с алчным Петиним сыном и вообще производит впечатление отменной бодрости. Вот почему она не звонила. Вовсе не от подавленности, бремя потери ее ничуть не гнетет, просто налаживаются, и весьма энергично, новая великолепная жизнь. Насколько реальное бытие мощнее наших тщедушных выдумок.

А мои отношения с Ан. неумолимо поворачиваются к чему-то гадостному. Я как-то забыл о его генах, а ведь это самое главное. Все остальное — наносное, от воспитания, само-

569

контроля, одаренности, ума, натренированности, но сработает генотип. Страшный, беспощадный, семейный эгоизм, прагматизм, неистовое стремление к максимальной собственной выгоде. Но ведь я же знал на дне души, что так будет. Почему же я давал себя околпачивать? Потому что мне всё равно было интересно, потому что мне нравилось играть в эту игру, обволакивая ее моими обычными мальчишескими мечтами. Мне нужны иллюзии. Практически моя жизнь безнадежна, что бы я ни делал, мне не подняться ни на вершок. Меня давно приговорили, а такой приговор обжалованию не подлежит.

Валяются один за другим, как кегли, вчерашние «сильные мира сего», безропотно, беспомощно, обнажая всю свою жалкость, пустоту и ничтожность. И ничего от них не остается, даже тени. Хрущев был сброшен с трона, но он остался. Брежнев и прочие переставали существовать до физического конца. Нынешние живые трупы, все эти Гришины, Романовы, Кириленки исчезли так полно и окончательно, формально числясь среди живых, словно их никогда и не было. Впечатление такое, будто снятые с должности, они становятся невидимками. Даже близкие и домочадцы не видят их. Вдруг вспомнив какое-то имя, думаешь: а был ли мальчик? Может, никакого мальчика не было?

Но не надо думать, что от замены их другими мнимостями что-нибудь изменится. Если и изменится, то в худшую сторону. Никому ни до чего нет дела. Все обслуживают только самих себя. От народа все отвернулись, даже последние интеллигенты, теперь он в чистом виде объект эксплуатации. Впрочем, он иного и не заслуживает. Таких безропотных рабов не знал мир. Скучно, и нет забыться.

*29 марта 1986 г.*

На днях был у Дины Иосифовны Ковды. У нее умерла парализованная долгие годы мать, а дочь вышла замуж за врача. Дина говорила, что наконец-то у нее появился близкий человек — зять. Она где-то работает, получает сто двадцать пять рублей, но по

специальности (она кандидат философских наук) ей устроиться невозможно: еврейка, беспартийная. Она всё время пишет, но ничего не печатает, даже не пытается. Сейчас написала статью «Мир нравственной свободы как эстетический идеал», где есть обо мне. Древняя ее статья-интервью, целиком посвященная мне, вышла-таки в «Литературной Грузии» под двумя фамилиями. Соавтор ее

570

статьи не писал, даже не читал, но он грузин, доктор философии. Диссертацию ему писала Дина, на что и жила.

Она несколько раз обмолвилась: «Мой батюшка». Оказывается, она ходит к попу, ибо охвачена религиозными исканиями, а ее подруга Алфеева, которую я втащил в СП, работает в издательстве Патриархии. Из литературы ушла, успев получить от СП квартиру. Кстати, лишь из-за этого Алфеева\* рвалась в нашу чудесную творческую организацию. Хоть что-то вышло.

Дина говорит, что религиозное настроение очень сильно в обществе, им охвачены люди разного возраста и разного положения. К церкви эти люди равнодушны, ибо церковь слишком переплелась с органами госбезопасности. Ковда даже крестилась, но в анкете это не учитывается. В царской России у затравленного, отчаявшегося еврея был выход — сменить веру, и он в полном порядке. У советских евреев нет выхода, кроме отъезда. Почему-то ее богоискательство оставило меня холодным. Я начисто не верю, что через это освободишься. А для разговора с Богом не нужен посредник.

Ковда говорит, что ее священнику КГБ настойчиво предлагало сотрудничество. Он не пошел на это. Ему пригрозили ссылкой, он сказал: «На всё воля Божья». Его оставили в покое. Если это так, то он заслуживает большого уважения. Общее впечатление от встречи грустное, пасмурное, томительное, хотя сама Дина прекрасный человек. Источник тягостного чувства не в ней самой, а в обстоятельствах, в невозможности облегчить ее участь.

*3 апреля 1986 г.*

Впервые за долгие годы я находился дома в свой день рождения. Ничего хорошего он мне не принес. Я всё время помнил, что мне 66, а тут кончаются шутки. Последний поворот пройден. Задыхающийся, спотыкающийся, мокрый, ты приближаешься к финишной черте, зная, что призового места не возьмешь, но это не самое страшное. Тебе не хочется разрывать усталой грудью ленточки, ты готов ковылять дальше под свист и улюлюканье трибун, тебе наплевать, что ты плохой бегун, только бы чувствовать под ногой ускользящую землю.

Разговаривал по телефону с Гришей Ширшовым. Меня всегда поражают люди, которые помнят чужие дни рожде-

---

\* Алфеева вернулась в литературу прекрасной повестью.

571

ния. Впечатление такое, что ни о чем другом они не думают. Разговор получился яркий. Я спросил его о жене. Он ответил: «Жена?.. а ничего. Я ее вчера встретил. Она же кинорежиссер. Написала сценарий, поехала к подруге в военный городок возле „Загорских далей" и убежала оттуда. Там повышенная радиация. А она и так всё болеет. У ней чего-то нет в крови... Этого... иммунитета. А так, всё хорошо!» (*Перепечатывая: А не СПИД ли у нее?*)

Я спросил о Вале.

— Плохо... Болеет, только вышла из больницы — грипп тяжелейший, температура под сорок. Сейчас Наташка из Бразилии вернулась. Насовсем. У нее... этова... полная несовместимость с климатом, астма, потом с сердцем чего-то.

— А как Валин внук?

— Ванька-то?.. Шикарно! Учится в МГИМО. Астма у него жуткая и... этова... сердце пошаливает. Такой молодой?.. А нешто молодые не болеют? Молодые сейчас самые больные. А я, знаешь, работать пошел. Зачем? У нас в жэке парторганизация очень склочная. Интриги. Ну а новичкам вовсе жизни нет. Я пошел в гараж. Шикарный гараж на пятьсот двадцать машин, я там двадцать лет машину держу. Кем пошел? А дежурным. День со своей машиной повожусь, а три дня гуляю. И парторганизация маленькая и хорошая. Я уже характеристику на круиз получил.

— Какой круиз?

— По Дунаю. Шесть стран. Шикарная поездка. Сейчас начал справки собирать. Их много надо. От терапевта, невропатолога, психиатра, от нарколога, дерматолога, отдельно об алкоголизме. Ну, это просто. В вытрезвителе не был, приводов в милицию нет, от соседей жалоб тоже нет, на работе не пил, в лестничных клетках не пил — и тебе безо всякого справку дадут. Кардиограмму я уже сделал. Мне еще в кожно-венерический диспансер, на рентген. Ну а с глазами, ухо-горло-нос — это чепуха. К осени все справки соберу.

Я спросил про Олю, Петину вдову.

— Плохая баба! Она... этова... говорит, что ребенок не от Пети. А от ее теперешнего мужа. Наконец-то, говорит, вся семья в сборе. А то был какой-то бардак: отец чужой... этова... если б не Оля, Петя еще потянул бы.

— Как? — удивился я. — Мне казалось, он ее любит, и они счастливы.

— Да,— покладисто согласился Гриша.— Она и ее мать Петьку буквально облизывали.

Поняв, что толку тут не добьешься, я не стал углубляться в эту тему и спросил, где достают путевки на круиз.

572

— А я... этова... хожу в столовку повышенного типа... Шикарно!.. Направо глянешь — бывший замминистра, налево — начглавка. У нас поездки автобусные, экскурсии всякие и круизы.

Так вот куда выгоняют паразитов, погубивших сельское хозяйство, чернозем, целинные земли, скот. На сладкую жизнь: повышенное питание, экскурсии, круизы для тех, у кого хватит сил собрать справки. А может, так и надо? Соблазнившись этой тихой и расчудесной жизнью, они будут уходить в отставку сами, освобождая места для честных людей. Как будто такие есть.

Подавляющее большинство друзей моего детства и юности стали ночными сторожами, вахтерами и пожарными при театрах. Почти как у Аверченко в рассказах об эмигрантах.

Из эмигрантской газеты «Роза Центнер»: «Врач Глюкман лечит локальное ожирение бедер, ягодиц и прочего отсосом».

*18 августа 1986 г.*

Сколько всего произошло, а я ничего не записывал. Страшно. И с Чернобылем страшно. И с самим собой страшно. И дыхание близкой смерти страшно. И неодолимое безмолвие страшно. О чем вообще можно писать после Чернобыля? О Чернобыле. Но ведь это грешно, если не по-дантовски. А так не выйдет.

Вся страна в целом распадается на чернобыльский лад. Идет неуправляемый распад материи и расход духовной сути. Впрочем, одна женщина сказала, что подорожание колбасы на двести процентов пострашнее Чернобыля.

Наш главный герой\* хочет уподобиться Иисусу Навину, которому криком: «Остановись, солнце, и не двигись, луна!» — удалось ненадолго возобладать над

временем и выиграть битву. Но повторяются лишь библейские кошмары, а добрые чудеса неповторимы. Апокалипсис налицо, но никто не исцелил Лазаря.

Съездил в Каргополь. Видел хороших людей: начальника милиции, его жену, первого секретаря райкома, начальника

---

\* Горбачёв.

573

рыбхоза, мужиков приозерных. Хорошо думают, здраво судят, не боятся говорить, что думают. Есть еще люди — добрые, заинтересованные, честные. Север вообще лучше: здесь не было ни татарского нашествия, ни крепостного права, даже советская власть действовала в чуть остуженном виде. Да и холод предохраняет от гниения. Конечно, не надо преувеличивать, тухлеца проникла и сюда. Но по сравнению...

Река, озеро Лага, скромные берега волновали почему-то больше, чем церкви XVII и XVIII вв. Это странно, раньше я буквально заходил при виде даже неказистой деревянной церкви. Что-то вообще во мне сдвинулось. Неприязнь к беллетристике, тоска и скука от людей, охлаждение — резкое — к себе самому. Только природа трогает. Возрастное это, что ли?.. Усталость?.. Остужение творческой воли?..

*13 декабря 1986 г.*

Сколько печального случилось за последнее время. Кончила свою скудную жизнь под колесами грузовика Евгения Николаевна Янковская, мой постоянный редактор в «Советской России» и почти друг. Умерла Аня, жена Я. В. Эскинда, облученная во время нашего первого атомного взрыва. Она прожила ужасную, горестную жизнь: каждый год по несколько месяцев лежала в больнице, где ей меняли кровь и спинномозговую жидкость. Плоть ее как-то плавилась, истлевала под кожей. Я видел ее молодую фотографию: она была миловидной, а стала чудовищем со всосанными щеками, непомерным чревом, бесформенным туловищем, вытаращенными рачьими глазами. Но что-то помогало ей жить и не падать духом. Она была веселым, заинтересованным человеком, много и толково читала, любила выпить рюмочку и даже раз в неделю консультировала в какой-то адвокатской конторе.

Ей стало много хуже, когда случилась чернобыльская катастрофа. Вскоре она попала в больницу и уж не вышла из нее. Видать, крепко обдул всех нас чернобыльский ветерок.

В Италии о Чернобыле стараются не вспоминать, как о чем-то очень стыдном, неприличном, словно человек публично обоссрался. А всё дело в нашем идиотском молчании после взрыва, в привычке замалчивать все наши мерзости, преступные ошибки и пороки. Какими же кретинами надо быть, чтобы пытаться замолчать то, что через несколько часов становится вселенской бедой.

Сгорела от сигареты во сне Аня Галич, урожденная Прохорова, моя подруга по ВГИКу. Мне рассказал об этом Валерий в коридоре Студии им. Горького, когда мы шли смотреть какой-то милицейский фильм. Оттого что разговор был на-

574

спех, и у меня, видимо, мгновенно подскочило давление, я не понял толком, что с ней произошло. Вроде бы, она сперва задохнулась, а потом уж немного обгорела. А случилось это так: Анька получила сообщение о скоропостижной смерти жены Валерия, артистки Театра Советской Армии, или как там он называется. Анька очень любила эту красивую, рослую, спокойную, насквозь доброкачественную женщину. Я ее знал, и она мне очень нравилась. От потрясения Анька, как говорится, развязала. Напивалась она, оказывается, только пивом. Пьяная заснула с сигаретой в руке. Дальше всё шло по знакомому сценарию: затлело одеяло и т. д.\*

Анька как раз начала выходить на общественную арену, я видел ее подпись под

каким-то обращением. Странное совпадение. Я перестаю верить в случайность гибели Саши. А для чего это нужно? В широком смысле не для чего, а в узком, личном — еще одна звездочка на погоне. Серьезных трогать опасно, это черт те к чему может привести, а безобидных, незащищенных убирать — одно удовольствие и никакого риска.

Вот судьба! Мог ли кто подумать, что начавшееся так мило на гладильной доске в лихачевской ванне, окончится двумя смертельными ожогами в Париже? До чего же богата жизнь!

Недавно у меня был творческий вечер в Доме архитекторов. Я читал из своей статьи о Мандельштаме. О его исходе и антисталинских стихах. Уходя с эстрады, я буквально на минуту забыл рукопись на столике, за которым сидел, а когда спохватился, ее уже прибрал к рукам местный стукачишка. Скорее всего, сам директор Дома. Мне, кстати, подали записку: какой журнал собирается печатать эту статью? Из ложной щепетильности я не назвал «Смену», где статья идет, а уклончиво ответил: вот выйдет, тогда узнаете. Бдительные люди сразу решили, что статья — «подпольная». Хорошо это вяжется с призывами учиться жить при демократии. До чего же испорченный, безнадежно испорченный народ!..

\* Это версия В. Гинзбурга. По другой — смерть его жены тут ни при чем. Прибыла в Париж старая собутельница — М. Фигнер.

## О ГАЛИЧЕ - ЧТО ПОМНИТСЯ

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно — у Высоцкого! Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят.

Наши отношения с Сашей (я называю его так, как называл при жизни, величание по имени-отчеству было бы с моей стороны жеманством, ломаньем) прошли через несколько этапов: мгновенное влюбленное сдруживание с затянувшейся эйфорией от мощи первого толчка, долгая дружба, знавшая приливы и отливы, но прочная, верная, преданная — люди спаяны, но не настолько, чтобы поврозь не дышалось, не пелось, не пило; встречи происходили зачастую непреднамеренно (мы вращались в одном кругу, бывали в одних местах, так что вполне случайными их не назовешь), порой под болезнь, но в основном — под внезапное душевное движение одного, мгновенно находившее отклик в другом, затем пришло чуть настороженное отчуждение, за которым все же скрывался жар, наконец резкое охлаждение, не убившее окончательно того доброго, что было заложено в молодости, но разведшее нас по разным концам света, сперва фигурально, а там и буквально — я не получал от Саши приветов из того далека, куда занесла его судьба.

Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью еля и патоки. А Саша был настолько значителен и хорош, что нисколько не нуждается в приукрашивании. Он не труп, не надо подмазывать ему губы и румянить щеки, он присут-

576

ствует в нашей жизни, более близкий и нужный, чем притворяющиеся живыми мертвяки.

Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангелины, по-вгиковски — Ани, затем —

с легкой Сашиной руки для всех сколь-нибудь близких — Нюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это теплое деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами Ангелине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже — волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Нюшку) руки были средоточием прелести. Бывало, на скучных, томительных вгиковских лекциях я, чтобы не отчаяться, неотрывно смотрел на длинные, нервные, нежные пальцы с миндалевидными темно-вишневыми ногтями. Сразу оговорюсь, нас связывала та прекрасная дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной, когда и с той и с другой стороны нет и тени влюбленности.

Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской. Один режиссер замечательно сказал, что она похожа на рентгеновский снимок борзой. Больше бесплотности и представить себе нельзя. В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, ее называли Фанера Милосская. Для автора этих воспоминаний идеалом женщины была даже не Венера Милосская, а Русская Венера, запечатленная щедрой кистью Кустодиева. Чистота нашей дружбы охранялась этим вкусом. И как чудесно дружить с юным, красивым, соблазнительным для других существом, когда ты сам застрахован от соблазна тверже, чем целомудренный Иосиф Прекрасный от чар жены Потифара!

Аня в юности была открыта, доверчива, необыкновенно добра, предана в дружбе, влюбчива и долго оставалась такой. Отличал ее и немалый снобизм. Имена, репутации, известность человека значили для нее очень много. Ее женская суть охотно откликалась не просто привлекательному Мужчине, а мужчине ну хотя бы заметному. Что не мешало ей быть долго и безответно влюбленной в моего друга Осю Роскина, бедного московского школяра. Первый серьезный Анин роман был с человеком, который впоследствии сделал себе громкое литературное имя, а в ту пору ходил в подающих надежды режиссерах.

Летучие влюбленности в знаменитостей мирового и вгиковского масштаба завершились весьма прозаическим браком с ординарцем ее отца — бригадного комиссара. Ординарец был нижним чином, но имел за плечами не то мединститут,

577

не то фельдшерскую школу. Красивый тихий парень с пепельными волосами и пушистыми ресницами. Будущий муж никак не походил на героев Аниных действительных и воображаемых романов — скромнейший человек, которому ни при каких обстоятельствах не светило стать знаменитостью. Но ему светило стать отцом ее ребенка, и бригадный комиссар строжайших нравственных правил не спрашивал ни его, ни дочернего согласия на брак: полковой батюшка насильно обвенчал грешную пару в гарнизонной церкви. (Не знаю с чего, вдруг потянуло по-сашесоколовски смещать разные исторические пласты.) Они расписались, и Аня приняла смешную, совсем ей не идущую простонародную польскую фамилию мужа. Она была радостным, отходчивым человеком и легко приняла неожиданный поворот в своей судьбе. Тем более что муж по обстоятельствам военной службы довольно редко появлялся в доме. Возможно, эти обстоятельства создавал сам бригадный комиссар, жалея проштрафившуюся дочь в глубине своего чугунного сердца.

Трудно было представить более неподходящего Ане отца, или, это будет вернее, менее подходящей дочери, нежели Аня, для жестковыйного комиссара с кругозором, ограниченным «Кратким курсом ВКП(б)». При этом у него был облик полководца эпохи наполеоновских войн. Статью и ростом он напоминал графа Игнатьева, а лицом был красивей, и значительней, и, как ни странно, аристократичней, хотя не существовало дворянского рода Прохоровых. Если и пробивались Прохоровы в первые люди, то по купечеству или предпринимательству. Но вот такая игра природы: Анину утонченность, изысканность профиля с коротким надменным носом легко было вычитать в могучих

чертах отца. От матери, милой, домашней и вовсе не красивой, у Ани не было ничего, кроме доброты и гостеприимства, что не мало.

В положенное время Аня родила девочку. Роды пошли ей на пользу, она чуть пополнела, у нее расцвел рот и лицо обрело горячие южные краски, может, кожа стала восприимчивее к солнцу. Она кормила, у нее появился бюст, в этот период жизни никому не пришло бы в голову пошутить: Фанера Миловская. Она, видимо, чувствовала происшедшую в ней перемену и помогала ей: стала широко, во весь цветущий белозубый рот смеяться и напускать света в серые, с голубоватыми белками глаза.

Мы были соседями и вместе ездили в институт, встречаясь у остановки трамвая на углу Кропоткинской. Доезжали до Арбатской площади, где пересаживались в троллейбус № 2г и через всю Москву плыли к Сельхозвыставке. Помню, мы

578

ехали и разговаривали о популярном и на редкость идиотском романчике «Мими Блюэт», неизвестно почему заходившему в институте по рукам. Это была история потаскушки, написанная как бы от лица ее поклонника-друга, тривиальная, оставшаяся в моей памяти литературным курьезом, ибо автор странным образом не определил своего отношения к неопытным похождениям героини. Об этом можно было писать осуждающе, иронически, сочувственно, насмешливо, даже восторженно, а он писал как-то рассеянно, будто не понимая, о чем идет речь, и завершал очередную скабрёзную историю меланхолическим возгласом: «О, Мими Блюэт, нежный цветок моего сада!» «Какой сад?— недоумевала Аня.— Он так называет публичный дом?» — «Он имеет в виду де Сада»,— глубокомысленно изрекал я. Мы болтали, несли околесицу, и Аней все сильнее овладевала смешливость. Вскоре ее смех стал неадекватен поводу — с переплеском. Так разряжаются порой непролитые слезы. Отвалился — пусть на миг — камень, и возрадовалось бедное человеческое сердце. Пассажиры оборачивались, это не сулило добра. Хотя всеобщее озлобление не достигало в ту пору нынешнего накала, молодой смех в публичном месте воспринимался «винтиками» как личное оскорбление. Я ждал, что ее обхвоят, но люди смотрели на заливающуюся Аню снисходительно, даже добро, иные сами начинали улыбаться. Чему-то они отозвались — безоружности смеха или дарящей открытости горячего доверчивого лица?..

Когда мы расставались на обычном углу, я сказал:

— Ты была удивительно красивая в троллейбусе. Тебе надо чаще смеяться.

Она посмотрела на меня. Лицо ее будто оплавилось и померкло.

— Какая разница?.. Игра сыграна и проиграна.

— Ты бредишь?

— Нет. Проиграна бездарнейшим образом. Ладно. Пока.

Она повернулась и пошла, ссутулившись, словно немолодая усталая женщина, покорившаяся судьбе. И вот тогда вошли в меня невыносимая жалость к чужой жизни и жар лермонтовской молитвы...

В самом начале войны Анин муж пропал без вести. Отец ушел на фронт. Аня с матерью и дочерью эвакуировалась в Чистополь.

Встретились мы через полтора года, а казалось — через век. Аня вернулась в Москву одна, семья оставалась на Каме. Она почти не изменилась, только немного побледнела и чуть опустились уголки губ. Наша встреча получилась печальной,

579

Аня все время плакала. Она не знала ни о гибели Оськи, ни о гибели других наших друзей. Это ее так ударило, что она стала лить слезы при любом сообщении, даже не таящем смертельного исхода. Меня она оплакала со всех сторон. Я был на фронте — в слезы... Демобилизовался после контузии — в слезы... Работаю военкором «Труда» — в слезы... Развелся с женой — поток слез... Женился опять — тютчевский разлив.

— Ты стала слезлива, как Железный Дровосек,— сказал я.

То был персонаж из нашей любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». В его железной груди билось бесхитрое железное сердце, отзывающееся на любую боль, в отличие от искушенного человеческого, умеющего себя защитить. Поэтому он все время плакал и от слез ржавел.

Аня вспомнила, засмеялась и подсушилась.

У нее был медицинский спирт и копченая утка — посылка отца с фронта (охотился он там, что ли?). Мы сели ужинать. Я разбавил себе спирта.

— Как можно пить эту гадость?— Ее передернуло отвращением.

Я счел вопрос риторическим и промолчал. Жестокий ответ даст Ане через много лет сама жизнь.

Мы часто перезванивались с Аней, но виделись реже, чем нам хотелось бы. Я уже не был ее соседом, мотался по фронтам и тылам, а в свободное время обживался в новой семье, в непривычном для меня густом быте, притирался к людям незнакомой мне среды, пытаюсь как-то примирить эту новизну с тем, что мне было дорого в старом укладе. Словом, жил сложно...

В эту пору я познакомился с Сашей — где-то на улице, наспех. Нас познакомил мой вгиковский товарищ, выпускник режиссерского факультета. Оканчивающие во время войны киноинститут получали работу и бронь, кроме лиц еврейской национальности. Справедливо посчитали: пусть молодые киноевреи повоюют за Россию, пока русские выпускники будут строить советский кинематограф в одной отдельно взятой стране. И этот одаренный режиссер, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов. Алеша был справным золотоволосым солдатом гвардейской стати и лихости, а наш друг, потрясенный несправедливостью, совсем опустил. Словно воин поры начальной неподготовленности, он носил обмотки, башмаки б/у, шинельку б/у,

580

матерчатый зеленый ремень и засаленную пилотку, которую надевал из цинизма не вдоль, а поперек. Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке, а на западе стал насмерть, в частях полевой почты, другой вгиковский воин, ныне известный писатель. Я уделяю всему этому так много места не только потому, что режиссер-прожекторист познакомил меня с Галичем, но он познакомил с Галичем и Аню, у которой частенько находился постоем, получая увольнительную из своей призрачной части. Познакомил, как поется в песне, «на свое несчастье, на свою беду».

Еще во вгиковскую пору Аня относилась к нему с повышенным вниманием, поскольку он по праву считался одним из самых элегантных молодых людей Москвы. Его пиджаки, пальто и шуба на бобрах сводили с ума московских пижонов. У него был богатый дед, не чаявший души в сироте внуке.

Когда он представил меня Саше, я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением метра. Саша хорошо играл плохого (троцкистствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей дерзкой правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр «Современник». В спектакле звучали человеческие ноты, в непременною, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверно, самая неблагодарная роль, но он с честью вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах. Мы обменялись

телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся темнее от тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым золотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: серое пальто-реглан, почти черная, с седым начесом фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз ловился на этом. Встречаю Сашу на улице в новом неземном костюме.

581

— Где шил? На луне?

Он смеется.

— Нет, правда, в Риге, у Бирнбаума?

— В литфондовском ателье. У Шафрана.

Шафран — кройщик из Белостока, откуда пришли все лучшие портные и джаз Эдди Рознера (они достались нам в результате рукопожатия Молотова с Риббентропом), шьет мне отличный костюм, но вполне земной, не с луны. Мне кажется, что он для Саши больше старается, ведь Саша далеко не Аполлон: сутулится и плечи могли быть пошире. Самолюбивый Шафран лезет из кожи вон, шьет мне новый костюм — опять с земли. Шьет Саше — с луны. Дело не в Шафране, а в том, что каждая вещь на Саше живет, а не «сидит», она становится словно второй кожей, участвуя в каждом движении, жесте, шаге, повороте. Он словно населял вещь своим изяществом и шармом.

Н. Коварский называл Сашу «еврейский Дориан Грей».

Я не умел завязывать знакомства, вечно боялся оказаться в тягость, и наша встреча наверняка бы закончилась ничем, не позвони мне Саша на следующий день с предложением «пошататься по городу». Я выдвинул контрпредложение: небольшая выпивка в домашних условиях. Жил я в ту пору на улице Горького, а Саша неподалеку — на Малой Бронной. Надо сказать, Саша никогда не ломался и был предельно точен. Он появился раньше, чем мы с женой успели накрыть на стол.

— Прямо так сразу? — спросил Саша, застенчиво покосившись на графинчик с водкой.

— А чего терять золотое время?

Мы приступили. Его манера пить мне не понравилась. Он был из незакусывающих. Это значит, он не гасил заедком ожога глотка, а предоставлял организму справляться самому и уж затем что-то вяло жевал. Он был гурманом, а не едоком. Знал толк в еде, умел о ней поговорить, а сам ел мало и неохотно. Он должен быстро пьянеть, подумал я. Так оно и оказалось.

Саша спросил мою жену, чем она занимается.

— Учусь петь.

— Не пой, красавица, при мне, — наклонив голову баранчиком, сказал Саша.

Шутка была сомнительная — он окосел на третьей рюмке. Вскоре он уже спал на диване, заботливо прикрытый пледом.

Через много лет, перенеся два тяжелейших инфаркта и многие болезни, Саша держал выпивку куда лучше, чем в молодости. Вскоре в нашем доме, в том дружеском круге,

582

куда ступил Саша, привыкли к его манере гулять. После первых трех рюмок он веселел, становился разговорчив, начинал рассказывать истории, которые мы уже знали наизусть, но могли слушать без конца, после четвертой его тянуло к роялю; он пел всегда одни и те же песни: «Вдали белеет чей-то парус», «Помню, в санях под медвежьего шкурою», «Как в одном небольшом-небольшом городишке», после пятой замолкал, только улыбался, наклоняя голову баранчиком и тараща свои прекрасные глаза, затем вдруг исчезал.

Кидались его искать, он спал в свободной комнате глубоким, тихим сном. Мы его не трогали. Он просыпался, когда гости уже расходились, застенчиво улыбающийся и совершенно трезвый. «Посошков» он не признавал.

Мне всегда не хватало Саши, даже в тех редких случаях, когда он держался дольше обычного. С его отходом ко сну застолье теряло остроту и очарование. Все становилось плоским, грубым, тусклым, одухотворенный мир сползал в пьянку. И, чувствуя это, кто-то из компании начинал подражать Саше, повторяя его номера: о неудачнике циркаче, который, начав падать с подкупольной высоты, под конец свалился в люк, о продавце патентованного средства «потоляз». Иные делали это очень искусно, почти один к одному, и все равно не получалось, пропадала какая-то изюминка.

В нашем первом скромном пировании, когда Саша проснулся, причем довольно скоро, мы начали с ним ту упоительную игру, которая останется с нами на годы. Называется эта игра: «А помнишь?» Нам почему-то попался под руку Лермонтов.

— А помнишь: «Я, Мать Божия, ныне с молитвою»?..

— А это помнишь: «Есть слово, значение темно иль ничтожно»?..

— А это: «По небу полуночи ангел летел»?..

— А это: «Наедине с тобою, брат»?..

— А это: «В полдневный зной, в долине Дагестана»?.. Хотя Саша и был актером, стихи он читал не по-актерски, а по-домашнему, пусть и в романтическом ключе, без заземленья. И он как-то приближался в эти минуты, потому что Саша почти всегда находился в некотором отдалении. Не то чтобы он держал расстояние — ничуть, но в нем шла постоянная, сильная обременительная работа души, которая не позволяла ему раствориться в окружающем, распахнуться другому человеку. Но стихи он любил... свирепю (любимое горьковское словечко, за которое Алексей Максимович хватался, не в силах найти точного обозначения своей увлеченности) и тут выплывал из темных глубин, становился доверчивым,

583

незащищенным и близким. Наслушавшись Сашиного чтения, моя жена сказала однажды, что не может смотреть на Сашу без слез. Она не была такой уж любительницей поэзии, но верно угадала за маской самоуверенного денди незащищенную, ранимую душу.

Мне кажется, Саша страдал от несоответствия своей истинной сути официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, а положение актеришки заштатной прифронтовой студии (бывшие арбузовцы обслуживали воинские части) ощущалось им болезненно. Так и в дальнейшем, когда его, творца необыкновенных пьес (недаром же так рано заговорили о «театре Галича»), третировали, как мальчишку, газетные недоумки, когда его упорно не принимали в Союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы, когда его, автора «Матросской Тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легковесной комедии «Вас вызывает Таймыр». Его драматургию упорно не пускали на сцену, лучшая пьеса «Матросская Тишина» дошла лишь до генеральной репетиции, другая — до премьерного спектакля, после чего была снята. Зеленую улицу дали лишь конформистской поделке «Пароход зовут «Орленок» — плоду душевной усталости.

Не обольщался он грандиозным успехом чепуховой и по словам, и по залихватскому мотиву песни «До свиданья, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе С. Михалкова появлялся полупьяный слесарь по кличке «Маманегорюй». Лишь когда по всей стране зазвучали в записях и на голосах его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действительность. За этими песнями был автор «Матросской Тишины», а не развеселых комедий или уютных пьес о «хорошем советском несчастье» вроде «Орленка».

А как давно тянуло Сашу к песне! Еще тогда, в дни войны, рояль и пианино производили на него магнетическое действие. Но что за песни он сочинял в те сумеречные годы! О «золотых листьях», легших на офицерские плечи,— ввели погоны, о страданиях

театрального рабочего Григория, полюбившего «инженю-драматик». Помню, он должен был срочно воспеть коня и, по собственному признанию, тачал о нем так неистово, что «ноги стали кривыми, как у кавалериста». Саша жил по тем же законам, что и мы все. Напиши он тогда самую легкую и безобидную из своих гражданских песен, с ним было бы покончено.

Собственно говоря, с ним и так было покончено в свой  
584

час, ибо для Саши изгнание означало смерть, хотя песни его прозвучали совсем в ином историческом климате, после оттепели, после XX съезда, вернувшего партию к ленинским нормам. О, эти никак не дающиеся нашему партийному руководству ленинские нормы! Можно подумать, что нравственный кодекс Ленина был сродни рахметовскому: спать на гвоздях и прочие самогубительные подвиги. А ведь речь идет всего-навсего о том, чтобы соблюдать элементарную порядочность. Сашу травили, преследовали, судили на секретариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших «честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чужую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким же успехом подобное обвинение можно бросить Высоцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно инкриминировать ему самозванство: он пел о войне как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. Благородному Арбузову, похоже, в голову не пришло, что, живя территориально на улице Черняховского в писательском доме, душой можно быть с теми, кто на лесоповале, что можно носить костюмы от Шафрана, а чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н. А. Некрасов тоже украл биографию у русского мужика-страстотерпца. Ему бы об Английском клубе петь, где он так удачно понтировал, а он о пахарях, бурлаках, странниках надрывался.

Любопытно, что достоверность Сашиних песен ввела в заблуждение зарубежных издателей, и они действительно приписали Галичу чужую биографию: «Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». Но Саша не отвечает за чужие промахи.

Впрочем, все это еще впереди. А сейчас я возвращаюсь из очередной поездки, набираю знакомый номер, и через полчаса мы до одури надсаживаемся:

- А помнишь: «Образ твой мучительный и зыбкий»?..
- А это: «Над желтизной правительственных зданий»?..
- А это: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез»?..
- А это: «Я пью за военные астры»?..
- А это: «Мой щегол, я голову закину»?..

Долгое время нашими героями были Лермонтов, Тютчев, Мандельштам, потом к ним прибавились Цветаева и Пастернак.

Вскоре Саша дал мне прочесть одну из своих ранних пьес — «Улица мальчиков». Я был праведным реалистом и совершенно не понимал даже малой условности в искусстве, но запретный плод сладок, и я сразу влюбился в Сашину

585

пьесу. Я никак не мог взять в толк, что за радость жить на улице, населенной одними мальчиками. С девчонками вроде бы интересней. Эзоповский язык пьесы от меня ускользал. А ведь символика ее была так проста: жить на улице мальчиков — это значило бежать из дурного мира взрослых с их ложью, соглашательством, лицемерием и ханжеством. Все это прекрасно поняли люди, управляющие театром, и отвергли пьесу. Исполненный дружеского рвения, я предложил Саше сделать из пьесы повесть. «Проза для меня — дверь за семью печатями», — сказал он. «Я буду писать вдоль твоего текста, от тебя потребуются лишь руководящие указания». Он улыбнулся, пожал плечами. «Если тебе не жалко времени...» Мне ничего не было жалко для этого сказочного человека. Ощущение, что Саша не из настоящей жизни, а из какого-то странного, нездешнего,

печально зачарованного карнавала Ватто, пробуждало во мне страх утраты: казалось, он может исчезнуть, испариться в иное пространство и время, где ему будет уютнее. Годы не сближают людей, это неправда, и если была дружеская близость, то она постепенно тощует в усталости и разочаровании, но что-то от моей первой молодой очарованности Сашей сохранилось во мне навсегда.

Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли, или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развелся, то ли разъехался с женой, как будто и ребенок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории вроде не поет и не играет, а ведет концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упоенно и обреченно писать, уже поняв, что реалистическая отмычка не сработает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взволнован.

586

Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребенок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворенной дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца...

— Моя дочка,— ответил Саша на невысказанный вопрос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких агу, тпруа, мням-мням и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Теперь я понимаю, что сподобился мимолетно лицезреть нынешнюю Алену Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовской памяти и литературного наследия.

Однажды во время войны мы отправились большой компанией на «Тишинку». В ту пору этот давно ушедший в тень рынок играл выдающуюся роль в торговой и общественной жизни Москвы. Здесь сосредоточивалась вся частная купля-продажа столицы. Барахолка подавила жалкий продуктовый базарчик и торговала всем, чем можно и нельзя: от старой обуви, заношенного шмотья, солдатских шинелей до барских шуб, золотых колец и антиквариата, от балалайки без струн и гармошки с порванными мехами до краснощековской семиструнной гитары и скрипки Страдивариуса, от старых трубастых граммофонов до арф, пистолетов «ТТ», орденов и поддельных документов, от фронтовых ушанок и ватников до архиерейских риз, брюссельских кружев и американских летных комбинезонов на меху; здесь можно было купить егерское белье, комплекты «Нивы» и «Синего журнала», балетные туфли, протез, бормашину, сто томов «Рокамболя», горжетку из крашенных крысиных шкурок, гипсовый бюст Сократа, набор дореволюционных порнографических карточек, романовский полушубок, салоп, елочные игрушки, левую сторону мужского костюма от «Журкевича», фарфоровый сервиз, качалку, пилу, колун, короче говоря — все. И все продать. И получить вместо денег «куколку» — ком старых газет, а бывало, и нож под ребро. Здесь играли в бессмертные рыночные игры: «три листика», «три камушка», «веревочку», буру и рулетку: кручу-верчу — деньгу плачу. Безногие инвалиды на колясках торговали рассыпным «Казбеком» и «Беломором», на них

не было штанов, они мочились, задрав рубашки, чуть в сторону от своего разложенного на газете товара. Тут бродили громкоголосые пятновыводчики — древние,

587

засаленные, неправдоподобно нахальные и бодрые старики. В тот раз я наблюдал смешную сцену. Рекламируя свой очищающий товар, старик в картузе с высоченной тульей — он сбежал с картины Шагала — призывал окружающих дать ему самое страшное пятно: чернильное, жирное, сальное — и он его тут же выведет. К нему суетливо протолкался другой шагаловский старик с брюками-дипломат в руке. Пятновыводчик взял брюки и придирчиво осмотрел.

— Это не жир, не сало, не бог пятен, сатана пятен — чернила.— Он сделал эффектную паузу.— Это сперма!

— Не грехи,— сказал владелец брюк.— Мне за восемьдесят.

— Значит, это не ваша сперма и вы перекупщик!— заклеил его пятновыводчик.

Толпа грохнула, а оскорбленный заказчик, ругаясь и брызгая слюной, ринулся прочь.

Я тоже пошел дальше, мимо калек-папиросников, мимо сволочных казино, где цыганистые парнюги обирали заезжих лопухов, мимо несчастных испитых женщин, торговавших своим последним замученным достоянием, к тихому углу рынка, где нашла пристанище «модная лавка». На подходе к ней мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубо-добротные робы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Предназначались они рабочим, но, как полагается, оказались в руках спекулянтов.

А потом — тишина: чистенькие старушки с букольками и осенней пожухлости дамы торговали кружевами, бисерными кошельками, перламутровыми театральными биноклями, страусовыми перьями, лайковыми перчатками. И эффектно над «бутоньерками осенних роз» высилась стройная фигура мужчины в элегантном пальто с поднятым воротником и красиво заломленной фетровой шляпе. Он стоял между траурной старухой, пытавшейся откупить хоть сколько-то стылой жизни за вытертую до мездры лисью горжетку, и сухощавой дамой со следами былой красоты и несколькими самодельными острогрудыми лифчиками на шее, изящно отставив ногу и округлив левую руку, через которую была переброшена дамская фисташковая комбинация.

— Ха, ха,— сказал Саша, увидев меня.

Этим он как бы уплатил дань очевидной растерянности человека, не ожидавшего увидеть на Тишинском рынке Дориана Грея.

В этом сказалось его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни. С тем же муже-

588

ством играл он в безнадежно выдохшемся театре, тачал про коня до кривизны ног, лепил для «Ленфильма» «проходные» сценарии, сочинял для эстрады и цирка. Он не выбирал себе подобных занятий, но если нельзя выжить иначе, он делал что требовалось, не растрачивая ни грана своей личности. В число смертных грехов эти поступки не входили, значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее каре Божьей. И разве плохо стоять тихим, дремлющим мартовским деньком среди пожилых интеллигентных женщин, кружев, страусовых перьев, вееров, шелков далеких лет, в этом блоковском наборе, и думать о новой пьесе, веря, что ты умеешь делать чудеса?

Мне ли перед ним задаваться! Угрызаясь и самоедничая, я халтурил в десять раз больше и грубее Саши, а если бездельничал на торжище, так лишь потому, что в зимнем ряду моя жена изнывала под тяжестью двух шуб из номенклатурного распределителя.

Я рассказал Саше о «перекупщике».

— Это гениально,— сказал он,— готовый номер.

А что такое «готовый номер», мы узнали тем же вечером, когда собрались в нашем доме обмыть не покупки, а продажу. Первое места среди «торговых гостей» занимала моя

теща, распродавшая через подставных лиц почти весь свой гардероб, подлежащий решительному обновлению. Дальше с большим отставанием шли моя жена, молодой искусствовед, реализовавший полученное по ордеру демисезонное пальто, и старый философ, загнавший чернобурку жены и фотоаппарат «Зоркий». Саша сокрушался, что ему, жалкому лоточнику, не по чину гулять с первогильдейными. А потом изобразил сценку на Тишинском с «перекупщиком», украсив ее таким количеством сочных подробностей, что моя скучная информация стала искусством.

Меж тем попытка превратить «Улицу мальчиков» в шедевр социалистического реализма потерпела полное фиаско. Пока я пробирался проселками действительной жизни, дело как-то шло, но вот подступило то, ради чего писалась эта пьеса, и я безнадежно завяз. Я физически чувствовал, как оостеневали персонажи, до этого находившиеся в движении, в определенных отношениях друг с другом. Они онемели, лишились дара перемещения в пространстве, ослепли, оглохли, а там наступил и полный паралич. В хрупком мире условностей здравомыслию нечего делать. И я сдался.

Саша никогда не спрашивал, почему вдруг тема мальчиков, захотевших жить своим особым мирком, исчезла из на-

589

шего общения. Думается, он все знал заранее и был рад, что попытке с негодными средствами настал конец.

Как раз в это время человек в обмотках познакомил Сашу с Аней. Размундиренный боец-прожекторист где-то случайно столкнулся с Аней, и она вспомнила, каким ослепительным кавалером был он в незабвенные вгиковские дни. Но дело, конечно, не в снобистской памяти, а в доброте, которая была основным качеством Аниной души, она смертельно зажалела бывшего лорда Бреммеля. Теперь у него всегда был постой и ночлег в Москве. Получив увольнительную, человек в обмотках ехал из Салтыковки прямо к Ане на Кропоткинскую, сбрасывал военную ветошь, надевал чистую, наглаженную Аней сорочку, прекрасный костюм, начищенные до блеска ботинки (обувь у него была грязной даже в золотые дни), с неподражаемым искусством повязывал бабочку, выпивал спирту, закусывал копченой уткой и обретал если не счастье, то покой и волю. Один из своих дивных пиджаков он подарил Ане, которой удивительно шли мужские вещи: куртки, пиджаки, плащи, шляпы (она всегда помнила, что любимая героиня нашей юности, очаровательная и шалавая Брет из «Фиесты», носила мужскую шляпу). Они куда-то шли. Всю войну в Москве работали рестораны «Арагви» и «Националы», был открыт коктейль-холл на улице Горького. В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил его Ане. Сашу затащили домой, угостили разведенным спиртом под дежурное блюдо. Он распустил павлиний хвост. Воину пора было возвращаться в часть. Он переоделся, как всегда, неумело накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звездочка оказалась над левым ухом, повязался ремнем, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противогаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время перевалило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким человеком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже подавшаюся Душу.

Больше салтыковский воин копченой утки не едал. Для решительного объяснения Аня вышла к нему на улицу в «старомодном ветхом шушуне». Она прихватила с собой старый чемодан со всеми нарядами бывшего постояльца. Произошла тяжелая сцена. Аня без обиняков сказала ему, что любит

590

Сашу. Он с не меньшей прямоотой сказал, что любит ее. Аня, узнавшая наконец, что такое

любовь, поняла, как ему сейчас плохо, и расплакалась от жалости. И он тоже расплакался, чего с ним на трезвую голову никогда не бывало. Потом он признался мне, что в этом потоке слез посчитал дело свое выигранным и был потрясен, когда, отплакавшись и высморкав нос, Аня железным голосом сказала, чтобы он не смел приходить. Дав от ворот поворот этому кавалеру, наша влюбчивая, легкомысленная Аня навсегда вошла в тот образ верной, преданной жены, от которого никогда не отдалялась, что бы ни вытворял муж. Впрочем, женой Саши ей еще предстояло стать.

А человек в обмотках снова оказался в комендатуре в тот роковой день, его взял патруль за подозрительно красное лицо, мокрые глаза и отсутствие противогаса.

Весной сорок пятого года решено было отпраздновать мой день рождения: как-никак четверть века жизни и пять лет околотературной деятельности. Война стремительно шла к победе, настроение было повышенное, и мы назвали полный дом народа.

До этого я находился в долгой фронтовой командировке и ничего не знал о происшедших событиях. Меня поторопились проинформировать. Человек в обмотках был патетичен: у него разбито сердце, он никого так не любил, как Аню, и ни одна женщина не сможет заменить ее. Саша сказал просто: «Ты знаешь, мы теперь с Нюшкой». Так впервые прозвучало новое имя Ани, которое не легло мне на язык.

Аня сияла, сверкала, лучилась глазами, улыбкой, даже кожей, источавшей какой-то матовый свет, и не нужно было никаких признаний. Я сказал:

— «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить...»

— «И печальна так и хороша темная звериная душа»,— подхватила Аня,— У меня сейчас звериная душа. Я забыла все, чем жила, всех, с кем жила, словно и не было никакой жизни. А может, ее и правда не было?

Меня испугало ее счастье, такое откровенное, распахнутое, ничем не защищенное. Боги не любят, когда смертные становятся слишком беспечны, слишком доверяют судьбе.

Потом человек в обмотках увел Аню на кухню — для последнего объяснения. Тертый калач в какой-то необъяснимой слепоте ни за что не хотел признать очевидное. Он был эгоцентриком до мозга костей, ужасно жалел себя и не мог поверить, что Аня не разделяет этой жалости. Он надеялся на ее доброту, слабость перед чужой болью, согласен был и на

591

брезгливую подачку: ей невыносимо станет видеть его перемазанную горем рожу, и она махнет рукой на Сашу. Гордостью, мужским самолюбием тут не пахло. Любовь сделала мягкую, податливую Аню железной. Из кухни он вышел с красными полубезумными глазами и весь долгий праздник пытался испортить людям настроение своим неопытным страданием. Мне вспомнился платоновский инженер, который был так несчастен в любви, что пришлось его уничтожить, потому что люди не могли больше видеть таких мук. Здесь собрался народ повыносливей. Все же, когда он отбыл то ли в Салтыковку, то ли в комендатуру, по меньшей мере трое почувствовали облегчение: Аня, Саша и я как хозяин дома.

Памятуя о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил:

— Можно, мы останемся у вас?

— По-моему, вы уже это сделали.

Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.

— Ложе ригориста,— заметил Саша,— хорошо хоть, без гвоздей.

Утром за завтраком я спросил, как им спалось.

— Лучшая ночь в моей жизни,— улыбнулся Саша.

— И моей!— воскликнула Аня.

Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Саша.

— Почему?

— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.

Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанского.

Конечно, мне было интересно, зачем любящей паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали, как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе насторожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и зато-

592

пили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.

— У тебя это серьезно?— спросил я.— Я Аньку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется... Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.

Он мгновенно стер смех с лица.

— Не бойся. Это серьезно. Думаю, навсегда.

Так оно и случилось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, которому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не сусличьей жизни,— и семейные распри, и брань, что не виснет на вороту, и дым коромыслом,— но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в Боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилось то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.

Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская Тишина» и не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую Тишину» и в нашей компании.

Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего, проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничего не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская Тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое собрание, где его готовы были

593

слушать. Аня восхищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».

В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полупризнанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.

Появились, как положено, водка, закуски. Хотели выпить за пьесу, Саша сказал: «Нет, нет, за дела не пьют!» Выпили за него. Кто-то попросил: «Старик, изобрази «пришел на копчик». — «Да, это больше подходит...» — пробормотал Саша и начал знаменитый, в зубах навязший монолог о циркаче-неудачнике... Пьеса по-настоящему дошла до меня, когда я прочел ее в прекрасной книге Саши «Генеральная репетиция». А ведь он здорово умел писать прозу! Как жаль, что он пренебрег этим своим талантом. Может быть, отложил на старость, чтобы воплотить в воспоминания о бурно прожитой жизни? Но старости у него не было. Проводок сволочного суперновейшего проигрывателя пустил в его большое грузное тело несильный ток парижской сети — и остановилось истерзанное инфарктами, преследованиями и растущими дозами морфия сердце, немного не дотянувшее до того порога, за которым начинается старость. Горькая книга и мастерски построенная. Тут и в самом деле описана генеральная репетиция пьесы «Матросская Тишина» со всеми переживаниями автора, с надеждами, страхами — ведь спектакль смотрят две сановные дамы, от которых зависит: быть или не быть. Внутри этого описания поактно вложена пьеса — вся целиком. Происходящее на сцене и происходящее в зале взаимопроникают, образуя единый скрут боли. Напряжение достигает кульминации, когда в антракте чиновные дамы встают с непроницаемо-суровыми лицами и величественно выплывают из зала. Неужели они ушли, недосмотрев? Но ведь это смертный приговор спектаклю? Нет, дамы с тем же значительным видом возвращаются, они просто ходили в туалет. Но приговор — смертный — лишь отложен. Он будет вынесен в свой час.

Мечта философа Федорова оживить всех ушедших осуществляется сейчас в нашей литературе. Среди оживленных — Галич с его пьесой «Матросская Тишина», ставшей спектаклем. А чиновные театральные дамы помаленьку пере-

594

мещаются из кабинетов-застенок в кооперативные туалеты, где им и место.

В этой книге замечательный конец. Гаснет свет в опустевшем зале, Галич прижимает к себе грустную поседевшую голову своей уже немолодой жены. Вот то, чего не отнимут, как отнимают спектакли, фильмы, книги, успех, славу, заработки, возможность видеть мир, молиться, петь, общаться с близкими по духу, — единственное прибежище и спасение. Искреннее, чистое, усталое, глубокое чувство вложено в финал этой печальной книги. Саша не ошибся, не переоценил своих душевных возможностей, когда, поднявшись с гладильных досок, сказал мне сильное слово навсегда.

А вот бытовой пример Сашиной силы воли. В исходе войны, в середине апреля, мы гуляли у другого вгиковского воина, охранявшего западные подступы к Москве, — в Одинцове. Это был первый солнечный и голубой день пасмурной, хоть и не студеной весны, и мы решили осушить предобеденную чарку на давно уже вскрывшейся речке. Пришли, увидели блискующую веселую воду, и кто-то сказал, что не грех бы искупаться, смыть грехи перед большим истовым застольем. Все мужчины хвастливо поддержали предложение, но легко дали отговорить себя разволновавшимся женам. Пока мы ломались и кочевряжились, изображая мужскую снисходительность к слабостям боязливых женщин, Саша неторопливо разделся до трусов. Моя жена спросила Аню:

— Это серьезно? Он что — с ума сошел?

— Если Саша что решил, его не собьешь,— с вымученной улыбкой отозвалась Аня.

— Ах, робята вы, робята!— сказал Саша.— Такого удовольствия себя лишаете.

Он медленно вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул. Прощел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать саженками. Он переплыл на тот берег, посидел на купающихся в воде голых ветвях ивы, снова нырнул.

Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи!.. Довольно форсить!.. Что за ребячество!.. Ты простудишься!.. Ладно тебе геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам стало стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающе-ледяную воду.

— Он что — морж?— спросил кто-то Аню.

— Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не полезет.

Да, не полезет. Но здесь был брошен вызов, и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улы-

595

баясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.

Выйдя наконец из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крикнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.

Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему оченьгодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку, за ненадобностью его отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.

Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашину зову. Почему он выбрал это самое скучное и не поэтичное место на всем крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер навевывались комсомольские патрули и заставляли играющих в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.

— Вы не на пляже,— говорил двадцатилетний белообрый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.

— Но это же спорт!— бессильно возражали мы.

— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Потрудитесь соблюдать приличия.

— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.

— Не умничайте, если не хотите в милицию.

— За что?— спросил Саша.— За ум или за сарафан? Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе глаза налились ядовитой желтью ненависти.

— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.

— Вы ошибаетесь,— улыбнулся Саша.— Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да,

596

да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай-яй-яй, а еще комсомолец!..

С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.

Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.

Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так поначалу и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии — о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шуточки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличие, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот невероятный боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шуточки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там гигант борол гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинута раздувшаяся в железную свинью мышь.

Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать пере-

597

дохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья, несомненно, была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на Голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехы и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном-предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других...

Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.

— Ну как ты, старик?

— А что? Тачал с утра... Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки — и сюда.

Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное

прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет Божий, да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин.

Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напомнила, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благо-

598

словения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вертинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романсы. А пили мы пиво пополам с сидром, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вечера Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте:

Все бывшее развеялось прахом,  
А на сердце у ней курабье.

А какое курабье было на сердце самого певца, у которого одним нагло-воровским выпадом отняли успех, деньги, надежду на спокойную жизнь и работу?..

И вот еще на тему Сашиного мужества. Он очень часто бывал в нашем доме, порой с ночевкой, и, верно, ему захотелось отплатить за гостеприимство. Он решил отпраздновать свой день рождения и пригласил всю честную компанию, состоявшую сплошь из его почитателей. Так, во всяком случае, считалось. Через много, много лет, вернувшись из Парижа, я сказал одному из тогдашнего дружеского круга, что ходил на Сашину могилу. Этот человек был едва ли не самым горячим поклонником Саши, он пел под него и не без успеха подражал его устным рассказам, одевался «под Сашу», коверкал язык под Сашу: «Ах, робята вы, робята!» А сейчас: «Да?..» — бросил он рассеянно. «Тебя это не волнует?» — «Нет. Ты же знаешь, я никогда не разделял ваших восторгов». — «Я помню прямо противоположное». — «У тебя плохая память», — сказал он, спокойно и прямо глядя мне в глаза. Его недавно избрали секретарем партийной организации института, где он заведовал кафедрой. Все, я в том числе, считали его отличным малым. Он не стучал, не предавал, не делал гадостей, просто умел, когда надо, наступить на свое вчерашнее сердце.

Но в описываемую пору Галич, которого надо бояться, Галич, от которого надо отрекаться, еще не существовал, и все охотно приняли его приглашение. Саша был на редкость мил и любезен в качестве хозяина. Мы познакомились с его матерью — величественной дамой с прекрасно уложенной бронзово-рыжеватой головой (так мне, во всяком случае, запомнилось) и низким, глубоким голосом. Она работала концертным администратором в филармонии и, похоже, очень ценила свой пост. Отца дома не оказалось. Он вообще был фигурой несколько эфемерной. Когда о нем заговаривали,

599

Саша уплывал в таинственные горные выси и возвращался назад не раньше, чем тема давшего ему жизнь затухала. С появлением Ани невидимка чуть обрисовался. Оказывается, он был маленький, лысый, ушастый и чем-то заведовал. «Трудно поверить, — говорила Аня, — что это Сашин отец. Уж больно простоват. Он вообще не монтируется с остальной семьей». В какой-то момент он и сам понял это и ушел. Попытка зажить

другой, более простой жизнью не удалась. Он уже был отравлен сладким ядом культуры. Он вернулся.

День рождения Саши проходил томительно. И не сказать было, откуда взялась эта томительность, все вроде разворачивалось по обычному сценарию, только Саша обошелся без положенного выпадения в освежающий сон, что можно было только приветствовать. И Сашина мать была гостеприимна, и брат Валерий симпатичен, как всегда.

Если бы Саша не пел так много и охотно, мы долго бы не выдержали. По дороге к дому — нам всем было по пути — мы тщетно пытались понять, что нам мешало. Квартира мрачная, говорил один, тяжелая мебель, тусклый свет. А мне кажется, возражал другой, Сашина мать была не в восторге от нашего визита. Она, как все матери, считает, что Сашу спаивают друзья. Валерий был какой-то напряженный, высказывал свои соображения третий. И ушел рано, почти демонстративно. Мы сами виноваты, самокритично прикидывал четвертый, не нашли правильного тона. Как-то уж очень по-свойски стали себя вести...

Через некоторое время мы узнали, что в канун Сашиного дня рождения арестовали его отца. Саше не хотелось ни говорить нам об этом, ни придумывать фальшивую причину для отмены праздника. Он выбрал путь самый трудный для любого человека, кроме него: делать вид, будто ничего не случилось. Это ему вполне удалось, но ни мать, ни брат не обладали его выдержкой. И как ни старались, от них веяло неблагополучием...

Сашин отец не был «политическим», то есть не обвинялся ложно по 58-й статье. Он шел по какой-то хозяйственной статье, тоже ложной, судя по тому, что вскоре его выпустили.

И последнее — на тему Сашиного мужества. Не помню, в каком году Саша начал колотья. Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в книге

600

Гиннеса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков. Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдаваемые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять.

Однажды в Ленинграде он сделал себе укол и занес инфекцию. Страшнейшее заражение крови. В больнице врачи настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез отказался. Уже звучала на всю страну его гитара и лилась главная песнь. Из Москвы вызвали Аню. Она на коленях умоляла согласиться на операцию. В больницу пришли Сашины друзья, они плакали и просили Сашу остаться жить. Саша — черное лицо, выпадающие из орбит глаза — выборматывал с ужасной улыбкой:

— Вы видели безрукого гитариста?

Аня кричала, что покончит с собой, если он умрет.

Саша уверял, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволочь такая!» — рассказывала после Аня с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе — человеческое упрямство победило.

Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колотья. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всемогущая власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все краны: не давали

площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там — по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранничеству надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться — уколом в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отрыгнул в изгнаничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

601

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холоуи власти.

И вдруг мне вспомнился совсем иной пример Сашиного самообладания. Эту историю я слышал от трех ее участников: Саши, Ани и Дамы, их версии совпадали. Дело было в Дубултах, в доме отдыха, в каком году — не помню, но знаю, что уже минуло много нелегкой и разной жизни. Можно сказать так: на заре туманной старости, когда люди, знающие, что им до конца оставаться в одной упряжке, начинают многое прощать друг другу. Саша сообщил Ане, что хочет совершить большую прогулку по берегу, в сторону заката солнца, в компании с одной из отдыхающих. «Я давно не обращаю внимания на Сашины шашни,— рассказывала мне Аня,— но тут я обозлилась. Девка была как-то противно похожа на меня. Будь она совсем другой: «незнакомка», или рубенсовское тесто, или ренуаровский рыжик, или «куда ни тронь, везде огонь», я бы слова не сказала, он, правда, застоялся, но тут — какого черта? Доска два соска. Зачем тебе навынос, когда можно распивочно. Я могла бы увязаться за ними, но болят ноги и собралась компания для «разбойничка». Аня придумала другой хитроумный план. Едва романтическая пара двинулась вдоль белой нитки приборя, как с балкона послышался отчаянный крик:

— Саша!

— Что, Нюшка?

— Ты взял валидол?

Он похлопал себя по нагрудному карману.

— Взял!

— А нитроглицерин взял?

— Хватит валидола.

— Нет, нет! Без «нитры» я тебя не пушу.

Аня сбегала вниз и протянула Даме стеклянную капсулу с нитроглицерином.

— Если ему будет плохо, дайте две крупинки.

— Хорошо,— сказала Дама и положила лекарство в сумочку.

— Гемитон у тебя есть?

— Зачем еще?

— А если подскочит давление?

— Что за чепуха!

— Ничего не чепуха. Ждите!

Аня сбегала в номер и принесла набор лекарств: от давления, от аритмии, от желудочных колик, бруфен (если схватит поясницу), спазмалгин и пантокрин. Все это она передала

602

Даме с подробными наставлениями, при каких обстоятельствах и как эти лекарства давать.

«Мой расчет был не на Сашу, ты же знаешь его хладнокровие,— говорила Аня,— хотя тут дрогнул бы и каменный Голем, а на Даму. Кому захочется идти с таким ненадежным кавалером. Я недооценила ее. Она выслушала все спокойно, кое-что

уточнила, а потом сказала:

— Нюша, дайте еще клистир и ночной горшок, и поскорей, не то мы пропустим закат.

Перед такой выдержкой я спасовала.

— Ладно, идите на... закат. Если у него будет эпилептический припадок, смотрите, чтобы не проглотил язык.

— У меня не проглотит,— сказала Дама.

И они ушли на закат, а я утешилась «разбойничком». Мне здорово везло в тот вечер».

Не стоит только думать, что в семейной жизни все шишки валились на одну Аню, что она была страсотерпицей, а Саша — беспечный гуляка. Каждому выпала своя ноша, и трудно сказать, чья оказалась тяжелее. Анина нервность, почти неощутимая в юности и лишь изредка смещавшая ее легкие черты в зрелости, в ходе лет обострилась. А сгущавшиеся над Сашиной головой тучи усиливали ее беспокойство, которое надо было скрывать. Она жила в постоянной тревоге и страхе. Никакие успокоительные не действовали, и Аня стала искать забвения там, где его от века ищут и находят русские люди. Аня, которая без содрогания не могла смотреть на пьющего человека. Это бестелесное существо выбрало самый неподходящий к его эльфической структуре напиток: пиво — и загружалось им, как бравый солдат Швейк «У чаши». Опынение от пива медленное и тяжелое, все клетки тела налиты жидкостью. Все же разрушение психики опережало телесную деформацию, и только к моменту вынужденного отъезда изысканная Аня воплотилась в цельный, законченный образ грузной, неуклюжей скандальной бабы с кирпичной грубой кожей.

Саша воистину «ни единой долькой не отдалялся от лица», всегда был на высоте и дрогнул лишь в день своего вынужденного отъезда, когда Аня во дворе нашего общего дома устроила истерику, не хотела садиться в машину, кричала, плакала, он не сдержал себя и впервые, с мучительно перекошенным лицом, наорал на нее. Но я не уверен, был ли то настоящий срыв или необходимая лечебная мера, чтобы привести ее в сознание, пробиться сквозь защитную корку полубезумия-полувздора сорвавшейся с петель души. В «Цитадели» Кронина молодой врач в сходной ситуации отхлестывает по щекам

603

зашедшуюся в приступе истеричку, чем и приводит ее в чувство. Саша обошелся без силового метода. Аня позволила усадить себя в машину и даже улыбнулась провожавшим. Много народа, презрев пугливую осмотрительность, высыпало во двор. С нашего унылого, никогда не озаряемого солнцем двора и начался страдальческий путь этих людей, приведший их довольно скоро к «полной гибели всерьез».

Оставить родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой, смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к православию. Он ни от чего не отрекался, ибо ничего не имел, будучи чужд иудаизма, но ему необходим был этот смешной и несовременный в глазах дураков акт, исполненный глубокого душевного и символического смысла. Он не думал, да и не мог ничего выгадать этим у русского народа (известно: жид крещеный что вор прощенный), за беззаветную службу которому поплатился потерей своей русской родины.

Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода.

Анино отчаяние было проще. Она боялась за себя. Она оставляла мать, дочь, не захотевшую ехать с ними, друзей, квартиру и налаженный быт, дающих некоторую гарантию прочности, и, больная, запойная, отправлялась в никуда с человеком хотя и

любимым и преданным, но ненадежным ни в смысле здоровья, ни в смысле страстей.

Может, стоит досказать здесь историю изгнанников. Аня не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши — мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных праздником барских окон маленьком нищем, другое — уничтожающее, Аня же застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной — Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню,— но все же и в минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной возлюбленной — мюнхенский муж гро-

604

могласно объявил, что едет в Париж иступить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное, тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная, как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим, знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно, его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки, обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, он считал, что все детерминировано, и перечисленное выше — проговоры подсознания. «Ты зачем ушиб локоть?» — спрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь. «Зачем ты поскользнулась?» — допытывался он у дочери, и выяснялось, что девочка тайком полакомилась вишневым вареньем. Если б можно было спросить Сашу: «Зачем ты коснулся обнаженного проводка проигрывателя?» — ответ был бы один: так легко развязывались все узлы. Сознание человека — островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О подводную массу айсберга разбился «Титаник». Все главное и роковое в нас творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышный приказ красивой длиннопалой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит меня в противном.

Когда я был в Париже в 1978 году, вскоре после Сашиной гибели, то поехал в Сен-Женевьев-де-Буа проведать его могилу. Я долго мыкался по этому не слишком большому, но какому-то путаному кладбищу, где среди скромных крестов неизвестных русских людей, умерших на чужбине, высятся пышные надгробья героев белого движения, неизменно выходя к странному, вроде бы мальтийскому кресту на могиле Бунина, к бедным плитам Мережковского и Гиппиус. Никто не мог показать мне еще свежего Сашиного захоронения. Наконец какой-то дед, подновлявший дерн на запущенной

605

могиле, согласился проводить меня за небольшую мзду. Он привел меня, взял деньги и повернул назад. Старое, облупившееся, оштукатуренное по камню надгробье сохранило полустершиеся буквы незнакомого женского имени. Я долго его помнил, а сейчас забыл.

— Дедушка! — окликнул я старика, он был русский. — Это не та могила. Здесь какая-то женщина лежит.

— Недолго ей тут лежать,— отозвался старик.— Скоро ее выселят, и Галич ваш один останется.

Оказывается, в связи с перенаселением кладбища покойников из забытых могил стали вывозить в другие места упокоения. Место на кладбище не покупается раз и навсегда, за могилу надо постоянно платить. Аня хотела похоронить Сашу только на Сен-Женевьев-де-Буа, она подкупила сторожа, и тот подселил Сашу в чужую смертную квартиру. Я отыскал маленькую дощечку: «Александр Аркадьевич Галич». Вот ирония судьбы: и посмертно Аня вынуждена оставлять Сашу с другой дамой.

Вся дорожка возле могилы была закидана лепестками анютиных глазок, они лежали словно мертвые бабочки, бархатистые фиолетовые, желтые, синие, коричневые. На могиле цвели свежие розы и торчали обезглавленные короткие стебельки анютиных глазок. Я догадался, что тут произошло: Аня пришла на могилу, обнаружила бедные цветы, посаженные соперницей, и все их пообрывала.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла весть о скоропостижной смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня «развязала». А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела, она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на гладильных досках в доме по улице Горького. А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал, вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как победитель.

Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, начисто отсутствующее

606

щее у меня и потому особенно мною ценимое. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением. Звонок.

— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?

— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.

— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Центральных.

— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных — когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.

— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?

— Нет.

— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?

Мы встретились у главного входа в бани. Саша разговаривал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими, неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих моих друзей и неизбывной болью,

когда уйдет до срока.

— Драгунский!— гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду.

— Как, неужели вы обо мне не слышали?— удивился он моей слишком спокойной реакции на столь шумное имя.— Я самый знаменитый московский бродяга.

— Ладно тебе,— улыбнулся Саша,— есть и познаменитей.

— Это кто же?— вскинулся тот.— Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.

— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго?— спросил я.

— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом,— немедленно отпарировал он,— Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.

607

— Но дней минувших анекдоты!..— с пафосом продекламировал Саша.

— От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей,— подхватил Драгунский.

— Чем он занимается?— спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты.

— Актер. Работал в «Сатире». Сейчас в цирке. Коверным. И вроде бы снимается у Ромма.

Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеси, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилён любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.

Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой.

В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика: костлявого могучего старика в набедренной повязке, с белотрупами руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоптал мою плоть, потом взбил, как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.

Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же при раздевалке. Я все время боялся, что простыня соскользнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парик-

608

махерша вдруг круто осадила и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.

— Братья?— спросила она радостно.

— Ага!— столь же радостно подтвердил Драгунский.

— Как не похожи!— сказала она с недовольной гримасой.

«Люблю маленькие загадки жизни,— говорил позже Саша.— Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманент? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения».

— Рассуждения в духе Панурга,— заметил Драгунский.— Такое же велееречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли в «Арагви».

— Если хочешь получить хороший карский,— назидательно сказал Саша,— надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим немым».

Это было характерно для Саши: он всегда знал, куда надо идти, если хочешь, чтоб было хорошо.

За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы побывали словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, банщики, буфетчик, хранитель бассейна, парикмахерши, сантехники. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабину, оба начали с серьезным видом «вспоминать» все новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылись бородастая женщина, банщик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи «военного коммунизма» Леньки Пантелеева — одно лицо!— жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутораметровая шука...

Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и «Саперави», имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:

609

— Спасибо, дайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.

— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.

— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.

— Схоронилась, говоришь?— ядовитым голосом сказал Драгунский.— Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом — Кащей Бессмертный?

— Может, поспорим?..

— Идет! На калач с икрой.

Конечно, он проспорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кащей Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно: не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.

Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись по прошествии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно захудалой, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих

старших товаров, иначе они бездейственны, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.

Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы — ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толка, он горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занята реакцией неузнанных. Почти никому не удастся выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов, сердятся, бывает — ругаются, чуть не плюют-

610

ся, хоть бы один рассмеялся и махнул на шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно посмотрел на Сашино отчужденное лицо.

— Простите,— сказал он,— я принял вас за своего протезиста.

Саша расхохотался, вскочил, они поцеловались.

Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеиному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтересованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже и намека на педанство и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.

У Никиты были все семейные достоинства — и легкий смех, и море обаяния, но иногда его привлекательное лицо корежила гримаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж: «дар напрасный, дар случайный»! — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал всю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любви. Так, он надолго испортил жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.

Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало в нашем кружке. Мы были слишком серьезны, не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-

611

русски безудержном, с угарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоящая потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделанье. Лентяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из безвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, да и надоело

однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маэты.

Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.

В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединил он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.

Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного угасания отношений. Я чужд картежного азарта, но тут вдруг почувствовал вкус к «пульке», нежданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саши, которую он сам называл фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на бильярде. У Саши был отлично поставленный удар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.

В преферанс Саше действительно не везло. Если он объявлял мизер на своем ходе, имея одну восьмерку, то остальная масть оказывалась на одной руке, и приходилось сразу брать неизбежную взятку. Если же Саша играл мизер на чужом ходе, то непременно оставался с «коллективом». Он постоянно налетал на четвертого валета и на те парадоксальные расклады, что потом являются в кошмарных снах. Играл Саша всегда с улыбкой, но однажды не выдержал, ударил себя ладонью по лбу, и какая-то подозрительная звень прозвучала в его голосе:

— Чего стоит все умение, знание игры, партнерство с лучшими игроками, бесчисленные ночи над пулькой перед этим

612

свинским, хамским невезением!.. И ведь во всем так...— добавил тихо.

Вот тогда я подумал, что невезение тут ни при чем. Мне тоже не шла карта,— похоже, я искупал невероятное, какое-то даже пугающее везение моей матери, ярой картежницы, и все же я чаще всего выигрывал. Саша был представителем почти выродившейся породы людей, которые придерживаются, сами того не желая, но это сильнее их, принципа *fair play*. Я знал лишь еще одного человека — художника Владимира Роскина, который мог бы поспорить с Сашей по обреченной преданности этому роду игрового поведения, да и не только игрового: *fair play* — это жизненная позиция.

В игре необходимы: ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять порывы благородства и жалости, выдержка и хоть толика жульничества, ну хотя бы не отводить глаза, если противник дает заглянуть в свои карты. Ничего этого не было у двух образцовых джентельменов: Роскина и Галича, и все их игровое мастерство не приводило к выигрышу. Это не значит, что Саша и Роскин вообще никогда не выигрывали, так не бывает, ибо чужое невезение, чужое неискусство оказывались порой сильнее их бессознательной боязни победить и причинить этим боль другому существу, но суть в том, что они обязаны были выигрывать, как правило, а они, как правило, проигрывали. Прикупая однажды на мизере туза и короля к валету, Саша сказал со вздохом, что надеется дожить до коммунизма.

— Зачем тебе это надо?— спросил я.

— При коммунизме будут играть с открытым прикупом,— сказал он фразу, ставшую потом крылатой.

Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не дает покоя нынешним

хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращенный к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одурачивающей демагогии, доношительства и предательства. Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую человеческую жизнь. И мы ее начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука — повседневность. Она заполняет время и дает ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лу-

613

жу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чем говорилось выше, пришло куда позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения. Любопытно, что люди, выдержавшие испытание огнем, согнулись, потянувшись к жирному куску. В ту пору жирного куска не было, а если и был, то требовал не просто нравственной сделки, а подлости всерьез, до конца, на что далеко не все способны.

В принципе, каждый из нас мог уничтожить другого да и всех сразу одним росчерком пера. Каждый был для другого инженером Гариным, вооруженным лучом смерти. Не важно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значительность и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы все же не подвергали опасности политических разговоров. Да и о чем было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало. Перед нами разворачивалось огромное поле полулегальной свободы, охватывающей и неположенную литературу, вроде Мандельштама или Павла Васильева, Селина, Джойса или Алданова, не запрещенную, но и не разрешенную живопись импрессионистов, «Мира искусства», русского футуризма, мы вспоминали театр Мейерхольда, Камерный поры расцвета, новации Каверина, Охлопкова, быковские «Гримасы», Вертинского пели до его возвращения, слушали Лещенко, поклонялись Шостаковичу и Прокофьеву независимо от их официальной котировки, обожали «цыганщину», пили широко и шумно, но к этому тогда относились снисходительно, рукою Саши писали «Матросскую Тишину», рукою Корсаковой рисовали жестко формалистические рисунки, талантом Рихтера ставили костюмированное представление «Марсельский кабачок», воодушевлением Драгунского создавали «Синюю птичку», гортанью Кочеткова выплакивали «Балладу о прокуренном вагоне», скажу и о себе, чтобы не выглядеть паразитом: повесть «Встань и иди», рассказы «Над пропастью во лжи», «Спринтер или стайер» в первом варианте были написаны нами тогда. И были романы, было много загульной гитары, и драки были, и бильярд до одурения, и шатание по улицам до рассвета, когда отменили комендантский час, а у многих к этому добавлялась помощь своим

614

узниками. Словом, было чем жить, даже до появления замечательных трофейных фильмов вроде «Моста Ватерлоо», «Касабланки» и «В старом Чикаго». Это была наша сладкая жизнь, но вам я не желаю такой.

И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно, еще в молчании-мычании сороковых и пятидесятых, когда шла работа наблюдения, работа страдания и сострадания, крутеж среди людей и внезапное затворничество. Мы думали, что Саша погружается в свою сокровенную драматургию,

летучие пьесы не требовали самоизоляции, но, возможно, тогда уже творилась в горле певца его главная песнь, что в должный час разольется по всей стране без помощи радио, телевидения, пластинок и профессиональной эстрады,

В мертвые годы, в халтуре, в домашнем гениальничанье, в шумном бражничанье, в глухой тишине, глубокой любви и легких романах, набирая в глазах все больше печали, но на людях всегда держа фасон, вызревал великий менестрель Галич. В той же дряни, веселье и боли, в тех же компромиссах и верности своему стержню, не бунтуя, но и не принимая причастия дьявола, обретали себя те его друзья, которым в меру отпущенных сил удалось что-то сделать в жизни.

Весна 1953 года была весной вдвойне. Прежде всего, это была полагающаяся по законам природы тревожная, слякотная, пасмурная, с редкими промывами и все равно благословенная русская весна, а черный март подарил вторую весну: отвалилась от сердца России душная глыба — вождь народов, забрав с собой напоследок несколько тысяч задуманных в похоронной давке граждан Москвы, убыл в преисподнюю.

Все порядочные люди испытывали подъем, хотелось много пить и мало работать. В один из ослепительных майских дней мне позвонил Саша, с которым я давно уже не виделся.

— Юрушка, ты чувствуешь, какой день? Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви.

— Есть кадры?

— Кадров нет, хотя они по-прежнему решают все. Кстати, ты задумывался над этой формулировкой? Не люди, не граждане, не делатели, а кадры. Вот дубина!

— Кого же мы будем любить?

— Город полон молодых цветущих женщин. Доверимся его весенней щедрости.

— Я не умею знакомиться на улице.

Короткая пауза, затем с уверенностью, в которую я не поверил:

615

— Зато я мастак.

Мы встретились на улице Горького. Саша был в новом фланелевом костюме, сшитом на Марсе, мягких замшевых туфлях из другой галактики и вороновой шерстяной рубашке с кометы Галлея. Я подумал, что, если его опыт уличных знакомств и не так значителен, самый вид сработает безотказно.

Но юные существа, выстукивающие каблучками тротуары улицы Горького, были настроены на волну, далекую от нашей. Правда, они останавливались, терпеливо выслушивали Сашу, иные даже вступали в переговоры, что-то уточняли, но затем решительно, хотя порой не без легкого сожаления, продолжали свой путь. Не знаю, о чем у них шла речь, от стыда я всякий раз отскакивал к витрине, газировщице, киоску, делая вид, что не имею никакого отношения к этому приставале.

Но одно я понял: обращаться с диковатым предложением провести вместе вечер можно без риска каких-либо осложнений к любой незнакомой женщине. Саша глядел лишь на возраст и внешность, ничуть не заботясь по поводу социального и нравственного статуса дамы. Странно, что солидные матроны вели себя точно так же, как вертлявые травестишки, сонные студентки, озабоченные служащие с портфелем, спешащие домой после утомительного трудового дня, и те неопределенного назначения смазливые существа, которые вошли в молодую литературу шестидесятых годов под кодовым названием «кадришки». Одна величественная особа даже записала Саше свой телефон — губной помадой на клочке бумаги, прежде чем сесть в поджидающий ее ЗИС с правительственными стыдливими занавесочками.

У меня мелькнула надежда, что мы завершим этот вечер вдвоем — по Вертинскому: «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». И вообще: «Как хорошо без женщин!»

Напрасная мечта — Саша зацепил каких-то мединеток.

— Юрушка! — прозвенел восторженный крик.— Иди сюда! С кем я тебя познакомлю!..

Я подошел и представился. В ответ:

— Нина.

— Оля.

Здороваясь, они подавали вялую ладонь и чуть приседали, будто делали книксен. Откуда взялся такой политес? Может быть, темным наитием Сталина этот старинный светский присед ввели в женских школах?

— А теперь познакомь меня,— попросил Саша.

616

Я назвал его. Он счел необходимым добавить, что является автором пьесы «Вас вызывает Таймыр». Это произвело впечатление. Щедрый Саша решил поднять и мое реноме, на чем я вовсе не настаивал, но девушки — им было лет по двадцать — ни «Трубки», ни «Зимнего дуба» не читали.

— «Трубку» вы могли по радио слышать,— сказал Саша.— Ее все время передают.

— А мы в парикмахерской не работаем,— довольно находчиво сказала Нина, видимо ведущая в паре.

Естественно, это определило Сашин выбор, а мне досталась «вторенькая», к чему я был готов, исходя из правил подобных знакомств.

Большой разницы между девушками не было: обе невысокие, ладненькие русоволосые, с круглыми личиками. И одеты сходно: шерстяная юбка, свитер, сумка через плечо. Они вместе работали, жили рядом, в Замоскворечье, а сейчас вышли прогуляться после работы, больно вечер хорош. Все эти мало что говорящие сведения сообщила Нина.

— Куда мы пойдем?— спросил Саша.— Самое время поужинать. Предлагаю четвертый этаж «Москвы». На террасе. В помещении душно. Мы будем сидеть под московским вечерующим небом и смотреть на закат.

Девушки чуть оробели от такого велеречия. Между ними произошел быстрый, суматошный обмен, похожий на вспышку воробьиного волнения над свежей навозной кучей: шорох, шелест, мельканье крыл, скачки, шебуршня. У них, конечно, это выглядело иначе: молчаливый и поразительно богатый содержанием разговор при крайней ограниченности средств выражения — взгляд, взмах ресниц, поджатие губ, передерг плеча, вскид головы, встрях волос, вытаращ глаз, кивок. Это читалось примерно так: «Он чокнутый?» — «Вроде нет, выпендривается». — «Может, пошлем их?» — «Чуваки вроде солидные». — «Не люблю, когда лапшу вешают». — «А нам-то что — скрутим динаму»...

— Мы не одеты,— сказала Нина.

— Для этого бар... бара? Вы прекрасно одеты.

— Небось мест нету.

— Для нас всегда найдутся.

Мы разбились на пары и похлопали к гостинице. Я мучительно придумывал, о чем бы заговорить. Страна находилась на переломе, весь мир настороженно следил, куда мы пойдем; весна чудно преобразила город, женщины скинули зимнее барахло и в простой легкой одежде дивно похорошели; на улице ежеминутно что-то происходило: подростки, гоняясь друг за дружкой, сбили с ног лоточницу, продавец воздушных ша-

617

ров упустил шарик и так расстроился, что чуть было не лишился всей связки, огромный негр купил брикет мороженого и неумело лизал его, капая на костюм, прошел Лемешев, стесняясь своей известности и красоты, пьяный мочился в урну, словом, материала для беседы было более чем достаточно, но я не знал, как им распорядиться. Я понимал, что говорить надо небрежно, беспечно, хотя и с тонким подтекстом, помогающим сближению, но какая-то тяжесть навалилась на плечи, словно Атлант дал подержать свою ношу. Впереди Саша разливался соловьем, и Нина, более смекалистая из подруг, похоже,

убрала колючки. Она смеялась, потом взяла Сашу под руку. Я начал складывать в уме идиотскую фразу, что нашим друзьям хорошо друг с другом, но не мог найти интонацию. Ирония тут неуместна и вредна, одобрение глупо, простая констатация факта — бессмысленна. Фраза должна звучать как объективное наблюдение, но с игривым подтекстом: мол, и нам бы так! Но попробуй быть игривым, когда на плечах земной шар!

— Вы в отпуске еще не были?— спросил я, удивленный собственной тупостью.

— Нет, не была.— Через минуту-другую она спросила: — А вы?

Как сказать ей, что у писателей нет отпусков, мы сами выбираем вредя для отдыха? Она просто не поймет. Придется объяснять статус человека свободной профессии, члена творческого союза. Это далеко заведет. И я сказал с непонятным подъемом:

— Нет, еще не был!

По счастью, мы вышли на угол Охотного ряда, надо было обеспечить переход опасного перекрестка. Я бывало и ловко — так мне казалось — взял ее за острый локоток и быстро повел через улицу, уговаривая себя, что мы выглядим живо, юно и бесконечно привлекательно. А потом я подумал, что настанет день, когда все это окажется в далеком прошлом и я буду вспоминать о маленьком приключении не только спокойно, но, может, даже с улыбкой. Скорее бы это время настало.

Мы вошли в ресторан, и дамы, как принято у наших соотечественниц, немедленно скрылись в туалете. Отсутствовали они так долго, что в душе шевельнулась спасительная надежда на «динаму». Но они все-таки вышли оттуда, в том же самом виде, в каком ушли. Что они там делали столько времени? И почему у западных женщин нет такого обычая? Надо полагать, что физиологически они устроены так же, значит, причина не в этом. Наверное, у наших всегда что-то не в по-

618

рядке с туалетом: какая-нибудь штрипка держится на честном слове, ослабла резинка на трусиках, пуговица на лифчике вот-вот оторвется, поехала петля на чулке и ее надо заклеить слюнями. Или они забыли вымыть утром шею, почистить зубы, проверить уши. Но отечественным дамам всегда нужна доводка, как «Жигулям», идущим на экспорт. Все это коренится в запущенности советского человека и убогости нашего быта. Чем, впрочем, не исключается и повальный цистит.

Мест, конечно, не было, но Саша немедленно получил столик, к тому же у самой балюстрады, откуда во все концы распахивалось сиреневое вечернее городское пространство.

Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракала с Вертинским за одним столиком в «Европейской». Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миноги, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант равнодушно принял заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с брезгливой миной вертел в руках меню.

— Чаю,— наконец гнусаво сказал тот.

— Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками?

— Просто чаю. Вы понимаете русский язык?

После этого он трижды возвращал стакан официанту: в первый раз было не крепко, в другой — чай отдавал мочалкой, в третий — подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вертинский ушел, забрав сдачу, официант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно:

— Настоящий барин!..

Но здесь в качестве настоящего барина фигурировал Саша. Мои жалкие попытки вмешаться в происходящее обрывались суровым взглядом официанта, желавшим иметь дело только с Сашей. Правда, его барственность отдавала сейчас купеческим размахом. Он, видно, решил ошеломить наших подруг. Какие блюда он заказывал! Какие придумывал к ним соусы! Как сокрушался, что нету устриц и трюфелей!

Старый официант с трясущейся головой наслаждался этими барскими причудами, напоминавшими ему былые сладостные времена «Ново-Московской» и «Стрельны». И даже раз обмолвился странным обращением: «Господа купцы». Перед первой рюмкой Саша сказал:

— Юрушка, какие мы с тобой счастливые. Лучшие девушки Москвы сидят за нашим столом, а вокруг такая весна! Давайте обойдемся без тостов. Пусть каждый выпьет за свое.

619

И это окажется общим, ведь все мы выпьем за любовь!

Лучшие девушки Москвы как-то подозрительно отнеслись к этому витийству, они переглянулись и молча выпили.

Сашу не остановила их сдержанность, он продолжал в том же возвышенном стиле, словно утратив ориентировку в окружающем. Сыпал Мандельштамом и Пастернаком, рассказывал истории из жизни знаменитостей, о которых наши подруги сроду не слышали, замечательно рассуждал о том, как по московской весне бродят тысячи одиноких и не догадываются, что самый нужный, единственно нужный человек только что прошел мимо, бросив беглый, неузнающий взгляд, опустил на ту же садовую скамейку, задел локтем в дверях магазина, счастье часто бывает рядом, только мы не знаем его в лицо. Естественно, все это требовалось для того, чтобы оттенить редкую удачливость Саши и Юрушки, ведь «лучшие девушки Москвы»...

Надо сказать, что наши приятельницы, несмотря на все Сашино красноречие, стихи, обильный стол и серьезные возлияния, оттаивали медленно. Даже Нина, восторженная было на улице, опять подморозилась. В какой-то момент они дружно встали, извинились и отправились в туалет. Отсутствовали они так долго, что я вторично окрылился надеждой на освобождение. Правда, сейчас не без некоторой досады. О чем сказал Саше.

— Господь с тобой! Они вернутся. Неужели ты не видишь, что они очарованы? Просто стесняются. Девственные, не испорченные цивилизацией души.

Саша оказался прав. Беглянки вернулись оживленные, улыбающиеся, какие-то одомашненные, видимо, туалетные переговоры окончились в нашу пользу.

— Небось думали, что мы динаму скрутили?— кокетливо сказала Нина и ущипнула Сашу за ухо.

— Никогда!— пылко вскричал Саша.— Я знал, что вы придете, что ты придешь! Позволь говорить тебе «ты». «Вы» лишено сердца!

Ты придешь и на голос печали,  
Потому что светла и нежна.  
Потому что тебя обещали  
Мне когда-то сирень и луна.

Выпьем, Юрушка, за наших прекрасных подруг! За нашу встречу!

— Бывают в жизни встречи, и то лишь иногда,— вдруг проговорила молчаливая Оля.

Саша был потрясен:

620

— Как вы хорошо сказали!

— У нас на Восьмое марта поэт выступал,— чуть ревниво вмешалась Нина.— Коноплев. Он в этом... Союзе писателей работает. Со сцены травил неинтересно, а на междусобойчике хорошие стихи читал.

— Ты знаешь поэта Коноплева?— спросил меня Саша.

— Вроде слышал.

— Он известный поэт. Я один стишок даже запомнила.

— Прочтите!— молитвенно сложил руки Саша.

Нина откашлялась, постучала себя ладонью по груди, изгоняя никотиново-водочную хрипотцу:

Чтоб не страдали наши киски  
В Международный женский день,  
Жуй мясо, шпик, шашлык, сосиски,  
Залей глаза, и к черту лень!..

Саша улыбался напряженно, слегка бодаясь, что было у него признаком душевного дискомфорта. Но быстро справился с собой и шепнул:

— А все-таки мы их приручили.

После чего стал врачевать нас от виршей Коноплева прекрасной русской поэзией. Он растрчивал себя так щедро, будто от этого зависела судьба. Большой актер не думает, для кого играет, ибо играет прежде всего для самого себя. Насквозь артистичный, Саша не применялся к аудитории, и он играл взахлеб, «при этом не выгадывая пользы».

Был одиннадцатый час, но еще дотлевала долгая майская заря, когда мы вышли из ресторана.

Я был с машиной и развозил компанию, хотя меня самого порядком развезло. Но это никогда не смущало тех, кого я развозил. Нигде в мире не видел я такого полного, спокойного, безоблачного доверия к нетрезвому водителю, как у нас. Даже когда меня почти вносили в машину и я не мог попасть ключом в щель зажигания, не было случая, чтобы кто-нибудь засомневался, стоит ли доверять свою единственную и неповторимую жизнь выпавшему из сознания шоферу. А стоило сказать: «Да что вы, братцы, мне и до дома не доехать!», как начиналось: «Зазнался!.. Бензина жалеешь!»...

Первой мы отвезли Нину, она жила ближе. Саша пошел ее провожать. Настроившись на долгое ожидание, я завел с Олей разговор на библейскую тему: «Накормите меня яблоками, напоите молоком, ибо я изнемогаю от любви». Но не успел развить тему, когда Саша вернулся. Какой-то странный, смущенный, улыбающийся, тихий. Молча сел в машину. Мы тронулись.

621

Старый деревянный поленовский дом Оли находился в глубине сельского замоскворецкого двора. Она сказала, что заезжать туда не стоит: народ разбудим.

— Я провожу вас,— крикнул я, когда она выпрыгнула из машины. И тихо спросил Сашу: — Что случилось?

Он боднул воздух лбом.

— Она поцеловала мне руку.

— Зачем?— тупо спросил я.

— Не знаю.

— А дальше что?

— Ничего. Что же могло быть дальше?

— Гнилой интеллигент!— крикнул я и кинулся со всех ног за Олей, решив взять с нее за себя и за того парня.

Нагнал я ее в подъезде. Тут хорошо пахло старым деревом, паутиной и теплой пылью. Оконные ниши, широкие подоконники, батареи — все располагало к любви, но Оля целеустремленно цокала каблучками по скрипучим ступеням, и я поспешил за ней.

Она отомкнула обитую клеенкой дверь и пропустила меня в сумрачную прихожую. Приложив палец к губам, открыла другую дверь и зажгла свет.

— Олька, ты, что ль?— послышался старушечий голос из-за ситцевой занавески.

— Я, бабушка, спи.

Посреди комнаты стояла детская кроватка, в ней находился раскаленный младенец, заткнутый соской.

— Жарко бедняжке!— Оля подошла и стала что-то делать с младенцем, который продолжал спать, кисло жмуря глазки.

— Девочка или мальчик?— обреченно спросил я.

— Пацанка.

— А отец где?

— Кто его знает? Нам никто не нужен. Мы сами по себе. Кто-то тяжело, по животному задышал. Мелькнула бредовая мысль, что за стеной обитает корова.

— Бабушка,— сказала Оля.— Астма у нее. Хорошая у меня дочка?

— Замечательная. Как звать?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда.

— Ну, я побежал,— сказал я деловито.

Саша курил, широко раскинувшись на заднем сиденье.

— Тебе привет от Наденьки.

— Кто это?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда. Дитя любви.

622

— У нее дочка? Сколько ей?

— Не знаю. Совсем новенькая. Еще есть бабушка. За занавеской. Я не был ей представлен.

Саша засмеялся.

— Не злись. Это же здорово! Вот увидишь: всякие варфоломеевские ночи, как говорит наша лифтерша, забудутся, а это — нет... «Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет».

— Чье это? Ранний Коноплев?

— Нет, поздний Георгий Иванов, тоже прекрасный поэт.

Вот так мы «пожуировали жизнью», по выражению лесковских купчиков, вернувшихся из Парижа...

Совсем иная история разыгралась в исходе жаркого, душного лета пятьдесят третьего года, когда люди наконец поверили, что хотя бы в физическом смысле Сталин действительно умер всерьез и надолго. И пусть в ушах еще стояли заклинания, что долг советских художников до скончания века воспевать вождя, соборно творить сагу о его житии, пусть газеты еще сопливились фальшивой скорбью, пусть тело его торжественно водрузили рядом с тем, чьим полным отрицанием он был, развенчание творилось ежедневно, ежечасно, ежеминутно: выражением лиц, громким смехом, прямым, не проваливающимся внутрь себя и не ускользающим взглядом, как бы враз polegавшим воздухом и тем, что люди начали строить планы на будущее и ждать, робко, неуверенно, потаенно ждать своих исчезнувших в Зазеркалье того социального разврата, который издевательски называли социализмом. А может, это и есть социализм?..

Эту историю мне хочется рассказать из сегодняшнего дня.

Я никак не мог отыскать нужную мне улицу возле метро «Молодежная». Уж больно противоречивы были объяснения, на что я впопыхах не обратил внимания: выходило, я должен одновременно ехать в двух прямо противоположных направлениях — к кунцевскому метро и от кунцевского метро.

Я мыкался по Ярцевской улице, которая оказалась вся перекопана, застревая то у светофоров, то в объездном потоке встречного движения, натываясь на заграждения и бездействующие катки, и еще раз убедился, что Москва — Богом проклятый город, а все москвичи — чокнутые. В двух шагах от большой магистрали никто и слыхом о ней не слышал. Вопрос мой почему-то казался оскорбительным местным жителям, и отвечали они соответственно. Обхамленный и оплеванный, я все же отыскал эту унылую новостроечную улицу и как-то высчитал дом, проехав его поначалу, поскольку на нем не было номера.

Когда я разворачивался, в машине что-то заело — я до

сих пор ни черта не понимаю в автомобилях, как и тогда, когда впервые сел за баранку,— и сигнал завыл сиреной. Можно было подумать, что заработало противоугонное устройство. Я никак не мог унять истошный вой. Захлопали окна, на мою голову обрушилась злая — и справедливая — ругань. В отчаянии я схватился за какой-то провод и стал его тянуть. Провод охотно полез из нутра машины, я наматывал его на руку. Несколько тревожило, что я вымотаю из машины все кишки, но вдруг провод оборвался, вой стих, а мотор продолжал работать. Я развернулся и подкатил к подъезду, увидел сидящих на завалинке старух и узнал ее раньше, чем она поднялась, опираясь на костыли.

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй.

Мы поцеловались, встретившись через жизнь.

— Ты не знаешь, что за сволочь там гудела?

— Знаю. Это я.

Она засмеялась, и я сразу увидел ее такой, какой она была тридцать пять лет назад. Это окружающие старухи отбрасывали на нее свой тускло-тленный ответ да костыли сбивали глаз с цели. А теперь я видел: загорелое лицо с крепкими высокими скулами, чудесные серые глаза, пепельные волосы, благородная стать,— порода не поддается возрасту: так же хороша была до последнего дня моя мать — столбовая дворянка, а в жилах Наташи текла царская кровь. Правда, ее отец Романов, белая ворона в державной семье, был лишен великокняжеского сана за мезальянс — женился на женщине незнатного происхождения. Таким образом, Наташа оказалась не великой, а простой княжной, но крестила ее греческая королева.

Этого было более чем достаточно, чтобы испортить жизнь. Дальше семилетки ее не пустили, Наташа пробавлялась то шитьем, то черчением, то спортом, то шоферила. И от всей этой жизни полезла на стену — в буквальном смысле слова, вошла в номер мотоциклиста Смирнова: гонки по вертикальной стене. Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось двоецарствие. Межиров и Вознесенский посвящали ей стихи, Юрий Казаков сделал героиней рассказа, закончить который помешала ему смерть.

Случалось, Наташа падала, ломала кости, попадала в больницу. Но, подлечившись, снова входила в свой смертельный номер. Ее партнеры плохо кончили: Смирнов спился, Айказу-

624

ни разбился насмерть, Левитан покончил самоубийством в приступе умственного помрачения — ежедневный риск расшатал психику крепкого, как из стали литого, жестокосердного супермена. Для Наташи ее спортивная страда обернулась костылями. Измолотые хрящи срослись намертво, каждое неосторожное движение оборачивается скрутом боли. Костыли не вздыбили ей плечи, не испортили фигуры; упираясь сильными руками в перекладины, она подвешивает свое по-прежнему безукоризненно стройное тело. Так же стройны ее длинные ноги, только не могут сами ступать.

Мы поднялись на лифте. Дверь квартиры была нараспашку.

— Доверчиво живешь!

— Да кто ко мне полезет? Что у меня взять?

Взять и правда нечего. Разве что тринадцатилетнюю маленькую дворняжку с седой мордочкой. Стол, шкаф, два-три стула, узкая лежанка, полка с книгами, несколько фотографий. Среди них карточка подростка с нежным, добрым, благородным, истинно великокняжеским лицом. Это Наташин кузен Алеша — наследник русского престола, расстрелянный вместе со всей семьей в екатеринбургском подвале. По российской

расхлябанности и расстрелять-то толком не сумели. Мальчика, плавающего в больной, несвертывающейся крови, добивали на полу. Нельзя отвести глаз от чистого доверчивого лица. Если б не события семнадцатого года, какой добрый, славный государь был бы у русского народа!

Наташа протянула мне листок бумаги со стихами, я еще издали узнал четкий Сашин почерк. По-моему, стихи эти не были опубликованы. Вот они:

#### НАТАШЕНЬКЕ

Буду ждать привета, слова, вести,  
Где бы жить теперь ни довелось.  
Если уж нельзя быть вместе, вместе  
Будем жить, покуда, вместе — врозь!  
Ну а там — кто знает. К счастью, на дом  
Нам за жизнь не присылают счет!  
Может, мы еще и будем рядом,  
Все, как кем-то сказано, течет!  
И ведь должен, должен быть порядок —  
Чувствам, судьбам, времени предел...  
Этот август... как он пролетел,  
Как он был, почти безбожно, краток.

*Август 1953 г.*

625

О том августе и пойдет речь.

В один из душных, раскаленных дней, в восьмом часу вечера, когда спадала тягостная, насыщенная электричеством неразряжающихся гроз жара и начиналось томление, неведомое в пору вселенского испуга — это томление было пробуждением задавленной личности, — раздался телефонный звонок.

— Юрушка, ты что делаешь? — послышался вкрадчивый голос Саши.

— Ничего. Я один. Все уехали на дачу.

— Хочешь видеть меня с двумя очаровательными дамами?

— Поклонницами поэта Коноплева?

— Нет, нет! Это настоящие дамы.

— Но мне нечем принять настоящих дам. В доме шаром покати. Кажется, есть кофе.

— Мы все привезем. Берем такси и едем. — Саша сразу положил трубку.

Мне вспомнилось наставление Драгунского: никогда не поддавайся, если товарищ напрашивается к тебе с двумя дамами, вторая обязательно окажется крокодилом. Я пожалел о своем опрометчивом согласии, но отменить его не было возможности. Вспомнился и другой наказ Драгунского: если ты уже влип, налей глаза до одурения, и в какой-то миг ты обнаружишь в крокодиле неяркую степную красоту.

Я едва успел прибрать в комнате, помыть рюмки и бокалы, когда восторженный лай эрделя Лешки возвестил о приходе гостей.

Я открыл дверь и пережил одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Как будто цветы внесли под звуки тарантеллы в убогую квартиренку. Она наполнилась благоуханьем, светом, звенью молодой великолепной жизни. И не скажешь, какая из двух красивей, настолько они разные. Одна — нордического типа: высокая, стройная, с развернутыми плечами, пепельноволосая, с матовыми серыми глазами, другая Дина Дурбин — один к одному. Только мы знали черно-белую Дину, а эта была чудно расцвечена — природой больше, чем косметикой. С гордостью принца-консорта Саша представил нордическую красавицу, назвав полным, хоть и утраченным титулом, затем ее подругу, артистку эстрады, работавшую в номере знаменитого эксцентрика. Меня ошеломили королевское происхождение и спортивная слава Княжны, но сразила меня не она, а Дина Дурбин, что весьма обрадовало Сашу. Оказывается, они с Княжной были знакомы еще до войны,

но как-то не угадали друг друга, а сейчас пришло отнюдь не запоздалое прозрение.

Они встретились случайно на концерте в Измайловском парке, где выступала Дина Дурбин, и решили вместе поужинать у одного нашего общего друга. Но там вырубился свет, и тайная вечеря в кромешной темноте не прельщала подруг. Этому я и был обязан неожиданным знакомством. Моя ценность для них заключалась в квартире с действующим освещением.

Вот такой странный ход придумала судьба, чтобы перевернуть мою жизнь: в скором времени Дина Дурбин стала моей женой.

Не было у меня ничего прекраснее той поры «парных» романов. Новая любовь чудесно сплелась со старой и новой дружбами. Мы старались не разлучаться. Ходили вместе на выставки, которых вдруг стало очень много, в кино, на концерты, часами простаивали в деревянном павильоне, который Княжна сотрясала чудовищным громом своего ревушего, плюющего голубым дымом мотоцикла, обедали и ужинали в ресторанах, где возникла какая-то домашняя, доброжелательная атмосфера. И стучали в висок пронзительно и волнующе, как свановская нота в сонате Вентейля: «Сталин сдох!.. Сталин сдох!..»

Гранд-отель. Огромный и высоченный зал. Я танцую с Диной Дурбин. Вдруг радостный женский голос:

— Здравствуйте, дорогой сосед!

Рядом топчется со своей миловидной русской женой корреспондент Юнайтед Пресс Генри Шапиро. Мы шестнадцать лет живем в одном подъезде, из которого взяли Осипа Мандельштама и Сергея Клычкова, я на первом, он на втором этаже, но никогда не здороваемся, делая вид, что не знаем друг друга. Когда у американца засоряется раковина, ванна или уборная, а случается это нередко, поскольку дом наш стар и гнил, нас заливают фекалиями, а мы сидим и не рыпаемся. Боже упаси вступить в контакт с иностранцем! Самый страшный момент в моей жизни настал, когда, ставя свой «шевроле» на стоянку возле дома, Шапиро сцепился буфером с моим «Москвичом». Такое склеивание грозило обернуться десятью годами без права переписки, конечно, не для корреспондента Юнайтед Пресс. Ведь сколько шпионских сведений мог я ему передать, пока мы растаскивали машины, и запросто продать секреты своего мастерства. Несколько месяцев мы не спали, ожидая рокового звонка в дверь. Мне были собраны теплые вещи. Обошлось. А теперь: «Здравствуйте! Как я рад вас видеть!» — «Почему вы никогда не зайдете?» — «Закру-

627

тился, знаете... Непременно зайду». Я зашел к ним через двадцать шесть лет в Миннеаполисе, где читал лекции в университете, а их старшая дочь профессорствовала на кафедре русского языка. А потом принимал бывшую соседку у себя на даче. И тоже обошлось. Но все происходило уже в либеральную эпоху застоя.

Однажды мы возвращались из ресторана гостиницы «Советская», и меня задержал гаишник. Не помню, какое нарушение я сделал, вроде бы никакого, он просто увидел мое лицо.

— Права!— сказал молодой белобрысый очень строгий лейтенант, и я понял, что лишился машины в дни, когда она мне нужнее всего.

— Ну, лейтенант!— нежнейше пропела Дина Дурбин и просунулась к нему всей необъятностью пушистых сияющих глаз.— Простите нас!

Лейтенант вздрогнул, покраснел, даже чуть отшатнулся, но сохранил верность долгу и присяге.

— Права!— повторил он.

— Брось, лейтенант!— послышался чуть хриловатый, словно севший, незнакомый голос Княжны.— Больно ты прыткий. Зачем Юрика обижаешь?

Лейтенант посмотрел на кружевное пенное голубое и палевое, грозно надвигающееся из сумрака машины, и что-то дрогнуло в нем.

— Они пьяные.

Кружевное пенное голубое и палевое придвинулось еще ближе, объяло светом невиданной красоты, той, что спасет мир, и вдруг озвучилось совсем не музыкой сфер:

—.....  
.....

Я вынужден прибегнуть к опыту дореволюционных издателей «Пантагрюэля», заменявших многоточием целые главы, «в силу крайней непристойности», как обязательно сообщалось в сноске. То, что выдала Княжна лейтенанту, можно услышать во время пиратского бунта, ссоры биндюжников или грузчиков в одесском порту, на бандитском толковище перед вынесением смертного приговора.

Мы с Диной Дурбин помирили со смеху. Саша улыбался несколько принужденно, он был шокирован, сбит с толку. Зато милиционер должным образом оценил контраст старинной кружевной прелести княжеского облика и неправдоподобного цинизма речевого потока.

— Как в театре!— сказал он, утирая слезы.— Спасибо вам!

628

Я сохранил шоферские права, за руль по требованию милиционера села Княжна, чья складная речь доказала совершенную ее трезвость. В благодарность лейтенант был приглашен в Парк культуры на мотоциклетные гонки.

Как-то в разговоре с Сашей, вспомнив об этой истории, я сказал, что не ждал от него такого ханжества.

— О чем ты?— не понял он.

— Ты смутился, как красная девица, когда Наташка хулиганила.

— Что за чепуха!— Он болезненно сморщился.— Я понял, какой у нее грубый и страшный жизненный опыт. Бедная Наташа, как же муржила и била ее жизнь, через какие бездны таскала! По тонкой, нежной коже каленым железом... Я не хотел думать об этом, а как теперь не думать?..

Я понял Сашу много времени спустя, когда Наташа рассказала мне свою жизнь. Да, нелегко уцелеть в нашей действительности княжне царской крови. Она прошла через ад. Преследования, издевательства, шантаж, упорные, неотвязные попытки «святого дела сыска» пристегнуть к своей упряжке, побег из Москвы, уход на дно, чтоб забыли, оставили в покое, рабская зависимость от подонков партнеров, обиравших до нитки за то, что держали в номере, подлость во всех видах и образах — только Романова и могла выстоять.

То был последний взлет нашей дружбы с Сашей, растянувшийся на годы, а потом началось медленное угасание, приведшее не к разрыву, а к отчуждению.

Я очень долго не ощущал, что наши дороги пошли в разные стороны. Прежде всего, мы достаточно часто виделись, и между нами продолжался дружеский обмен: мы сталкивались во дворе и не отпускали друг друга без хорошего разговора, я навещал Сашу, когда он болел, а это случалось нередко, он был очень внимателен ко мне во время моего инфаркта (я лежал дома); Саша как большой специалист обучал меня душевной гигиене сердечника. Особенно ликовали мы при случайных встречах, скажем, в Ленинграде, прямо душили друг дружку в объятиях, и начинались посиделки на всю ночь. Бывало и другое. Мы уже долго не виделись, и вдруг взволнованный звонок Саши:

— Срочно приходи!

Бегу. У Саши в руках известное, но непонятное стихотворение Мандельштама «На розвальнях, уложенных соломой...». Мы его любим и ненавидим, как укор нашей поэтической глухоте.

— Я держу Мандельштама за хвост,— с легким самодовольством заявляет Саша.— Первое и самое главное — эти

стихи посвящены Марине Цветаевой, как и предшествующие «В разноголосице девического хора». Еще одно любовное стихотворение Мандельштама. Выходит, у него их не так уж мало.

Надо ли говорить, что мы понятия не имели о письме Цветаевой к Бахраку, где она прямо называет посвященные ей стихотворения Осипа Эмильевича?

— Тут нет никакой Цветаевой,— уверенно говорю я.

— А кого везут на «розвальнях, уложенных соломой?» Ца-ре-ви-ча! Лжедмитрия, которому она хотела быть Лжемариною. Мандельштам вживается в Самозванца от сознания преступности своей любви — Марина была замужем.

— При чем тогда: «А в Угличе играют дети в бабки. И пахнет хлеб оставленный в печи»? Тут же явно об убиении малолетнего Дмитрия Иоанновича.

— Правильно, это координата времени. Исток ненавидимого Мандельштамом Смутного времени, губительного для России.

— А что значит «три встречи» и утверждение: «никогда он Рима не любил»?

— Три встречи — не знаю. Или что-то очень личное, или три религии в жизни Мандельштама. От иудаизма через католицизм к православию. От Рима он уже отрекался в стихах. И не признавал Москву третьим Римом. А Москву, православную, это очень важно, ему открывала «болярина Марина».

— Я все же не понимаю связи частей.

— А я понимаю, но не могу объяснить,— засмеялся Саша чуть принужденно. — Тут зашифрованы очень конкретные вещи: любовь к Марине, грех-преступность этой любви, обретение православия с его средоточием — Москвой и предчувствие катастрофы. Она в черных птичьих стаях и подожженной соломе. Это символ бунта.

— Я все же не ухватываю, почему в конце гибель?

— А ты считаешь, что тут могло кончиться свадьбой? Как в пушкинских сказках? Ведь ко всему еще это 1916 год, а Мандельштам был провидцем.

Мы мучились, изобретая пилу, оторванные от мировой культуры, от мирового ищущего и обретающего разума, давно уже прочитавшего это стихотворение, хотя и не в последнюю его глубь. Так было у всех нас, и не только с Мандельштамом. А потом удивляемся, почему отстала промышленность, одряхла техника, развалилась наука, отсутствуют изначальные навыки управления, нет мяса, мыла и обуви. Неужто все дело в Мандельштаме? И в нем тоже. В свободе раскованного разу-

630

ма, который не изолируется от мировой информации, мирового обмена, всего богатства культуры, питаюсь мякиной мертвых догм и перемолотой чужими челюстями, отрыгнутой чужим желудком жвачкой.

Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича завоевывали страну. Рать его поклонников была если не многочисленнее тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку моложе. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не могу ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы, Сашины песни мне не нравились.

А так хотелось, чтобы нравились, ведь я по-прежнему любил Сашу и боялся потерять его окончательно, впрочем, долгое время такая мысль мне и в голову не приходила.

Как-то мы оказались в Ленинграде вместе: Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. Невольно вспоминается строфа Георгия Иванова о милых приметах Царского Села: «То, что Анненский нежно любил, то, чего не терпел Гумилев».

Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером, очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился. Словом, готовилось нечто вроде трагического состязания знаменитых менестрелей Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Офтердингена в замке Вартбург. Там побежденный должен был принять смерть. И лишь заступничество великого барда Вальтера фон Фогельвейде склонило владетельную княгиню помиловать побежденного Офтердингена, заменив ему смертную казнь изгнанием. Не думаю, чтобы Сашина подруга оказалась столь же милосердной. Наконец дом для песни был отыскан.

Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием послушает Сашу. Гитару тем не менее он с собой прихватил.

Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными темными от копоти потолками, кафельными

631

печами и останками гарнитура красного дерева. Старинные гравюры с мачтами и парусами угрюмились на стенах. Но тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином. И все время что-то потягивала из стакана. Нам всем поднесли выпить и сразу расчехлили Сашину гитару с загнутым грифом.

Саша пел очень много, как всегда не ломаясь, на всю железку. Тут были песни из «золотого фонда»: о том, как «молчальники выходят в начальники, потому что молчание золото», о суперноменклатурном зяте, растоптавшем чужую жизнь, о том, что «любое движение вправо начинается с левой ноги», о могилах сталинских лагерей, перед которыми «премьеры» не преклоняют колен, о Егоре Петровиче, которого руководящие указания подымают со смертного ложа, о народном Демосфене Климе Петровиче, выступающем на митинге от лица советской матери. После каждой песни Сашина поклонница и хозяйка дома обводили слушающих восторженно-свирепым взглядом: мол, попробуй скажи, что тебе не нравится. Но это никому и в голову не приходило. Всем нравилось, все любили Сашу и восхищались им. Я тоже восхищался, не пытаюсь ничего оценивать, Сашиной смелостью, едким сарказмом и болью за униженных и оскорбленных.

Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать. И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам кружение...

Сознание не участвовало в том вздохе — стоне души, который вырвался из меня, едва замолк голос певца.

— Боже мой, как хорошо!..

— А вы не кричите! — перекосив лицо ненавистью, заорала хозяйка дома. — За стеной люди спят!..

— Нет элементарного такта, — свистящим шипом кобры поддержала Сашина поклонница. — В чужом доме!.. Какое хамство!..

Это было так дико по невоспитанности, злобе и несправедливости: и Булат, и особенно Саша рождали куда больше шума, никого не тревожившего за толстыми ленинградскими стенами, — что я растерялся, съезжился и не нашел ответа. Мне казалось, что Саша должен осадить их, но он промолчал. Видимо, окончательно понял по моему невольному проговору, что его муза мне чужда, и, как говорится, умыл руки. Больше он никогда не пел в моем присутствии.

Когда Владимира Войновича, недавно гостившего в Моск-

632

ве, спросили на телевидении тоном жесткого утверждения: вы, конечно, любите Галича? — он, отвечавший до этого тоже жестко и решительно до агрессивности, вдруг смутился и промямлил, что любил, «как и все мы тогда», Окуджаву... Но да... конечно, он хорошо относится и к Галичу...

Отвлекусь на вдруг мелькнувшую мысль: почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нельзя любить Козловского, если любишь Лемешева, Доминго, если любишь Паваротти, Тибальди, если любишь Каллас. Исключения бывают, но крайне редко. Может быть, пение действует на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство, как истинная любовь-страсть?

Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда восприимчивей и открытее другому пению. В том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием. Кажется, я могу объяснить, в чем тут дело.

Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одаренного журналиста-ученого (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясенности Галичем в те самые годы, о которых речь идет у меня. Человек шестидесятих годов, он говорит, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджава, при всем его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (черный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич все называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджава — Галич. Когда вышел фильм «Покаяние», его многие не приняли за иносказательность, «замаскированность» героя. Надо было делать фильм впрямую о Сталине, а не размывать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он дает вселенский, на все времена образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не размывается на конкретику частных судеб и характеров.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм впрямую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухорукий, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни — отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кровоядство — не Макбет и да-

633

же не Ричард III — у него не могло быть такого взлета, как у горбатого хромца, обольстившего венценосную вдову над могилой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплинского «Великого диктатора». Сталин — страшная, но пошлая фигура. Художественное чутье Абуладзе подсказало ему единственно верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и «украшенную» всеми пороками фигуру.

Для меня — и не только для меня — песни Окуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем предметные и прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И для людей, несших на себя клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича. А вот уже другому

поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.

Для меня песни Галича зазвучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту,— ничуть не бывало. За минувшие годы мы не только не залечили ни одной болячки, не разрешили ни одного мучительного вопроса, не приблизились к чему-то лучшему, если исключить право (весьма лимитированное) кричать о наших муках, физической и моральной нищете и униженности, но довели все до последнего предела. И Сашины сарказмы ничуть не пожухли, напротив, выострились. Теперь пришло время называть все своими словами, прямо в лоб. Покров тайны сорван с действительности, не надо играть ни в какие символические игры, нужны конкретные имена, точные обстоятельства преступлений. Сашины песни переживают второе рождение, став, как никогда, нужными расхотевшему терпеть народу.

Так вот соединился я с Сашиными песнями. А в далекие годы мне куда больше нравилась его поэма о Корчаке, стихи. Любил же я лишь песню о возвращении. Саша оказался про-

634

видцем, хотя едва ли мог предположить, что возвращение его на родную землю будет столь победительным.

Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путем, он был обречен песне, знал, что его ждет жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание — и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь тепел.

Я все время думаю о Саше, разговариваю с ним, вижу его прекрасные глаза, улыбку, слышу глубокий голос, так богатый интонациями доброты, и вдруг олений трубный возглас сотрясает мне душу: «Юрушка, какие мы счастливые, лучшие девушки мира!..»

Ах, Господи, где они, где мы, где прошлогодний снег?..

635

## ГОЛГОФА МАНДЕЛЬШТАМА

Однажды в программе «Взгляд» показали дом, приютивший Осипа Мандельштама в его воронежском изгнании. И с экрана прозвучал короткий диалог ведущего программу с одним из «хозяев города». Ведущий поинтересовался, нет ли у городских властей намерения присвоить улице имя опального поэта. Иронически и снисходительно посмеиваясь, спрашиваемый, типичный представитель дремучего племени номенклатуры — сытое, гладкое, самоуверенное лицо, взгляд насквозь — пожал плечами: с чего, мол? Ну как же! — жалко забился голос ведущего. Такая трагическая судьба, такой большой поэт!.. «Да ведь не Пушкин!» — сказал Хозяин города и сам засмеялся, довольный своей находчивостью. В подтексте звучало: думаете, мы провинциальные, серенькие, не знаем, что по чем? Нас на мякине не проведешь!..

Тут же на экране возник вездесущий Марк Захаров и со свойственной ему д'артаньяновской реакцией сделал ответный выпад: «Конечно, не Пушкин. Он другой гений!» Великолепный укол. Впрочем, его противник не только уцелел, но даже не почувствовал боли. В отличие от Сирано де Бержерака, для которого любая рана была бы смертельна, ибо он состоял из сплошного сердца, представитель воронежской элиты этим чувствительным и уязвимым органом вовсе не обладал.

А мне пришел в голову другой ответ, который мог бы хоть озадачить закованную в броню тупость. Кто-то из великих сказал, что Пушкин — наше всё. Пушкин не имя, а слово самое полное и звучное слово для обозначения русского гения. Поэтому можно сказать: пушкин Гоголь, пушкин Лермонтов, пушкин Достоевский, пушкин

Мандельштам. Да, да, дорогие воронежцы, на одной из невзрачных улиц вашего

636

города, в невзрачном доме жил, творил, готовился к исходу и преобразению пушкин русской поэзии двадцатого столетия по имени Мандельштам. Незавидного росточка, худощавый, старообразный человек, которому не было пятидесяти, а выглядел далеко за шестьдесят, с серой щетиной на провалившихся в челюстную пустоту щеках, со вскинутой по-гоголиному головой, тонущий в не по чину барственной, тронутой молью шубе с чужого плеча.

— Дедушка, ты генерал или поп? — спрашивали его воронежские ребяташки, недобро приглядываясь к странному чужаку.

— Немножко и то и другое,— отвечал тот, пересчитывая их бегло-взблескивающим взглядом.

Мандельштам вызывал чувство недоумения не только у воронежской детворы. Ни одна поэтическая и человеческая судьба не может поспорить в непонимании с участием Мандельштама. И вообще-то глуховатый к творчеству современников Блок (как трудно давалось ему приближение к родственному всем настрою Иннокентию Анненскому) на дух не принимал Мандельштама, издевательски сравнивая его с безвестным московским поэтом-дилетантом. Лишь когда Мандельштам вымахал чуть не во весь свой поэтический рост, Блок проявил к нему некоторую снисходительность. То ли Хлебников, то ли Маяковский пустили о нем злую шутку, высмеивающую античные пристрастия поэта и прицепившуюся к нему, как репей: мраморная муха. К середине двадцатых критики стали делать вид, что такого поэта, как Мандельштам, вовсе не существует, если же приходилось вспоминать о нем, волчья пасть вспенивалась бешеной слюной злобы. Даже бывший собрат по цеху поэтов талантливый Георгий Иванов признавал полностью лишь «Камень», в «Тристии» обнаруживал остывание дара, а все остальное — и высшее — резко отвергал. Б. Пастернак под уклон дней признался, что недооценивал в молодости почти всех лучших поэтов-современников. Мандельштаму это дорого обошлось. Когда его посадили в первый раз за антисталинские стихи, обиженный вождь позвонил Пастернаку, желая узнать, какое впечатление произвел этот арест на писательскую среду. В ту пору еще существовало общественное мнение, да и с границей считались. Сильное слово Пастернака могло бы спасти Осипа Эмильевича. Но Пастернак, взволнованный звонком Сталина, в которого был тогда по-женски влюблен, не мог сосредоточиться на предмете беседы. Он стал зачем-то уверять Сталина, что поэтически Мандельштам ему глубоко чужд. Это было правдой, но сейчас вовсе не нужной. «Вы

637

плохо защищаете друга»,— сказал Сталин. Все еще во власти звездного, а не земного, Пастернак уточнил, что его отношения с Мандельштамом нельзя назвать дружбой, в том высоком смысле... Сталин уже не слушал, он понял главное: большого шума арест Мандельштама не подымет. Лишь после того как звякнул рычажок трубки, Пастернак опаматовался: не туда его занесло. С тревожным дискомфортным чувством набрал он номер Сталина. «Нам надо поговорить!» — «О чем?» — холодно спросил вождь. Желая укрупнить предмет беседы, Борис Леонидович затрубил: о жизни и смерти, о вечности!.. Сталин бросил трубку.

Но что-то сработало. Резолюция о Мандельштаме была непривычно мягкой: изолировать, но сохранить.

В свете того, что совершил Мандельштам, снисходительность Сталина кажется сейчас невероятной и необъяснимой. Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, хотя бы Фанни Каплан? Почему же — нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабьего молчания, наклона и угодливости он громыхнул такими стихами:

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи на десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,—  
Там помянут кремлевского горца.  
Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны.  
Тараканьи смеются усища,  
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.  
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него,— то малина  
И широкая грудь осетина.

Сейчас, когда о Мандельштаме пишут в мире куда больше, чем о любом другом русском поэте, нельзя вроде бы говорить о каком-то его непризнании. Скажем иначе, мягче: затянувшаяся недооценка, недопонимание, нежелание отдать Богу Богово. Даже такой поклонник поэта, как американский исследователь К. Браун, проявляет порой странную глухоту. Обманутый летучей легкостью «Американки», «Тенниса», «Кинематографа», он считает эти стихи пустой

638

тратой поэтических сил, а не пронизательным и радостным откликом поэта на движение времени: двадцатый век оттесняет молодым мускулистым плечом своего предшественника — на смену дряхлым струнам лир он натягивает золотой ракеты струны.

Меня удивляет, каким сдержанным — до сухости — стал Иосиф Бродский в оценке Мандельштама. Он даже объявил своим учителем сверстника и друга Евгения Рейна, чтобы не числиться по ведомству Мандельштама. И многие приняли за чистую монету это усмешливое смирение. «Маленький Ося», называли его в ахматовском кругу в отличие от «Большого Оси», в милой этой шутке признавалась связь поэзии молодого Бродского с автором «Камня». Тогда Бродский охотно отзывался на любовное прозвище, но сейчас он сознает себя самого «Большим Осей». Великие не любят предтеч.

Я с вниманием и сочувствием следил за антологией советской поэзии, которую вел Евг. Евтушенко на страницах «Огонька», и на меня пахнуло неожиданным холодком от мандельштамовской публикации. Я знал, как любит Евтушенко сияющее, хотя и очевидное стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», и ждал иной подачи поэта.

Самое невероятное, что самый близкий Мандельштаму человек, близкий ребром, а не только умственным, духовным и душевным настроем, автор высокой, трагической книги о нем, его жена Надежда Яковлевна Мандельштам завершила свой реквием усталоснисходительной ужимкой всезнания: Ося не великий поэт. Что за помрачение зора, видевшего любимого человека в такую глубину? Не хочется думать, что это слепота чрезмерной приближенности — слишком бедно для такой личности, как Надежда Яковлевна. Или тут смирение перед неумолимостью судьбы, которая все равно обманет, так не лучше ли самой — в упреждение — умалить родного великого человека? Или — что-то корнящееся в комплексе жены — загадочный и до боли обидный срыв?..

Зато знала Мандельштаму цену и не колебалась отдать первенство всевидящая и неподкупная Анна Ахматова. Увидела сразу — в рост — и назвала «молодым Державиным» равновеликая Анне Ахматовой Марина Цветаева. Если впоследствии ясный взгляд болярыни Марины в его сторону чуть замутился, то виноваты его собственные

взбрыки. И вот что удивительно: Есенин, который в хмельном ожесточении чуть ли не с кулаками кидался на Мандельштама и поносил на чем свет стоит, однажды сказал с болью и чисто-

639

той совершенного поэтического бескорыстия: «Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет».

При жизни Мандельштама литературное непризнание — в юности у старших: Брюсова, Блока, в зрелые годы — у советской критики — сочеталось с неприятием его как личности. Опять же, люди значительные: Гумилев, Ахматова, Цветаева, Тынянов, Георгий Иванов, можно назвать еще много высоких имен, — не просто мирились с неудобным Мандельштамом, но искренне любили его. С. Маковский, ностальгически вспоминая в парижском самоизгнании прошлое, а в нем Мандельштама, писал о его детскости, которой нельзя было не восхищаться. Можно. Эта его детскость, незащищенность, любовь к сладкому, беспричинный смех (он смеялся от «иррационального комизма, переполняющего мир») и рядом — резкая самостоятельность мнений, независимость, умственная и душевная, неподчиненность авторитетам, догмам, принятому мнению, правилам литературного поведения — раздражали людей. Мандельштама старались высмеять даже за поступки, которые, будь они совершены другими, считались бы по справедливости героическими. Так, он разорвал список приговоренных к расстрелу, который собрался подмахнуть не глядя, оголтелый чекист Блюмкин — убийца немецкого посла Мирбаха и завсегдатай литературных салонов. Об этом рассказывали с упором не на отчаянную смелость жеста, а на то, что Мандельштам с криком выбежал из комнаты, когда Блюмкин выхватил пистолет. Литературный эфемер и житейский хам, Амир Саргиджан оскорбил Надежду Яковлевну. Мандельштам доверчиво обратился к писательскому суду, и этот последний под председательством Алексея Толстого оправдал хулигана. Поэт дал ему публично пощечину. Но в литературной среде говорили не о поступке чести, а лишь о вельможном ответе советского графа: «Я настолько силен, что мог бы стереть вас в порошок, но я даже не подам в суд».

А непотребный шум вокруг «дела Горнфельда» — обвинение Мандельштама в плагиате. До сих пор непонятно, что двигало Горнфельдом, кто стоял за его кляузой. Вой поднялся такой, что впервые возмутилась сонная и равнодушная писательская общественность и выступила с коллективным письмом в защиту измученного Мандельштама.

Кухонная злоба человеческого нищедушия преследовала его и после смерти. Даже порядочный человек Э. Герштейн, обиженная Надеждой Яковлевной, разразилась книгой «Новое о Мандельштаме», которая не прибавляя ничего нового

640

к образу поэта, хорошо питает обывательскую неприязнь к духовности.

Что же держало Мандельштама на плаву? Да разве был на плаву этот вечно бездомный, почти нищий человек, то незамечаемый, то хищно преследуемый поэт, а потом узник, самоубийца-неудачник, ссыльный, живущий подаянием, наконец, лагерный зэк, не умерший, а сгинувший неведь на каком из островов архипелага ГУЛАГ? Было к нему и другое отношение. Весной 1933 года Мандельштам дважды выступал в Ленинграде. Анна Ахматова писала: «Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград... и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще сейчас».

О его вечере в Москве писал Н. Харджиев: «Мандельштам — единственное утешение. Это поэт гениальный... Мандельштам держал слушателей, как шаман, целых два с половиной часа. Он читал все стихотворения, написанные за последние два года, в хронологическом порядке. В них было столько заклинаний, что многие испугались. Даже

Пастернак испугался, промолвив: «Я завидую Вашей свободе. В моих глазах Вы новый Хлебников. И такой же чужой, как он. Мне нужна не свобода». (Замечательное признание! — Ю. Н.) На провокационные вопросы придворных поэтов Мандельштам отвечал с высокомерием пленного императора».

И все же не это главное. Мандельштама держало то, что он всегда оставался Мандельштамом, знающим себе цену. Он рос, невероятно рос, понимая свою огромность. В самую страшную пору, когда казалось, что дальше уже некуда, он писал:

И не ограблен я и не надломлен,  
Но только что всего переогромлен —  
Как Слово о полку, струна моя туга,  
И в голосе моем после удушья  
Звучит земля — последнее оружие —  
Сухая влажность черноземных га.

Только графоманы и гении обладают такой вот безграничной — вопреки всему — верой в себя. Мандельштам не был графоман. Когда-то он сказал о замечательном пианисте Генрихе Нейгаузе вещи слова, полностью применимые к нему самому, да они и были выражением его поэтической веры:

641

Не прелюды он и не вальсы  
И не Листа листал листы —  
В нем росли и переливались  
Волны собственной правоты.

К этой правоте Мандельштам шел семимильными шагами: от туманностей и очарованности своего раннего символизма, когда он не верил в собственную материальность: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?», не верил слову и красоте, заклиная их не воплощаться: «Останься пеной Афродита, // И слово в музыку вернись», через вещественный и здравомыслящий акмеизм: «Нет, не луна, а светлый циферблат // Сияет мне, и чем я виноват, // Что слабых звезд я ощущаю млечность», к такому объемному постижению всего сущего, такому охвату его несслыханным словом, что постижение это обернулось зиждительством, возведением собственной вселенной, ничем не уступающей Божьей. Тут нашлось место земле и небу, пространству и времени, историческому прошлому и настоящему, храмам, дворцам, избам, квартирам, человеку горнему и человеку среди утвари, всему мировому напряжению, создающему религию и культуру.

Поэт был для Мандельштама строителем. Через всю его поэзию прошло восхищение строением — стихи о Нотр-Дам, Аие-Софии, Реймском, Кельнском, Исаакиевском, Казанском соборах, Адмиралтействе. Иисус основал свою церковь на камне — Петросе, камень — в основе поэтической постройки Мандельштама, недаром первую свою книгу он назвал «Камень».

Построив свою церковь и ощутив ее этическую и эстетическую огромность, согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение нового Дома Господня, Мандельштам не обмолвился, а всей звучной гортанью сказал Иисусово: «От меня будет миру светло».

Автор лучшей книги о Мандельштаме, Никита Струве, до этого бесстрашно шедший за ним в его глубь, как Данте за Вергилием по кругам ада, здесь слегка оступился. При другом, подобном же высоком уподоблении, он вдруг тонким голосом завел, что не может же Мандельштам с его пиететом к Господу Богу... Может, он все может, недаром его ненавидели пигмеи. Нет, только так открывается во всей полноте и завершенности беспримерный путь поэта и непреложность его исхода — без воплощения нет Мандельштама. В его молодом изумительном, но еще незрячем стихотворении

«Лютеранин», далекий от понимания своего масштаба Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не

642

предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтекают. Как и Христос, Мандельштам обладал правом выбора и выбрал путь, ведущий на Голгофу.

Его Голгофа была едва ли не страшней Иисусовой. Муки Сына Человеческого: истязание, венчание терновым венцом, путь под тяжестью креста по нынешней недлинной Делароза — от дома Пилата до Голгофского холма, томление на кресте — завершились в течение дня, а там было снятие с креста, пеленание, положение во гроб и вознесение. У Мандельштама муки растянулись на месяцы, может быть, на год, никто не знает, когда, где и как он умер. Но слухи об исходе великого поэта России ужасны. Кто видел голодного безумца, читающего стихи у лагерного костра за хлебную корку, кто — блокадный призрак, так довел он себя голодом из боязни быть отравленным, кто — задыхающегося доходягу в битком набитом трюме то ли по расчету затопленной, то ли потонувшей в шторме тюремной баржи. Большинство слухов сходится на одном — признаках безумия. А это страшнее всего. «Не дай мне Бог сойти с ума», — молил Пушкин, не боявшийся ни страданий, ни смерти. И никто не протянул умирающему жестом милосердия губку, смоченную в освежающем питье: смеси вина, уксуса, воды. И никто не спеленал его тела и не положил во гроб. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо и Моцарта.

Иисус на горе Елеонской молил Отца небесного пронести мимо предназначенную ему чашу. О том же устами Гамлета просил Пастернак, хотя угроза ему не была столь велика. Когда Сталин объявил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи», Борис Леонидович послал ему благодарственное письмо: Сталин снял с его плеч непомерную ношу считаться первым стихотворцем. Нельзя было устоять перед такой непробиваемой наивностью, и вождь дал указание «оставить в покое этого небожителя».

Для Мандельштама, как и для Ахматовой, настанет час взмолиться о чаше — чтобы мимо, чтобы помиловали. Ахматова сделает это ради несчастного сына холодными «сталинскими» стихами; Мандельштам сдастся измученным глазам «нищенки подруги», перекошенному страхом рту жалкого брата и собственной усталости, он введет Сталина в стихи — мастеровитые, как и все, что выходило из-под его пера, но мертвые. Испушенный в поэзии и сервилизме вождь не поддался на удочку, сразу увидев, насколько эти чеканные строчки слабее вырвавшейся из сердца хулы про кавказского горца или ходившего по рукам «Фазтонщика»:

643

«Он безносой канителью//Правит, душу веселя,//Чтоб вертелась каруселью//Кисло-сладкая земля...». Поняв, что чаши не избежать, Мандельштам плюнул на все и бодро понес свой крест на Голгофу. Да, бодро, ибо поразительна поэтическая мощь его черных воронежских дней, на такую высоту не поднимался ни он сам, ни какой другой поэт века, да и что может быть выше Голгофы?

В упомянутой мною книге Никиты Струве найден ключ к такому сложному явлению, как Осип Мандельштам. Во главу своего исследования он поставил понятие судьбы в христианском смысле: не слепой рок, а свободное исполнение человеком Божьего замысла. «Мандельштам, — пишет Струве, — не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение».

Неужели личная судьба и в самом деле должна подтверждать правоту поэта? Когда-то Кюхельбекер сказал: «Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех — певцов моей России». Пушкин и Лермонтов сознательно шли на пулю. Их роковые поединки не имеют

ничего общего с галантными дуэлями Фердинанда Лассалья и Эвариста Галуа, хотя и тут был смертельный исход. Но одно дело, когда к барьеру ведут правила рыцарской игры, другое — давление жизненных обстоятельств и собственный неотвратимый посыл. Пуля подтвердила поэтическую правоту Гумилева и Маяковского (правотой может быть и расплата за измену поэзии), петля — Есенина и Цветаевой; Блок был заморен голодом с собственного согласия. Клюев сгинул то ли в ссылке, то ли в лагере, та же участь постигла Клычкова, Хармса и Введенского, Пастернака затравили, список можно бесконечно расширять. Случалось в большом поэтическом хозяйстве России, что Орфей выводил из ада Эвридику: трагическая жизнь Ахматовой увенчалась признанием и славой. Но это исключение. Может, потому и не могла так долго состояться поэтическая судьба гениального Тютчева, что великий любовник, остроумец и баловень гостиных не искупил ее жертвой? Коли твой голос прорезал смутное многоголосье, вырвался из хора, то подтверди кровью свое право «глаголом жечь сердца людей». Ахматова говорила, что не могла бы пожелать поэту Мандельштаму лучшей судьбы, она восхищалась арестом и ссылкой Бродского: ему делают прекрасную судьбу. Надо сказать, что на западе к поэту подобных требований не предъявляют. Судьбы Вийона,

644

Шенье, Клейста не типичны. Более естественны академические лавры и почести. Нынешние ведущие советские поэты тоже не гибнут, а становятся секретарями СП и лауреатами. Прежде наша родина куда строже спрашивала с лироносцев.

Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жертв участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего — по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, — он встал и пошел...

Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и тома новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Даже в прекрасной работе Никиты Струве мне недостает анализа отдельных стихотворений. В тех немногих случаях, когда Струве приступает к такому пристальному разбору, он все-таки недостаточно подробен. И мне вспоминается статья Иосифа Бродского, посвященная анализу одного стихотворения Марины Цветаевой. Адресат стихотворения — Эрих Мария Рильке — ее далекая любовь. Все тут очень личное, зашифрованное и, как мне казалось, безнадежно непрочитаемое. Но вот его коснулся смелый, острый и точный скальпель равновеликого поэта, и стихотворение распахнулось, раскрылось во всю глубину, темные далекие ассоциации высветились, будто вынули драгоценность из запертого футляра, и вот она на твоей ладони сверкает, переливается, играет всеми гранями. И какое наслаждение перечитать отягощенные важным смыслом и теперь понятные строки!

Никита Струве не поэт, а талантливый и добросовестный исследователь и не допускает себя до столь беспощадной и, в прекрасном смысле, наглой пронизательности. А может, это правильный расчет собственных сил: ученый не может посягать на то, что открывается интуиции и тайномыслию поэта. Вот если бы Бродский под добрую руку сделал для Мандельштама такую же работу, как для Цветаевой!

Но обязательно ли расшифровывать Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова:

Есть речи — значенье  
Темно иль ничтожно —  
Но им без волненья  
Внимать невозможно.

Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда

совпадает с сутью. Вот комический пример тайнозначия слов из «Пиквикского клуба». Мистера Пиквика судят за мнимое нарушение брачного обязательства. Адвокат истицы, вдовы Бардль, хитрый крючкотвор Бацфус опирается на фразу мистера Пиквика, сказанную им вдове: он попросил грелку в постель. Бацфус уверяет, что Пиквик имел в виду не прибор для согревания простынь, а саму вдову. Любовники сплошь да рядом называют друг друга чем угодно, только не по именам: рыбкой, ласточкой, втулочкой, почему же не назвать грелкой аппетитную вдовушку? Если отвлечься от данного конкретного случая, то это верно: любовная игра порой такие слова изобретает, какие не снились ни одному заумщику, но ведь любовники отлично понимают друг друга. Значит, слово свободно от изначального смысла, и если поэт принял это в свою кровь, он может говорить на птичьем языке любви, который будет волновать, даже оставаясь непонятным.

Поэтическое движение Мандельштама шло по линии, раскрепощения слова, полной свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вот, кажется, последнее стихотворение, написанное в Воронеже, возможно, и вообще последнее:

Как по улицам Киева-Вия  
Ищет мужа не знаю чья жинка,  
И на щеки ее восковые  
Ни одна не скатилась слезинка.

В конце короткого стихотворения — картина ухода из Киева красноармейцев в пору гражданской войны. Завершается все криком «сырой шинели»: «Мы вернемся еще, разумийте!»

Вроде бы все ясно как день, названы время и место, четко обозначены персонажи. Но есть тайна — второй, пророческий смысл. Вот так будет метаться уроженка Киева, вдова поэта Надежда Мандельштам, гонимая за мужа-преступника, по всей стране, не находя нигде твердого пристанища. И так же сухо будет лицо сильной любовью и ненавистью женщины, подчинившей себя одной цели: спасти, сохранить стихи погибшего. Мандельштам это предвидел — он предвидел и куда более скрытое — и соединил горе «жинки» с горем оставляемого неприятелю города, где «пахнут смертью господские Липки» и где он однажды пережил разлуку с той, что стала его женой.

Вершина мандельштамовской поэзии «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу взрывами страшных открове-

646

ний сквозь мучительный туман тайнописи, но последней строфой озаряется весь мрачный громозд апокалипсической картины мира, созданной поэтом. Это переключка убиенных:

— Я рожден в девяносто четвертом...  
Я рожден в девяносто втором...

В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями, поэт включает себя:

И в кулак зажимая истертый  
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,  
Я шепчу обескровленным ртом:  
— Я рожден в ночь с второго на третье  
Января в девяносто одном  
Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было, и хочет врезать потомкам в память день своего появления на свет, хотя бы одним краем прикрепиться к времени.

После этого затянувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:

Образ твой, мучительный и зыбкий,  
Я не мог в тумане осязать.  
«Господи!» — сказал я по ошибке,  
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,  
Вылетело из моей груди!  
Впереди густой туман клубится,  
И пустая клетка позади...

Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:

Нет, не луна, а светлый циферблат  
Сияет мне,— и чем я виноват,  
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:  
Который час, его спросили здесь,  
И он ответил любопытным: вечность!

647

Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!

Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любим. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспевал камень, одухотворившийся в соборы и города. Здесь начинается его проходящая через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение «Петербургские строфы» посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителей не было, были предшественники: Виллон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он зовет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:

Поедем в Царское Село!  
Свободны, ветрены и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло...

В этих стихах молодого Мандельштама проглядывает восхищение глупой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», — уланы не стояли в Царском Селе, это описка поэта.

Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в обрисовке обитателей Царского Села: однодума генерала, кичливого князя-офицера и напугавших поэта «мощей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.

Мандельштам приветствует «реалии», как сказали бы мы сейчас, американизирующегося общества, раньше других подметив это явление, стихотворениями: «Кинематограф», «Американка» и «Американский бар». Первым после Лермонтова в русской поэзии он обращается к теме спорта.

648

Лермонтов живописал кулачную потеху — русский бокс со смертельным, как положено в России, исходом, Мандельштам — теннис. Потом и футбол появится. Поэт, у которого полушки за душой не было, восхищается игорным домом — на дюнах казино. В эту пору Мандельштам съездил за границу, хотя до сих пор неясно, где ему довелось побывать. Лучшие из «зарубежных» стихов посвящены Венеции и Риму, но, кажется, до Италии он не добрался.

Если верить стихам — а им надо верить до известного предела, ибо они не дневник, а творчество,— Мандельштам в эти годы упивался жизнью. Носил котелок, стал отращивать бачки. Он позволяет и любви заглянуть в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматова». Война 14-го года всколыхнула его поначалу на изящные стихи «Собирались эллины войною//На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затянувшаяся бойня вызывала у него лишь чувство отторжения.

Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культовые обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчетливости.

Он как будто присматривался к лютеранству и католицизму стихотворениями «Лютеранин» и «Аббат». В первом он живописует простые, строгие и легкие лютеранские похороны, чуть бездушные в своей чинности, что приводит его к безрадостному выводу:

И думал я: витийствовать не надо,  
Мы не пророки, даже не предтечи,  
Не любим рая, не боимся ада  
И в полдень матовый горим, как свечи.

Все горько и справедливо, кроме местоимения «мы», — поэт-пророк напрасно распространяет на себя нашу тусклость и равнодушное смирение перед вечностью.

«Спутник вечного романа аббат Флобера и Золя», спешащий на обед в замок, предсказывает Мандельштаму: «Католиком умрете вы». Наверное, Мандельштаму и его очаро-

649

ванности Римом казалось, что он разделит судьбу Печорина и кн. Голицына. И аббат, и поэт оба ошиблись. В недалеком будущем Мандельштам внезапно и резко охладает к

Риму и сблизится с Элладой — не с античностью и ее эриниями, а с Грецией, принявшей Христа. Наследницей Греции была для поэта не «бездетная Византия», а Россия и русское православие. Но это все позже, это наполнит новую книгу «Tristia», а в «Камне» Мандельштам поет цезарийский Рим, принявший первых христиан, и папский Рим с тронном наместника Бога,

И все же в «Камне» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ вечного города. С великолепной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что «никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предсказывающих новый этап поэтической работы:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса  
Я список кораблей прочел до середины:  
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,  
Что над Элладой когда-то поднялся.

А завершает книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Расина: «Я не увижу знаменитой «Федры». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наши игры...»

Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tristia», начинаются опять же с «Федры», но уже не Расиновой, а той, что в каменной Трезене запятнала трон мужа своего Тезея. Мандельштам обретает не воображаемую, а на ощупь, Грецию в каменной Тавриде\*, в той части Крыма, что так похожа на Пелопоннес: от Керчи до Судака, с греческой Феодосией, с Коктебелем, чьи низкорослые пыльные акации похожи на оливы и где на берег выбросило обломок Одиссеева весла. Одно из самых его величавых стихотворений посвящено Тавриде: «Золотистого меда струя из бутылки текла...» Завершается оно бессмертными словами: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотном/Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Ну, а вершина сборника — «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Самый сильный мотив этих стихов — расставание. Это имеет почву в биографии поэта: совершилась Октябрьская революция, и началась для него пора разлук и странствий — нищая одиссея.

\* Кто-то из знающих толк в поэзии говорил: следите за повторяющимися у поэта словами, в них ключ к его сегодняшней душе. Мандельштам не расстается со словом «камень» и производными от него.

650

Но именно в этом сборнике со взором, обращенным вспять, поверх ушедших столетий, поэт начинает соединяться со своим временем, обретать в нем прочную ячейку. При его чувстве истории и пронизательности он не мог впасть в ошибку Блока, увидевшего Христа во главе революционно-уголовного шествия и приговорившего себя к нежизни, когда обнаружил роковое заблуждение, но Мандельштам избежал и слепоты, постигшей таких разных художников, как Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, не позволившей им ничего увидеть в происходящем, кроме окаянства. Он принял мрачное величие переворота, его неотвратимость: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий//Скрипучий поворот руля//Земля плывет. Мужайтесь, мужи». Последний призыв он обращает прежде всего к самому себе. И, как известно, внял призыву.

Революция приучила Мандельштама к отъездам, похожим на бегство, к терпким расставаниям: «Я изучил науку расставанья//В простоволосых жалобах ночных». Он был не из тех, кто способен покинуть свою «грешную землю» (и уехать послем, скажем, в Сан-Марино), но, подобно тысячам других сдутых с места жителей, метался по стране, ища хлеба и убежища. Он не умел прокормиться в родном Петербурге.

Эти метания приводили его то в Киев, то в Феодосию, то в Коктебель под доброе крыло Волошина, то в Батум, то в Тифлис горбатый, то в Москву. Почти всюду Мандельштама арестовывали и даже пытались раз-другой расстрелять. За что? За

непохожесть, за выпадение из окружающего, за чуждость простому и грубому духу эпохи (он скажет впоследствии: «Нет, никогда ничей я не был современник»); часовым революции и контрреволюции равно казалось, что этот не уместяющийся в привычных координатах человек должен быть изолирован, а еще лучше — пущен в расход, чтоб не смущал взора. Только чудом спас его Максимилиан Волошин. Но этого человека, боявшегося участка, о чем с удовольствием пишут мемуаристы, вглубь души было очень трудно испугать. И, выпущенный на волю после очередного ареста в меньшевистской Грузии, он пишет о Тифлисе веселые, свободные, хмельные стихи, и никакой завсегдатай духанов не мог бы так прославить шашлычно-винный город у слияния Арагвы и Куры.

В «Тристии» продолжается тема Петербурга, обретая в послереволюционном стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...» ту трагическую ноту, которая похоронной безысходностью зазвучит в знаменитом «Ленинграде» (декабрь 1930 г.): «Я вернулся в мой город, знакомый до слез».

651

Это уже безнадежность. А пока ему кажется, что «в черном бархате советской ночи//В бархате всемирной пустоты//Всё поют блаженных жен родные очи//Всё цветут бессмертные цветы».

Обратите внимание на «поющие очи». Это продолжение Дантовой метафоры: веки — губы глаз. А губы поют. Прием — обычный для Мандельштама. Его метафоры часто можно отыскать в почве Вийона, Данте, Державина, Батюшкова, Тютчева, особенно — Лермонтова, которого он называл своим мучителем. Цитаты — это цикады, говорил Мандельштам, ими неумолчно напоен воздух. Ты становишься собственником цитаты, введя ее в свой духовный мир.

Следующий короткий этап поэзии Мандельштама не стал книгой при всей своей значительности и завершенности, он вошел как «Раздел 1921 — 1925» в сборник «Стихотворения», изданный в 1928 году, когда поэт переживал кризис долгого молчания. В этом цикле такие шедевры, как «Концерт на вокзале», «Умывался ночью на дворе...», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 января 1924», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Вы, с квадратными окошками невысокие дома...».

Могучими стихами свидетельствует Мандельштам о своей растерянности перед постигшим его открытием, что хребет века безнадежно сломан:

И еще набухнут почки,  
Брызнет времени побег,  
Но разбит твой позвоночник,  
Мой прекрасный жалкий век!  
И с бессмысленной улыбкой  
Вспять глядишь, жесток и слаб,  
Словно зверь, когда-то гибкий,  
На следы своих же лап.

Поэту и прежде случалось нередко говорить от первого лица, хотя он не злоупотреблял местоимением «Я», но то не был Мандельштам во плоти и крови, а некий его представитель, которому поэт вручал необходимую часть себя — своей тоски, печали, любви, гнева, напряжения мысли. Здесь он целиком воплотился в «Я» стихов. Это все о себе, о себе единственном, а не о том, кому он доверял право говорить от своего имени или в кого он, резвясь, играл.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит  
к концу.

Спасибо за то, что было:  
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

.....

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.  
 Конь лежит в пыли и храпит в мыле,  
 Но крутой поворот его шеи  
 Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными  
 ногами,—  
 Когда их было не четыре...

И вот заключительные строки этого страшного стихотворения «Нашедший подкову»:

Время срезает меня, как монету,  
 И мне уже не хватает меня самого...

В первый день января 1924 года Мандельштам вновь стал разбираться с веком, умирающим, по его мнению, окончательно лишь сейчас. В щемящей нежности и жалости к нему поэт становится сильнее века-властелина, припадающего к его руке:

...И к млеющей руке страдающего сына  
 Он, умирая, припадет.

Но близка и гибель поэта, ибо она в немоте, которой не избежать:

...Еще немного — оборвут  
 Простую песенку о глиняных обидях  
 И губы оловом зальют.

Он человек, он мечется, пытается уговорить себя: ничего страшного, твою целостность гарантируют малиновый свет аптеки и щелканье ундервуда. «Чего же тебе еще? Не тронут, не убьют». Но в последнем он не очень уверен и поддерживает свой дух иным:

Ужели я предам позорному злословью —  
 Вновь пахнет яблоком мороз —  
 Присягу чудную четвертому сословью  
 И клятвы крупные до слез?

Четвертое сословие — это народ, впервые признается Мандельштам в своей преданности ему — до смерти. Вот она, белеющая солью совесть. Здесь проясняется, что соль, ставшая доминантой поэзии Мандельштама, — это совесть. И она не пускает поэта от своего порога. Он остается — без утешения поэзией. Больное время шелушится советской сонатинкой, и лира современного певца — пищащая машинка способна родить лишь тень былых могучих сонат.

Не исчерпав себя этим пронзительным стихотворением,  
 653

Мандельштам создает вариант, в котором утверждает: «Нет, никогда ничей я не был современник», но вдруг, смиряя вызов, предлагает «с веком вековать». В стихах этого времени — мучительная раздвоенность и неспособность сделать окончательный выбор.

Еще раз с необычайным для него житейским теплом он вспоминает Петербург. Сегодняшний город дан лишь намеком на грустное запустение: незамерзший, торчащий щучьими ребрами каток и слепенькие — свет вполнакала — прихожие с ненужными коньками, а старый Петербург — добросовестным товаром гончара на канале, мандариновой кожей Гостиного двора, золотым мокко, смолотым электрической

мельницей, докторскими приемными «с ворохами старых «Нив», оперой и бестолковым последним трамвайным теплом. Все такое домашнее, уютное, что вовсе исчезло у Мандельштама, у которого и в быту и в поэзии теперь — ледяной сквозняк.

Великолепным стихотворением «Из табора улицы темной...» он расстается с поэзией на пять лет. Будет прекрасная проза «Египетской марки», переводы навалом, натужная зарифмованная шутка о глухой, упрямой старушке, путающей Бетховена, Марата и Мирабо, но поэзии не будет. А ведь он находился как раз на середине жизненного пути — так отмерил человеку век возлюбленный им Данте,— в самом расцвете физических и душевных сил. В чем же причина внезапной немоты? Наверное, прежде всего в том, о чем он говорил в «Нашедшем подкову»: ошибся, запутался, сбился с пути. И — это уже мой домысел — оробел перед тем окончательным выбором, от которого не уйти было такому бескомпромиссному и внутренне свободному человеку, как он. Но он еще отводит свой взгляд от чаши, которую подвигает ему рука Всевышнего. Душу корежили, уводя от главного, газетная травля, злосчастная история с Горнфельдом, жестокая бытовая неустроенность.

Разбужен для поэзии он был в 1930 году — выстрелом Маяковского. Он понял, что с этой властью и этим временем не может быть высокого договора, коли уже безупречное служение, принесение в жертву таланта и сердца не спасает от гибели. И он решился. А тут еще выпала поездка в Армению, ошеломившую его лазурью и глиной, близоруким небом и дикой кошкой царапающей речи; «орущих камней государство» сотрясло его безбожно разбазариваемую на быт, обиды, мелкие схватки, жалкие страхи душу, пробудив великую энергию творчества.

Несколько неожиданно Армения зарядила Мандельшта-  
654

ма и социальным протестом. А потребовался для этого всего лишь приставленный к нему чиновник:

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,  
Нету его ни жалчей, ни нелепей,  
Командированный — мать твою так! —  
Без подорожной в армянские степи.

Но за ничтожным этим чиновником — давящая сила полицейского государства, заставляющая людей «ходить по гроба, как по грибы деревенская девка!..». В последней строфе он подводит справедливый итог своему путешествию:

Были мы люди, а стали людье,  
И суждено — по какому разряду? —  
Нам роковое в груди колотье  
Да эрзерумская кисть винограду.

Хорошо сказал Никита Струве: «Уезжал Мандельштам незрячим, а вернулся всевидящим».

А вернулся он в свой родной город и вдруг увидел, что это и в самом деле Ленинград, а не Петрополь и не Петербург. И к этому городу он обратился стихотворением, которое так и назвал «Ленинград», хотя обращение сохранил прежнее: Петербург. Он пытается убедить себя, что это все еще его город, «знакомый до слез, // До прожилков, до детских, припухших желез», что свет речных фонарей целебен ему, как рыбий жир ребенку.

Но интонация хрупкой бодрости ломается взрыдом:

Петербург я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Конец зловеще двусмыслен:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Кого он ждет? Мертвых друзей или уцелевших, или — это куда вероятнее, коль дверные цепочки для него кандалы,— тех дорогих гостей, что являются далеко за полночь и о своем появлении не предупреждают телефонным звонком.

Они явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве,  
655

но он их уже ждет, о чем говорят и два маленьких стихотворения, написанных после «Ленинграда».

Помоги, Господь, эту ночь прожить,  
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу...  
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

И бесконечно грустное обращение к жене:

Мы с тобой на кухне посидим,  
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...  
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери  
завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,  
Где бы нас никто не отыскал.

Кажется, Николай Чуковский видел их на Московском вокзале, где они сидели на кое-как завязанной корзине в ожидании дешевого пассажирского поезда.

Мандельштам уже согласен на Сибирь, но хочет уйти туда сам, чтобы пасть от руки равного, а не от века-волкодава, кидающегося ему на плечи,— сзади («За гремучую доблесть грядущих веков...»).

Органная эта мощь прозвучала у Мандельштама между двумя легкокрылыми печальями: «Я скажу тебе с последней//Прямотой://Все лишь бредни — шерри-бренди,//Ангел мой!» и «Жил Александр Герцевич,//Еврейский музыкант,—//Он Шуберта наворачивал,//Как чистый бриллиант».

До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горчайшем стихотворении «Колот ресницы. В груди прикипела слеза...» он за семь лет до второго ареста и лагеря уже все знал:

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,  
Дико и сонно еще озирась вокруг,  
Так вот бушлатник шершавую песню поет  
В час, как полоской заря над острогом встает.

И в разгар этих провидческих наитий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по

вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием свободного мира: от музыки сосен савойских до

656

бискайских волн и сливок альпийских, от «роллс-ройса» до масла парижских картин,— веселый и наглый гимн европейской наполненности бытия. Ох и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!

А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» — высшее, чего может достичь художник. Он лишь просит Анну Ахматову сохранить его «речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И она сохранит — навсегда.

В стихотворении «Полночь в Москве...» он, как будто отказавшийся от всякого современничества, точно определяет себя по времени: «Я человек эпохи Москвошвея, — //Смотрите, как на мне топорщится пиджак...//Попробуйте меня от века оторвать! —// Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Тут нет противоречия: да, он над временем и он же во времени со всеми его малостями: клоунами Бимом и Бомом, медведем на бульваре (бедняга Топтыгин назван вечным меньшевиком природы), с бутылочной гирькой кухонных часов, но он не предает времени, ради которого «разночинцы рас-сохлые топтали сапоги». Он примет смерть, как пехотинец, но не прославит «ни хищи, ни поденщины, ни лжи». И он приказывает себе не хныкать, не жаловаться. Он это сумеет, ибо «человек эпохи Москвошвея» стоит над временем — для него эпохи взаимопроникаемы в городе, где «с дроботом мелким расходятся улицы», к Рембрандту в гости идет Рафаэль, не чающий с Моцартом души в Москве «за карий глаз, за воробьиный хмель».

Похоже, что петербуржец Мандельштам и сам не чает души в Москве, хотя у него находится для нее и немало жестких слов. В трех барочно избыточных стихотворениях он, как там ни крути, славит Москву, соблазняющую его «разбойником Кремлем», Воробьевыми горами и рекой Москвой «в четырехтрубном дыме» (МОГЭС); он приветствует молодых рабочих «татарские сверкающие спины» — «Здравствуй, здравствуй, //Могучий некрещеный позвоночник, //С которым проживем не век, не два!». Какая радость существования в этом задыхающемся, почти нищем, безбытном человеке, к тому же точно знающем свой конец.

То усмехнусь, то робко приосанюсь  
И с белокурой тростью выхожу;  
Я слушаю сонаты в переулках,  
У всех лотков облизываю губы,  
Листаю книги в глыбких подворотнях —  
И не живу, и все-таки живу.

657

И как еще о многом надо ему сказать! Поражает многообразие этой поры — поэт распирает чувство сиюминутной жизни и тревожат тени предтеч: одарив Батюшкова дивной одой, он в другом стихотворении ласкает имена Тютчева, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Фета и бородатого Хомякова. И вдруг, словно спохватившись, что забыл первую любовь, по-домашнему привечает Державина, а с ним и Языкова, неожиданно соединив эти имена. А там им завладевает Ариост — к итальянцам у Мандельштама особое отношение: Данте его кумир кумиров. Мировое литературоведение не знало ничего равного мандельштамовской большой статье (целой книге) об авторе «Божественной комедии».

Все еще во власти адриатических грез, Мандельштам попадает в Старый Крым. На страницах нашей печати не раз сетовали на заговор молчания вокруг страшной трагедии Украины — голода тридцатых годов, организованного Сталиным для уничтожения

мелкобуржуазной стихии крестьянства. Это не так: не молчали А. Платонов и Б. Пильняк, не смолчал и Мандельштам.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,  
Как был при Врангеле — такой же виноватый.  
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,  
Такой же серенький, кусающийся дым.

Природа своего не узнает лица,  
И тени страшные Украины, Кубани...  
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне  
Калитку стерегут, не трогая крыльца...

По возвращении в Москву Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной. Борис Пастернак, приглашенный на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Теперь, чтобы писать стихи, вам не хватает только стола». Никто не умел так раздражать Мандельштама, как Борис Леонидович, что не мешало ему написать лучшие слова о пастернаковской поэзии. Едва гость ушел, Мандельштам в яростном порыве разделался с щедрым даром, молчаливо требовавшим от него ответного поклона. Для этого ему не понадобилось даже стола:

Квартира тиха, как бумага —  
Пустая, без всяких затей,—  
И слышно, как булькает влага  
По трубам внутри батарей.

.....

658

А стены проклятые тонки,  
И некуда больше бежать,  
А я как дурак на гребенке  
Обязан кому-то играть

.....  
Какой-нибудь изобразитель,  
Чесатель колхозного льна,  
Чернила и крови смеситель,  
Достоин такого рожна,

Какой-нибудь честный предатель,  
Проваренный в чистках, как соль,  
Жены и детей содержатель,  
Такую ухлопает моль.

.....  
И вместо ключа Ипокрены  
Давнишнего страха струя  
Ворвется в халтурные стены  
Московского злого жилья.

Хочется говорить о каждой строке Мандельштама, это поэт без пустот, без проходных стихов, но что поделать, и после жизни ему так же скупно отмеряется площадь, как и до смерти. А ведь в эти годы были созданы восьмистишия, где столько природы, где «Шуберт на воде», и «Моцарт в птичьей игре», и «Гете, свищущий на вьющейся тропе» (слышите свист?), и «Гамлет, мысливший пугливыми шагами»... Тогда же появляется бесподобный цикл памяти Андрея Белого, чьей смертью не слишком жаловавший его при

жизни поэт был потрясен. Мандельштам не любил символизма Белого, даже поразительный язык его прозы оставался ему чужд, но именно Белому читал он свой труд о Данте. То был высокий собеседник, а их осталось, увы, немного, живая память целой эпохи, гоголек, заводивший кавардак на Москве, «собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, // Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец». Без него слишком пресной, прямой и простой станет мысль, а быть может, «простота — уязвимая смертью болезнь»? Вся практика нашей скорбной жизни убеждает, что нет ничего опаснее простоты и кривее прямизны.

По-мандельштамовски не просто и не прямо оплакав Белого, а с ним и свое прошлое, Мандельштам вышел на последнюю прямую, которая скривит его в гибель, произнесся с набатной гулкостью в стране, «взявшей на прикус серебристую мышь» индийский образ тишины, молчания из другого стихотворения, а по-русски — воды в рот набравшей, все, что он думает о кавказском горце: «Мы живем, под собою не чуя страны»...

659

Но перед тем он дал себе пережить последнюю бурную влюбленность — в поэтессу Марию Петровых.

Ты, Мария, — гибнущим подмога,  
Надо смерть предупредить — уснуть.  
Я стою у твоего порога.  
Уходи. Уйди. Еще побудь.

Последняя строка — чудо лаконизма; сколько чувств выражено такими скудными средствами: два глагола, три точки.

На этом кончилась жизнь и началось житие. Напомню вехи: пощечина Алексею Толстому, возможно, ускорившая все остальное, арест, путь по Каме в ссылку, Чердынь, попытка самоубийства, Воронеж.

Жизнь возвращалась медленно, поэзия вернулась внезапно и бурно апрельскими днями тридцать четвертого года, когда пробуждается природа и так сладко пахнут синие пласты чернозема. «Чернозем» — чуть ли не первое стихотворение ссыльного Мандельштама. Нет, раньше было стихотворение, навеянное скрипкой Галины Бариновой, давшей концерт в Воронеже. Музыка всегда была для Мандельштама острейшим переживанием и таким интимным, что он не мог говорить с близкими людьми о своих концертных впечатлениях. Мандельштам зажался, молчит, уводит глаза — значит, он с концерта. Но мог говорить, будем высокопарны, с Музой. Пробужденный музыкой и землей, Мандельштам исполнился любви к жизни. Стрижка детей, когда «машинка номер первый едко // Каштановые собирает взятки», заставила его почувствовать блаженную полноту мира и свою способность этой полноте отзываться:

Еще стрижей довольно и касаток.  
Еще комета нас не очумила,  
И пишут звездоносно и хвостато  
Лиловые толковые чернила.

Ему надо разделаться с Камой-рекой, по которой он совершил страшное свое путешествие «с занавеской в окне, с головой в огне». Он делает это чеканными двестишиями, особенно поражает последнее:

А со мною жена пять ночей не спала,  
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

Да, потому что конвойные — те же узники, они стерегут чужую неволю, а чужая неволя стережет их. В этом суть тоталитаризма — все повязаны одной цепью — общим

пленом.

660

Мандельштаму достаточно двух строк, чтобы сказать то, на что другому великому узнику понадобился гигантский бухгалтерский поименник «Архипелаг ГУЛАГ».

И вот он уже может бросить тем, кто пытался запечатать ему рот:

Лишив меня морей, разбега и разлета  
И дав стопе упор насильственной земли,  
Чего добились вы? Блестящего расчета:  
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Свою правоту он подтверждает весело и нагло в роде бы шуточным, на деле же глубоко серьезным, пророческим стихотворением, поразительным для ссыльнопоселенца, живущего Христа ради, поэта, отторгнутого от литературы, печати, читателей:

Это какая улица?  
Улица Мандельштама.  
Что за фамилия чертова —  
Как ее ни вывертывай,  
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,  
Нрава он не был лилейного,  
И потому эта улица,  
Или, верней, эта яма  
Так и зовется по имени  
Этого Мандельштама.

Та же мысль на высокой ноте звучит в «Стансах»:

И не ограблен я и не надломлен,  
Но только что всего переогромлен...  
Как Слово о полку, струна моя туга,  
И в голосе моем после удушья  
Звучит земля — последнее оружие —  
Сухая влажность черноземных га!

В жизни Мандельштама стало много пейзажа, он ездит по области и отзывается простору, да и Воронеж — небольшой город — куда ближе природе, нежели Ленинград и Москва, и природа врывается в его лирику дивными стихами про щегла. С тех пор для многих в мире Воронеж стал «страной щегла».

Мой щегол, я голову закину —  
Поглядим на мир вдвоем:  
Зимний день, колючий, как мякина,  
Так ли жесток в зрачке твоём?

661

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,  
Ниже клюва в краску влит,  
Сознаешь ли, до чего щегол ты,  
До чего ты щеголовит?

Что за воздух у него надлобье —  
Черн и красен, желт и бел!

В обе стороны он в оба смотрит — в обе!  
Не посмотрит — улетел!

Мандельштам сам споткнулся об этот гимн птице — красоте — вечности и создал дивные варианты стихотворения, затем извлек из рукава еще один самоцвет, перенес любовь на другую чудную птицу — снегиря.

Я помню, как в довоенном Коктебеле Сева Багрицкий, сын поэта и сам поэт, унаследовавший от отца не только дар стихосложения, но и смуглый тембр голоса и умение налить им звучащее слово, читал на террасе волошинского дома эти стихи. «Мои!» — сказал он резко, чтобы прекратить расспросы и доносы, и мы все поняли, чьи это стихи. А потом он читал невероятное о земной оси, которую надо услышать поэту, как последнюю истину. Вон куда уже добрался Мандельштам! Я это к тому, что стихи ссыльнопоселенца звучали в сталинской ночи — не всё взяли на прикус серебристую мышь. Сева Багрицкий, погибший на Волховском фронте, не виноват, что в его единственном тощем сборнике, изданном посмертно, оказалось стихотворение Мандельштама.

Воронеж дал Мандельштаму не только новые темы, но и новое мирочувствование. Он стал отзываться тому, к чему прежде оставался глух, безразличен.

Он был потрясен фильмом «Чапаев», с влажной простыни экрана ему «в раскрытый рот» прискакал бесстрашный комбриг. И подвиги арктических летчиков будоражат душу. Лютуются, лютуются стихи, как никогда изобильно, будто чернозем проник в его вещество, наградив буйным плодородием. Ему кажется, что возможно сращение с действительностью, и ради этого он готов прийти, «головой повинной тяжел». Но искупление воображаемой вины оказалось невозможным: Он никому не нужен, да и самому ему становится мерзок несовершенство жест раскаяния. Он возвращает себе прежнее скорбное и высокое ощущение своего воронежского бытия.

Еще не умер ты, еще ты не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Ты наслаждаешься величием равнин,  
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете  
Живи спокоен и утешен.

662

Благословенны дни и ночи те,  
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,  
Пугает лай собак и ветер косит,  
И беден тот, кто, сам полуживой,  
У тени милостыни просит.

И наконец он приходит к своей поэтической вершине — стихам о неизвестном солдате, с которых начался наш разговор.

Это жизненный итог, он готов принять свою солдатскую, свою острожную судьбу. Но поэтический ток не иссяк, как никогда звучны его медь, скрипки и орган. Он прощается с морем: «И когда я наполнился морем./Мором стала мне мера моя», с землею и «клеякой клятвой листов», с прекрасны ми женщинами, что «сырой земле родные».

Вот хроника последнего года несвободной свободы Мандельштама. В мае 1937-го кончился срок его трехлетней ссылки. В июне его лишили права жить в Москве. Осенью Мандельштамы на два дня едут в Ленинград для сбора денег. В марте 1938-го Литературный фонд дает Мандельштамам путевки в дом отдыха в Саматиху. 2 мая

Мандельштама арестовали. Кончилось житие, начались страсти...

За пределами этого очерка осталась блистательная проза Мандельштама: повесть, рассказы, остроумнейшие наброски, приближающиеся к высокому фельетону, статьи, рецензии, лишь упомянуто несравненное исследование о Данте. Поэт проверяется прозой. Проза Мандельштама — продолжение его поэзии, она столь же метафорична, интонационно богата, полна кружащих голову разрывов, неожиданных, ошеломляющих ассоциаций.

Я не коснулся его поэтики, вернее, многих поэтик, ибо Мандельштам чуть ли не единственный поэт, который в движении своего поэтического времени менялся до неузнаваемости. Змея, меняя кожу, остается в той же одежде по расцветке и узору, только новой, с иголочки. Мандельштам, сбрасывая поэтическую кожу, становился совсем другим. Можно ли поверить, что ранняя символистская лирика и, скажем, «Ода Бетховену» или «Стихи о неизвестном солдате» написаны одним поэтом?

Явление Мандельштама неохватно. Мне хотелось лишь сказать своим соотечественникам: братья мои бедные, истомленные вечным поиском хлеба насущного, оглушенные политическим красноречием, задуренные циниками властолюбцами, остановитесь на мгновение, оторвитесь от ящика Пандо-

663

ры — этой смерти ума и примите в душу — что столетие назад в мир пришел великий поэт Осип Мандельштам, которого предали, как Христа, и, как Христа, отдали на муки и страшную казнь. Он взошел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось.

Та звезда, что зажглась на небе век назад, не погасла, как Вифлеемская по исполнению смысла: навести на вертеп, где ежился от холода новорожденный Бог. К яслям Бога-Нахтигалья не пришли с дарами ни цари, ни волхвы, ни пастухи. И ко гробу никто не пришел, да и не было гроба. И звезда продолжает гореть усталым светом в надежде, что те, ради кого он принял муки, заметят ее и поймут знамение. Мандельштам ради всех нас принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца.

Юрий Кувалдин

## НАГИБИН

Он видел людей насквозь! И создал свою гениальную книгу — «Дневник»! Все уловки спрятаться от писательского рентгена бесполезны, хотя люди первостепенное внимание уделяют маскировке.

Выпала мне карта быть первым читателем и издателем «Дневника» Юрия Марковича Нагибина.

Снег на золотых куполах собора. Красные стены. На голых ветвях деревьев — вороны. Нагибин предполагал, что ляжет на Востряковском, возле матери, но лег на Новодевичьем.

Нагибин как факт мертв. Нагибин как вымысел жив.

Было время, когда и я цеплялся за факты, потом — вдруг — пришло просветление: фактами ослеплен только темный человек. Он живет в своей пятиэтажке и в своем будильнике, живет в троллейбусе и в очереди за чем-то, на своей ткацкой фабрике и в пивной. Финал — кладбище. Что же это такое? Что же это за смысл жизни такой: из пивной — на кладбище?! Протестовать? Перед кем? Беспомощность человека колоссальна! Ничто не спасает: ни теории, ни факты, ни деньги. Фактическая цель жизни — место на кладбище?

Факты становятся вымыслом, вымысел — фактами!

К Юрию Марковичу Нагибину первый раз я приехал в середине апреля 1994 года.

До сей поры писательский поселок Красная Пахра мне был известен лишь по слухам да по прекрасным воспоминаниям Юрия Валентиновича Трифонова о Твардовском «Записки соседа» — они жили рядом, их участки разделял слабокрашенный деревянный заборчик. Забор дачи Нагибина был добротнo покрашен в коричневый цвет. Сразу было видно: тут живет процветающий советский писатель, и сам большой каменный дом среди парка из высоких елей и берез произвел такое же впечатление. Антикварная мебель, камин, фундаментальная лестница на второй этаж. Но хозяин как-то выпадал из этой атмосферы, как буд-

665

то он сам здесь был гостем. Простота в одежде, в разговоре, в поведении. У меня сложилось впечатление, что ему очень хотелось выговориться.

— Я расстегнул все пуговицы! — сказал он мне, передавая «Дневник» для печати.

Папки, тетради, ксерокопии, машинопись, «от руки»... Куча материалов! Что в них?

*«Со смешанным чувством печали и освобождения я вновь и вновь испытываю чувство полнейшей безнадежности — времени, личной судьбы, грядущего. Все ясно до конца. Никаких спасительных иллюзий» (1968).*

Последняя весна Нагибина. 1994 год. Готовим текст к печати.

— Ну вот, дожил! — воскликнул Нагибин. — В издательстве «Книжный сад» при жизни с «Дневником» напечатаюсь! — И добавил: — Что-то тут «Вишневым садом» папахивает.

Я сказал, что если бы определяли лучшего русского писателя, то я бы назвал Чехова. А лучшее произведение XX века — его рассказ «Архиерей» (1902).

— Чехов был недобрый писатель. Его абсолютно не понимали, — сказал Нагибин. — Я пользуюсь этим словом только для того, чтобы подчеркнуть, что он не был добряком. Это был очень суровый писатель... Гораздо более суровый, чем Достоевский и Толстой, которые, в общем-то, были на слезе. А Чехов говорил, что писать надо совершенно холодной головой и холодной душой. Холодным сердцем! И он был прав. Он так писал сам, конечно. Но не был холодным человеком в самой своей сути, потому что из холода ничего не рождается, на льду и снегу трава не растет. У него была внутренняя боль за людей, за самого себя, за судьбу свою и окружающих, но этого он не высказывал никогда впрямую. Боялся громкой фразы! Боялся пастозных красок! И вот этой суровостью пронизаны не только его гениальные рассказы, но и его драматургия. Суровый смех. Придумал этот самый вишневый сад как некий символ насмешливости...

— «Книжный сад» еще более суров и насмешлив! — с улыбкой сказал я, листая рукопись.

— Ну, если Чехова упрекали в том, что вишневых садов вообще не существует, то книжных — тем более! — поддержал Нагибин и рассмеялся.

Искра понимания проскользнула. А что, если Чехов был прав — и вся-то наша жизнь есть только шутка?!

Просторный кабинет на втором этаже, под крышей, в мансарде, широкое окно с видом на березу и скворечник.

666

Собственный дом, построенный на собственные средства. Письменный стол, размером с двухспальную кровать. Напротив — небольшой круглый столик. Сидим возле него в креслах.

Старческие мешки под глазами. Седые волосы причесаны назад по моде шестидесятых. Говорит быстро, заразительно. «Вавакает», где надо «лалакать»: «моводость... свадкий чай...»

— Вот Бунин говорит, что книга есть неконтролируемое добро, — сказал он. — Это обычное писательское пустословие. И ничего эти слова не значат. Я могу сказать, что книга — контролируемое зло! Это те афоризмы и те утверждения крайние, которые почти

ничего не стоят. Что говорить, если ты хочешь изображать жизнь, значит, ты должен изображать ее такой, какая она есть.

— Почти каждый писатель чаще всего исходит из идеи добра, все же, а не зла,— сказал я.

— Но опять-таки какая-то идея может прийти через зло,— сказал Нагибин.

*«Я стал куда злее, суше, тверже, мстительнее. Во мне убавилось доброты, щедрости, умения прощать. Угнетают злые, давящие злые мысли на прогулках, в постели перед сном. Меня уже ничто не может глубоко растрогать, даже собаки. Наконец-то стали отыгрываться обиды, многолетняя затравленность, несправедливости всех видов. Я не рад этой перемене, хотя так легче будет встретить смерть близких и свою собственную. Злоба плоха тем, что она обесценивает жизнь. Недаром же я утратил былую пристальность к природе. Весь во власти мелких, дрянных, злобных счетов, я не воспринимаю доброту деревьев и снега. В определенном смысле я подвожу сейчас наиболее печальные итоги за все прожитые годы. Хотя внешне я никогда не был столь благополучен: отстроил и обставил дачу, выпустил много книг и фильмов, при деньгах, все близкие живы. Но дьявол овладел моей душой. Я потерял в жизненной борьбе доброту, мягкость души. Это самая грустная потеря из всех потерь» (1965).*

— Не надо стремиться быть добрым в литературе,— продолжил Нагибин,— это не цель писателя, не задача писателя. Надо стремиться к одному — быть адекватным самому себе. То есть выразить свою суть...

Суть — в стол. А что в печать? Теперь можно — все. А тогда?

— Сталина вы пели? — спросил я для разнообразия.

— Сталина я не то что пел, но в какой-то момент своей

667

жизни продержался на том, что писал месяц для газеты о Сталинском избирательном округе. Но я написал с таким сарказмом, что в газете просто взмолились — приглуши! А там у меня какие-то цыгане табором приходят голосовать за Сталина с песнями-плясками, а их не пускают. Они кричат, что хотят отдать свои голоса за любимого вождя... Грузинский летчик-инвалид, сбитый в бою, приползает на обрубках... Черт-те что! — хохочет Нагибин до слез.— В газете этот материал назвали «Выборы-52», что ли, я уже не помню. Редактор спрашивает: «Скажите, что-нибудь из этого все-таки было?». Я говорю: «Как вы считаете, могло быть?». Он: «Но мы же могли сесть!». Но не только не сели, а еще и премиальные получили!

— Вы хотите сказать о трагикомичности эпохи?

— Именно. Многие смотрят в то время, как в преисподнюю. А это не так. Мы, как могли, издевались над Сталиным, над режимом. Писали в газетах черт знает что, а они это за чистую монету принимали. А вообще, это был самый худой период в моей жизни. Серьезного тогда напечатать ничего нельзя было.

— А момента беспринципности здесь нету?

Нагибин без всякого жеманства:

— Наверно, есть. А вы поживите свое, там будете судить. Понимаете, все это двухкопеечные разговоры...

*«Прежде люди скользили по моей душе, нанося царапины не более глубокие, чем карандаш на бумаге, а сейчас они топчутся внутри меня, как в трамвае. С признанием серьезности и подлинности окружающих людей утрачивается единственная настоящая серьезность — собственное существование. Любовь к людям — это утрата любви к себе, это конец для художника» (1949).*

— Понимаете,— продолжил Нагибин,— если ты в то время не совершил предательства, не доносил — устно и письменно, телефонно,— если нет хоть одного человека, которому ты принес хоть какое-то зло, то в конце концов ты лишь растлевал свою собственную душу, понимаете, а писанина в газетах... Делал это потому, что мы

иначе бы загнулись. У меня нет другой профессии. Я начал писать еще до войны, когда мне было 19 лет. Я мог зарабатывать только пером. И на мне было еще три человека. Берут — хорошо, дают деньги. Я приезжаю домой — там радовались. Но я никогда не восхвалял Сталина в своих нормальных произведениях, то есть в прозе. Я хорошо помню свою статью — называлась она «Инженер колхоза». Это была огромная статья. Я специально ездил за материалом. Какой-то колхоз все электрифици-

668

ровал, что можно. Но вообще, ничего особенного. Ну, ведь вы знаете, что манера писать очерк довольно своеобразна. Вот человек заходит в хлев и видит градусник. Казалось бы, так и напиши. Не тут-то было! Он пишет: «Где мы находимся? Мы в лаборатории, в научном институте или в хлеву?» Ну, так же эти очерки воспринимались. Я написал. В газете говорят, что дадут обязательно, но в материале нет, говорят, конца. Я удивляюсь, как это нет конца? Конец там есть. «Ну, что вы, Юрий Маркович, ребенок, что ли! Все-таки надо как-то выйти на это...». Я говорю: «Я не знаю». «У вас есть колхоз имени Ленина, да? Но у вас же ни разу нет имени Сталина!» А колхоз назывался, знаете как? — «Шлях Ленина». Они в номер хотят на первую полосу. Никак не могут придумать конец. Но меня зло что ли взяло. Хотя все это привычно было, но все равно раздражало. Они мне все время звонят, мол, что делать? Грозят, что снимут материал, ну, нельзя же без конца, на первой странице идет. Сейчас это звучит анекдотически. А тогда — совершенно серьезно. Серьезные люди. Симонов был редактором. «Знаете,— говорит,— прекрасный материал, колхоз весь электрифицирован, а не можем давать, потому что нет конца». Достали этим концом. Я не выдержал, психанул, говорю, ладно, пишите, диктую, это будет одна фраза, и заорал в трубку: «Шляхом Ленина, дорогой Сталина колхоз идет в коммунизм!». Слышу оттуда: «Гениально!».

Мы расхохотались до слез.

— Тогда ни одна статья не могла кончиться без его имени,— смахивая слезы платком, сказал Нагибин.— Испытывать угрызения совести, когда при этом еще веселились,— нет, это не то.

Ушла эпоха. Ушел Нагибин. Все пошло вкривь и вкось. Рушатся догматы исторического развития. Вообще, мне кажется, у этой самой истории нет никаких законов. Все идет стихийно, спонтанно, вот, как выплеснешь из стакана на пол воду, как растеклась, так и растеклась. Ловлю себя на том, что иногда смотрю на людей как бы из космоса. Ну вот, вращается Земля, всякие там существа рождаются, умирают. Какие-то машины ползают, стреляют. Смешно, конечно. Что они там делают, чего суетятся, какие-то границы охраняют от себе подобных, когда их цель в совершенно другом?! В чем? Да только в том, например, чтобы проложить транспортный коридор, как туннель под Ла-Маншем, к другой галактике. Из той галактики, где есть свое Солнце и своя Земля, забросили в свое время несколько биороботов, способных самовоспроизводиться, на нашу Землю для чисто технической цели, а

669

они-то — биороботы — возомнили себя бог знает кем!

Книжки сочиняют! Отклоняются, так сказать, от магистрального пути человечества! Биороботы делают свое дело — строят ракеты...

*«Литературная бездарность идет от жизненной бездарности. Ну, а как же с людьми нетворческими? Так эти люди и не жили. Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении с художником. Когда я говорю о том, что мною не было записано, мне кажется, что я вру» (1949).*

— Я слышал, что вы страстный футбольный болельщик? — спросил я как-то.

— Да! С нетерпением жду открытия чемпионата мира в Штатах... Было время — болел за московское «Торпедо», бывал в команде, дружил с игроками, тренерами. Помню, играли на кубок в финале. Игрокам сказали, что если победят, каждому дадут по машине!

— Вы сказали: «Было время...» Теперь вы за другую команду болеете?

— За «Милан»,— улыбнулся Нагибин.

Юрий Маркович Нагибин (1920 —1994) умер 17 июня в день открытия чемпионата мира по футболу в США.

Я был на даче, смотрел по телевизору открытие и вдруг, в новостях... Удар обухом по голове. И звучит в душе голос Нагибина: «Все печатают свои дневники после смерти, а я при жизни напечатаю!».

До времени перемен, когда отменили цензуру и наступила свобода слова, то есть то, о чем и мечтать не приходилось, дневник для Нагибина был спасительной отдушиной. При колоссальной энергетике, огромной работоспособности (если попробовать собрать воедино все им написанное, то, видимо, получится томов тридцать) он не мог не изливать свою душу: в дневник ложилось все, что не могло быть включено в повести и рассказы. Хотя кое-что удавалось напечатать, например, повесть «Встань и иди», на мой взгляд, лучшее художественное произведение Нагибина. А вообще же судьба Нагибина сложилась так, что ему постоянно приходилось балансировать на грани диссидентства и правоверности. Жуткое, раздираемое душу состояние. Хотелось говорить правду, но страстно хотелось и печататься. Казалось, что советская власть будет существовать вечно, поэтому в табели о рангах ее литературного департамента хотелось и на себя примерить мундир с золотыми погонами («с восемью звездами» как писал Маркес в «Осени патриарха»), с обжигающим взгляд «иконостасом» орденов на груди до пупа! Но прежде всего,

670

разумеется нужно было зарабатывать пером деньги на жизнь. Тут я в растерянности развожу руками: почему бы не найти другую работу для заработка, ведь литература для меня — это святое, на ней нельзя зарабатывать (вообще, я бы отменил писательскую профессию; разве профессия — петь, разве профессия — дышать, разве профессия — любить!); найти работу для заработка (инженера, шофера, водолаза...), а вечерами писать для души?!

Но нет, не тот человек был Нагибин! Он хотел успеть везде: быть и литературной звездой, и истинным писателем, и звездой кинематографа, и знаменитым искусствоведем, и первостатейным критиком! Да он этого в дневнике и не скрывает, правда, о «звездности» умалчивает, но это сквозь строки изредка пробивается. Ему страстно хотелось быть на виду, хотелось быть знаменитым, хотя это и «некрасиво» (Пастернак). Путь Андрея Платонова, с которым Нагибин был хорошо знаком, не привлекал (в житейском смысле), путь какого-нибудь бездарного номенклатурного литературного генерала — отталкивал (он хотел, чтобы в генералах были таланты! но такого при правлении ЦК КПСС быть не могло по определению!). Этих генералов он довольно часто упоминает в дневнике как врагов, покусившихся на свободомыслие. Тем самым Нагибин как бы «затащил» их в историю, как в свое время в нее «затащили» Булгарина. Вся эта шатия так и «влезает» в историю: на плечах гениев! А ведь чтобы оставить их в могилах своего времени — вообще нужно не упоминать их имен! Но в том-то и сила дневника, что он пишется экспромтом, без задней мысли!

С другой стороны, в записях Нагибина отсутствуют многие достойные имена. Например, не упоминается выдающийся писатель Юрий Домбровский, а ведь его «Хранитель древностей» не мог проскользнуть мимо внимания Нагибина. Не отмечен другой выдающийся писатель, чьими вещами в самиздате все мы тогда зачитывались, да и не только в самиздате — кое-что было напечатано,— Фазиль Искандер.

Теперь-то я понимаю, что Нагибин был не с теми (генералами), и не с этими (настоящими художниками). Он как бы оказался в вакууме, со своим странным третьим, можно сказать, путем. Да и в бытовом смысле Нагибин был «трудный» человек.

Я бы назвал Нагибина заблудившимся человеком: он, как в дремучем лесу, заблудился в своем родстве, в своих женах, в своих пристрастиях, в своих взлетах и

падениях, в своих друзьях и знакомых, даже в своих бесчисленных собаках! Никак не мог до конца жизни разобраться в своих отцах. Это

671

какой-то необъяснимый феномен! К концу жизни картина с отцами сложилась такая: настоящим его отцом был Кирилл Александрович Нагибин, погибший в 1920 году, в год рождения Юрия. Стало быть, отчество у Нагибина должно быть «Кириллович»? Но нет. Он вдруг оказывается «Марковичем»! Тут, конечно, мать, Ксения Алексеевна, сыграла первую скрипку: мол, зачем ребенку, несмышленишу, знать про какого-то Кирилла Александровича, когда тут, перед его глазами, настоящий, живой папа — Марк Яковлевич Левенталь, Мара, как его в семье уменьшительно называли?!

Повесть «Тьму в конце туннеля» Нагибин закончил знаменательными не только для России, но и для него самого словами: «Трудно быть евреем в России. Но куда труднее быть русским». Да, полжизни считать себя евреем, а потом вдруг стать русским! Тут не то что комплексами обзаведешься, тут шизофреником станешь в мгновение ока!

Мандельштам писал: «Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны!» А Юрий Маркович утонул в нем. Как тут не утонешь, когда Марку Яковлевичу Левенталю выпала такая ужасная судьба — погибнуть в ссылке! О нем, наградившем Юрия отчеством «Маркович», упоминавшаяся мною выше пронзительная повесть «Встань и иди». Происхождение этой повести, впрочем, как и «Тьмы в конце туннеля», как и, отчасти, «Терпения», мне понятно: Нагибин просто вынимал их из дневника. Но если бы все это, да под своими именами, оставить в дневнике, то он еще более бы выиграл.

Поздно я пришел к Юрию Марковичу!

Через весь дневник проходит и Яков Семенович Рыкачев, последний муж матери, малоизвестный, вяловатый, тепличный писатель. Нагибин как бы унаследовал от матери свойство вступления во многие браки. В дневнике Нагибин упоминает своих жен: Машу, Валю, Лену, Аду, Геллу (Беллу Ахмадулину)... Упоминает и каких-то любовниц... Вообще, по этой части Нагибин был одержимым человеком, как и по другой — поднятию и сдвиганию стаканов. Ладно, все это понятно. Непонятно другое: зачем же ставить при каждой любовной истории штамп в паспорт?! Наконец, как говорится, перебесившись, Нагибин нашел ту женщину, которую, по-видимому, искал — Аллу Григорьевну, с которой познакомился в 60-х годах и прожил с нею до конца дней своих.

Детей при всем этом у Нагибина не было.

Много сил, нервов и времени отбирала у него, как он сам говорил, кинохалтура. Дневник пронизан отчаянием: когда

672

же это закончится, и когда можно будет сесть за настоящую прозу!? А она, эта проза, незаметно для Нагибина писалась в дневник. Точно так же, как упоминавшиеся мною повести, из дневника для публикации (в 1991 г. Нагибин выпустил книжку за свой счет) были извлечены очерки о Галиче и о Мандельштаме (в настоящем издании они даются в конце)... Разговорились как-то о зависти.

— А вам, интересно, зависть была присуща?— спросил я.

— Зависть? — переспросил Нагибин и твердо сказал: — Абсолютно нет! Из многих дурных качеств, которые есть во мне, Господь меня помиловал в одном, не самом главном, я не ревнив. И начисто лишен зависти. Вы знаете, это даже очень интересно. Вот тут я перечитал «Пастуха и пастушку» Астафьева. Я вообще очень люблю его, дружил с ним. И у меня возникло чувство гордости, как будто я сам написал. Так у меня не раз бывало. Во, идиот! Ты не смог так написать, а они смогли. А у меня не радость, не наслаждение, а наряду с этим появляется чувство гордости. Я стал думать. Придумал я следующее. Помимо индивидуального творчества, существует некое коллективное творчество, как есть коллективное подсознание, как есть коллективное сознание. Но это от тебя не зависит. Но тут все равно, если ты все-таки писатель, а не просто человек,

марающий бумагу или живущий на это, оттого, что ты, значит, ковыряешься в словах: если в тебе это есть, то все равно в какой-то мере ты влияешь на все, как и на тебя влияет. Вы знаете, тут очень интересная вещь. Почему так трудно обнаружить подражание кому-то? Я хорошо помню, когда Юрий Казаков, а я помог ему, не в писаниях, разумеется, а с самого начала,— он был готов как писатель,— а просто первопечатно, пробил его первую публикацию,— а это самое трудное, что есть, вот, и мы с ним очень дружили, а потом я написал о нем рецензию, причем на долгое время это была единственная похвальная рецензия — его чудовищно приняли в штыки, ругали, унижали — я написал о нем очень хорошо, но про один рассказ, кажется, «Голубое и зеленое», что ли, что он не является его рассказом, что это Гамсун, вылитый Гамсун. Юра мне сказал, заикаясь как всегда: «Старик, ты при-идумал... Я Га-амсуна не чи-итал». Я говорю: «А я верю, что ты не читал. Но ты читал других писателей, у которых заложен стиль Гамсуна. Потом он есть как бы в воздухе. Это тайна. Мы не знаем, что делать». Казаков был очень удивлен, потому что ему многие говорили, что он похож на Бунина.

Снизу послышался голос Аллы Григорьевны: «Юра, вам  
673

дать чаю?». Вместе с чаем прибыл щенок эрдельтерьера Паша и тут же вцепился зубами в мою сумку. Нагибин взял щенка на руки. Я воспользовался моментом, достал «Поларо-ид» и щелкнул: тут же выползла фотография: Нагибин с собакой.

*«Недавно у меня был творческий вечер в Доме архитекторов. Я читал из своей статьи о Мандельштаме. О его исходе и антисталинских стихах. Уходя с эстрады, я буквально на минуту забыл рукопись на столике, за которым сидел, а когда спохватился — ее уже прибрал к рукам местный стукачишка. Скорее всего, сам директор Дома. Мне, кстати, подали записку: какой журнал собирается печатать эту статью. Из ложной щепетильности я не назвал «Смену», где статья идет, а уклончиво ответил: вот выйдет, тогда узнаете. Бдительные люди сразу решили, что статья — «подпольная». Хорошо это вяжется с призывами учиться жить при демократии. До чего же испорченный, безнадежно испорченный народ!» (1986).*

— Сколько же книг за все время творчества у вас вышло?

— Как ни странно, я тоже не могу ответить на этот вопрос по одной простой причине: если писал бы большие вещи — романы — то очень легко подсчитать, но так как я пишу рассказы, поэтому очень большое количество изданий не соответствует истинному количеству вновь написанного мною. Очень редко у меня бывает целиком книга новых рассказов. А так — книг очень много, именно сколько — не знаю.

— Но вы, наверное, помните свою первую книгу?

— Она маленькая была. В 43-м году вышла. Называлась «Человек с фронта». Три четверти листа...

Он умер тихо: прилег в полдень на диван с книгой и задремал...

*«Есть горькое удовлетворение в том, чтобы родиться и жить и, наверное, погибнуть тогда и там, где сорваны все маски, развеяны все мифы, разогнан благостный туман до мертвографической ясности и четкости, где не осталось места даже для самых маленьких иллюзий, в окончательной и безнадежной правде. Ведь при всех самозащитных стремлениях к неясности, недоговоренности хочется прийти к истинному знанию. Я все-таки не из тех, кто выбирает неведение. Я не ждал добра, но все же не думал, что итог окажется столь удручающ. До чего жалка, пуста и безмозгла горьковская барабанная дробь во славу человека! С этичес-*

674

*кой точки зрения нет ничего недостойнее в природе, чем ее "царь"» (1982).*

И теперь о главном.

Нагибин был в высокохудожественном смысле слова запойным писателем. Не буду прибегать в данном случае к цитированию «Дневника» — эта тема цементирует его на

такой предельно искренней ноте, что порой становится страшно. Все в нем есть: и предчувствие, и начало, и процесс, и конец, и выход. Вы-ыход, как сказал бы Казаков. Это же самое невозможное! На выходе-то все и рушится. Сам должен выходить с муками. Со всеми чувствами своими, со всею жизнью своей ты переходишь в другую жизнь, в иную реальность. Высшая степень таланта — попасть в запредельность без пития. Особое состояние психики. Тут логикой ничего не добьешься. Были такие «мастера», которые гениальность хотели купить логикой. Пустая трата времени.

И Нагибин уходил в запредельность — и в буквальную, и в свой «Дневник». Какая боль в выходе, как его корежит, как ломает, как горло перехватывает предынфарктное состояние, как затихает сердце!

Гроб с телом Нагибина стоял в Доме кино. Много прощающихся, в основном киношников, но ни одного известного писательского лица. «Дневник» еще не ушел в производство и никто не знал о нем. А я-то знал, какого писателя хороним.

Я смотрел на окаменевшее лицо Юрия Марковича и вспоминал его запись 1951 года, когда он вернулся с похорон Андрея Платонова:

«...дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул „Железную старуху“, прочел о том, что червяк „был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик“, и заплакал...»

Плачу и я.

675

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

*Составляя этот указатель, не претендующий на научную полноту, я испытывал большие трудности в определении некоторых лиц и имен, упоминаемых Нагибиным, поэтому они даются без комментариев. Я не включил сюда имена, упоминаемые Нагибиным вскользь, так как они несущественны для понимания записей. Имена аннотировались мною в наиболее лаконичной и нейтрально окрашенной форме. Полагаю, что читатель сам разберется: кто есть кто.*

*Юрий Кувалдин*

- Абдулов Осин Наумович (1900—1953), актер — 68.  
Абендрот Герман (1883—1956), немецкий дирижер — 113.  
Абрамов Федор Александрович (1920—1983), писатель — 477  
Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924—1994), режиссер — 634.  
Аввакум Петрович (1620—1682), писатель—324, 384.  
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881 — 1925), писатель—573.  
Ада (Паратова А. В.), жена Нагибина — 65, 66, 69, 73, 78, 81, 83-85, 87-89, 95, 96, 98, 99, 117, 207, 279, 331, 349, 382, 384, 394, 405, 533.  
Азнавур Шарль (р. 1924), французский певец — 454.  
Айтматов Чингиз (р. 1928), писатель— 513.  
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист — 467  
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791 — 1859), писатель — 466, 467  
Аксенов Василий Павлович (р. 1932), писатель — 282.  
Алданов Марк Александрович (1889—1966), писатель — 614.  
Александр I (1777—1825), русский император — 536.  
Алексеев, армейский редактор — 21, 28.  
Алексеев Михаил Николаевич (р. 1918), писатель — 282, 493, 522, 555.  
Алехин Александр Александрович (1892—1946), чемпион мира по шахматам — 431.  
Алигер Маргарита Иосифовна (1915—1992), поэт — 7.  
Алиев Гейдар Алиевич (р. 1923), деятель КПСС — 472.  
Алла, Алла Григорьевна Нагибина, жена Нагибина — 215, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 229-231, 233, 236, 247, 252, 256, 260-262, 266, 269, 290, 294, 297—299, 303, 304, 308, 310-314, 317, 319, 324, 326, 330, 334, 335, 342, 357, 361, 368, 383, 384, 389, 391, 392, 394, 415, 432, 433, 437, 445, 454, 458, 460, 462, 464, 467, 472, 479, 480, 483, 491, 494, 497, 502, 504, 508, 512, 516, 517, 519, 525, 528, 533, 534, 537, 538, 542, 549, 550, 554, 556, 557, 560-562, 564, 566.  
Алфеева Валерия Анатольевна, писатель — 282, 571.  
Аля (Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975), дочь Цветаевой, литератор — 521, 522.  
Амлинский Владимир Ильич (1935—1989), писатель — 340, 404.  
Амундсен Руаль (1872—1928), норвежский полярник — 273.

Анатолий Иванович, егерь - 118, 119, 121, 141, 142, 153-155, 173, 183, 224, 243, 254.

676

Андерсен-Нексе Мартин (1869—1954), датский писатель — 381, 527.

Андерсон Биби (р. 1935), шведская актриса — 443.

Андреев Леонид Николаевич (1871 — 1919), писатель — 502, 503.

Андропов Юрий Владимирович (1914—1984), деятель КПСС — 542.

Андросова Наташа, мотоциклистка — 325, 624, 625.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909), поэт — 559, 631, 637, 638.

Ансимов Георгий Павлович (р. 1922), режиссер оперетты — 393, 433, 434.

Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978), поэт — 123, 181, 271, 360, 361, 364, 376, 500.

Антокольские - 229, 360, 361, 481, 488, 489, 500.

Антонина Александровна (мать Аллы Григорьевны Нагибиной) — 246,

252, 258. Антоний Марк (ок. 83—30 до р. х.), римский полководец — 410.

Антонов Сергей Петрович (р. 1915), писатель — 398, 421.

Анька, Ангелина Николаевна Галич (Прохорова), жена Галича, (1921 — 1986) — 349, см. «О Галиче — что помнится».

Апдайк Джон (р. 1932), американский писатель — 493.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), граф — 536.

Арбузов Алексей Николаевич (1908—1986), драматург — 584, 585.

Арий Давыдович, на похоронах Платонова от СП — 54, 56.

Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 658.

Арнштам Лео Оскарович (1905—1979), режиссер — 378, 379.

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872—1930), этнограф и писатель, по его книге «Дерсу Узала» Нагибин написал одноименный сценарий (в соавторстве); фильм получил «Оскара» — 298.

Архангельская Лена, Архангельская-Галич А. А., дочь Галича от первого брака — см. «О Галиче — что помнится».

Архипова Ирина Константиновна (р. 1925), певица — 409, 433.

Аршанский, приятель Нагибина по киноделам — 500, 504, 505, 508.

Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975), философ — 388.

Астафьев Виктор Петрович (р. 1924), писатель — 265, 279, 282, 412.

Атаров Николай Сергеевич (1907 — 1978), писатель — 53—55, 195, 279, 364.

Ауэрбах Елизавета, чтица — 256.

Ахмадулина Изабелла Ахатовна, Белла, Гелла (р. 1937), поэт — 148, 151, 157, 158, 162, 169, 172, 173, 181, 196, 197, 204, 206, 207, 209, 215, 218, 223, 225, 226, 229-231, 236, 237, 241, 243, 245, 272, 288, 302, 306, 307, 369, 402, 407, 459, 522, 530, 531, 533.

Ахматова Анна Андреевна (1889-1966), поэт - 390, 408, 522, 523, 639, 640, 641, 643, 644, 649, 657.

Бабаевский Семен Петрович (р. 1909), писатель — 408.

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940), писатель — 449.

Бабич, режиссер — 567.

Багрицкий Всеволод, сын Эдуарда Багрицкого — 581, 662.

Баженов Василий Иванович (1737 — 1799), архитектор — 368.

Базен Эрве (р. 1911), французский писатель — 303.

Байдуков — 88, см. Лихачев И. А.

Бальзак Оноре де (1799—1850), французский писатель — 175, 261.

Барток Бела (1881 — 1945), венгерский композитор — 438, 440, 453, 506.

Баталов Алексей Владимирович (р. 1928), актер — 358.

677

Батюшков Константин Николаевич (1787 — 1855), поэт — 345, 648, 652, 658.

Безбородко Александр Андреевич (1747 — 1799), канцлер — 368.

Бейбутов Рашид Маджид оглы (р. 1915), народный артист СССР 383.

Бек Александр Альфредович (1902 — 1972), писатель — 213, 279.

Белашевский, профессор церковного права — 563.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811 — 1848), критик — 470.

Белла — см. Ахмадулина.

Беломлинская-Платова В., писатель — 282, 412, 528.

Белый Андрей (1880—1934), писатель — 242, 659.

Белых М., арт. оперного камерного театра — 383.

Бельмондо Жак Поль (р. 1933), французский актер — 430.

Беляев Владимир Павлович (1909—1991), писатель — 127, 129, 130.

Берберовы, любители львов — 293—295, 391.

Бергман Ингмар (р. 1918), шведский режиссер — 442, 443, 447.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948), философ — 493.

Берия Лаврентий Павлович (1899—1953), деятель КПСС — 339.

Берсенев Иван Николаевич (1889—1951), актер МХАТа — 376.

Бертолуччи Бернардо (р. 1941), итальянский режиссер — 289, 290, 546.

Бершадский Рудольф Юльевич (1909—1979), поэт — 376.

Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор — 654.

Бизе Жорж (1838—1875), французский композитор — 451.

Блок Александр Александрович (1880—1921), поэт — 225, 390, 394, 429, 506, 637, 640, 644, 651.  
 Блюм Леон (1872—1950), французский деятель социалистической партии — 112.  
 Богатко Ирина, критик — 489.  
 Бодлер Шарль (1821—1867), французский поэт — 8, 22.  
 Болотников Иван Исаевич (?—1608), беглый холоп — 546.  
 Бондарев Юрий Васильевич (р. 1924), писатель — 530.  
 Бондарчук Наталья Сергеевна (р. 1950), актер, режиссер — 495, 558.  
 Борген Юхан (1902—1979), норвежский писатель — 273.  
 Борджиа Лукреция (1480—1519), дочь римского папы Александра VI — 99.  
 Борецкий Юра, знакомый Нагибина — 342.  
 Борин Васька, знакомый Нагибина — 212, 213.  
 Борисов, армейский наборщик — 22—24, 99, 182.  
 Боровик Генрих Авиэзерович (р. 1929), журналист — 552.  
 Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825), художник — 502.  
 Босх Иероним (1460—1516), голландский художник — 361, 378, 447.  
 Брагинский Эмиль Вениаминович (р. 1921), сценарист — 101.  
 Брамс Иоганнес (1833—1897), немецкий композитор — 506.  
 Брандауэр, актер — 549.  
 Браун Кларенс, литературовед — 638.  
 Бредбери Рей (р. 1920), американский писатель — 192, 264.  
 Брежнев Леонид Ильич (1906—1982), деятель КПСС — 570.  
 Брейгель Питер (1525—1569), голландский художник — 135, 337, 447, 449.  
 Брентано Клеменс (1778—1842), немецкий писатель — 406.  
 Брехт Бертольт (1898—1956), немецкий писатель — 453.  
 Брик Лиля — 354.  
 Бриттен Бенджамин (1913—1976), английский композитор — 383, 453,  
 Бровман, корреспондент армейской газеты — 27

678

Броди, венгерский певец — 437.  
 Бродский Иосиф Александрович (1940—1996), поэт — 639, 644, 645.  
 Брунов Борис, конферансье — 332.  
 Брут Марк Юний (85—42 до р. х.), глава заговора против Цезаря — 410.  
 Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт — 640.  
 Бсису Муин (1928—1984), палестинский поэт — 430, 431.  
 Бубеннов Михаил Семенович (1909—1983), писатель — 90.  
 Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940), писатель — 390, 475.  
 Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель — 99, 101, 201, 218, 221, 225, 241, 431, 441, 470, 475, 502, 605, 633, 651.  
 Бусыгин Александр Харитонович (1907—1985), стахановец в автомобильной промышленности — 566.  
 Бьернсон Бьернстjerne (1832—1910), норвежский писатель — 165, 275.  
 Бялиницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872—1957), художник — 457.  
 Вайда Анджей (р. 1926), польский режиссер — 444.  
 Вале Пер (1926—1975), шведский писатель — 488.  
 Валя, дочь Лихачева И. А. (см. Лихачев), жена Нагибина — 46, 88, 89, 207.  
 Вампилов Александр Валентинович (1937—1972), драматург — 320, 321.  
 Ван Дейк Антонис (1599—1641), фламандский художник — 135.  
 Васильев Аркадий Николаевич (1907—1972), писатель — 182, 333.  
 Васильев Павел Николаевич (1909—1937), поэт — 614.  
 Васильев Юрий, знакомый Нагибина, художник — 259, 282, 283, 285, 565.  
 Васильчиковы, князья — 493.  
 Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник — 418.  
 Ваш Иштван, венгерский поэт — 449.  
 Введенский Александр Иванович (1904—1941), поэт — 644.  
 Велихов Евгений Павлович (р. 1935), академик — ЗИЗ.  
 Венгеров Владимир Яковлевич (р. 1920), режиссер — 287.  
 Венивитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт — 257, 658.  
 Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928), писатель — 470.  
 Верди Джузеппе (1813—1901), итальянский композитор — 438.  
 Верлен Поль (1844—1896), французский поэт — 648.  
 Вермеер Ян (1632—1675), голландский художник — 323, 325, 337, 449.  
 Вернигероде, граф, в его честь назван город в Германии — 107.  
 Веронезе Паоло (1528—1588), итальянский художник — 135, 449.  
 Вероня, Вера, Вера Ивановна Анисова, нянька, воспитательница Нагибина - 23, 58, 67, 68, 70, 72, 79, 80, 82, 85-87, 90, 99, 100, 334, 397, 491.  
 Вертинский Александр Николаевич (1889—1957), певец — 599, 614, 616, 619.  
 Верцман, сотрудник армейской газеты — 23, 31, 37, 41, 42, 309.  
 Виардо Полина (1821—1910), возлюбленная И. С. Тургенева, певица — 503.  
 Визбор Юрий Иосифович (1934—1984), актер, бард — 459.  
 Вийон Франсуа (1431 или 1432—после 1463), французский поэт — 644, 648, 652.  
 Видулов Сергей Васильевич (р. 1922), поэт — 265, 323.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель — 112.  
Виль, Вилли Андреич, зам. секретаря парторганизации СП — 151, 199.  
Вильяме Петр Владимирович (1902 — 1947), художник — 355.  
Виноградов, егерь — 254.  
Виноградов Иван Матвеевич (1891 — 1983), академик — 464.  
679

Виноградовы Евдокия Викторовна и Мария Ивановна, инициаторы стахановского движения в текстильной промышленности — 566.

Виноградская Софья Семеновна (1904—1964), писатель — 56.  
Висковатов Александр Васильевич (1804 — 1858), военный историк — 482.  
Висконти Лукино (1906—1976), итальянский режиссер — 452.  
Вишневский А. Л., актер МХАТа — 242.  
Влади Марина (р. 1938), французская актриса — 350.  
Власов А. А., генерал — 6.  
Власов Александр Васильевич (1900—1962), архитектор — 342.  
Воейков Александр Федорович (1778—1839), поэт — 263.  
Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1933), поэт — 273, 459.  
Волошин Максимилиан Александрович (1877 — 1932), поэт — 651.  
Волошина Мария Степановна (1887 — 1972), жена Максимилиана Волошина — 375.  
Воннегут Курт (р. 1922), американский писатель — 404.  
Боровский Вацлав Вацлавович (1871 — 1923), деятель партии — 130.  
Вульф, правильно Вулф Томас (1900—1938), американский писатель — 387, 485.  
Вульф Алексей Николаевич (1805 — 1881), Тригорское, мемуарист — 172.  
Высоцкий Владимир Семенович (1938—1980), актер, поэт, бард — 350, 459, 478, 576, 585, 601.  
Габор Ева, венгерская знакомая Нагибина, жена Яноша — 446, 454, 508, 555.  
Габор Янош, венгерский режиссер — 446, 447, 451, 454.  
Габрилович Евгений Иосифович (1899—1995), сценарист — 87.  
Гагарин Юрий Алексеевич (1934—1968), космонавт — 231, 310.  
Гайдн Франц Йозеф (1732—1809), австрийский композитор — 336.  
Галимов Рустам, молодой писатель — 429.  
Галицкий Святогор Соломонович, парикмахер — 366.  
Гальс, Хальс, Халс Франс (1581 — 1666), голландский художник — 325, 337.  
Галич Александр Аркадьевич (1918—1977), драматург, поэт, сценарист, бард — 297, 349, 350, 512, см. «О Галиче — что помнится».  
Галич Аня, Ангелина Николаевна (Прохорова), (1921 — 1986), жена Галича — 574, 575, см. «О Галиче — что помнится».  
Гамзатов Расул Гамзатович (р. 1923), поэт — 342, 343.  
Гамрекели Ираклий Ильич (1894—1943), театральный художник — 383.  
Гамсун Кнут, наст, фамилия Педерсен (1859—1952), норвежский писатель - 31, 94, 273.  
Ганнибалы, семейство Абрама Петровича Ганнибала (1697—1781) — 373.  
Гарднер Джон (1933—1982), американский писатель — 488, 497.  
Гасман Витторิโอ (р. 1922), итальянский актер — 465.  
Гейне Генрих (1797 — 1856), немецкий поэт — 406.  
Гейченко Семен Степанович (1903—1992), директор заповедника — 171, 172, 173, 209, 259, 279, 283, 284, 286, 287, 300, 369-374, 560.  
Гелла, Белла — см. Ахмадулина.  
Георгадзе Михаил Порфирьевич (1912—1982), деятель СССР — 243.  
Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906 — 1985), режиссер — 289, 290.  
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ — 112.  
Гердт Зиновий Ефимович (р. 1916), актер — см. «О Галиче — что помнится».

680

Геринг Герман (1893—1946), немецкий деятель партии — 430, 450.  
Гершензон Михаил Осипович (1869—1925), литературовед — 465, 466.  
Герштейн Эмма — 640.  
Герцен Александр Иванович (1812—1870), писатель — 85, 465, 517.  
Гетти — 431.  
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель — 27, 106, ПО, 112, 113, 217, 324, 492.  
Гинзбург Лев Владимирович (1921—1980), писатель — 395.  
Гиппиус, приятель Нагибина — 66, 85, 101, 191, 227, 287, 330, 418, 422-427  
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт — 605, 651.  
Гитлер Адольф (1889—1945), немецкий деятель партии — 449, 453, 516, 562, 563.  
Глазунов Илья Сергеевич (р. 1930), художник — 520, 543, 554.  
Гоген Поль (1848—1903), французский художник — 135.  
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 517, 636.  
Гойя Франсиско (1746 — 1828), испанский художник — 9, 449.  
Голейзовский Касьян Ярославович (1892—1970), артист балета — 262.  
Голицын Юрий Николаевич, князь — 479, 485, 521, 536, 569.  
Головин Александр Яковлевич (1863—1930), художник — 457.

Голубев, партизан 1812 г.— 123.  
Голубков Дмитрий Николаевич (1930—1972), поэт — 279.  
Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель — 144.  
Горбунов В. В., приятель Нагибина по санаторию — 482 — 486, 489.  
Гордон Патрик (1635—1699), с 1661 года на русской службе, генерал — 545.  
Горнфельд — 640.  
Горохов, начальник ПУ, армия — 14.  
Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—1861), князь, в 1855 г. командовал войсками в Крыму — 535.  
Горький Алексей Максимович (1863—1936), писатель — 214, 225, 390, 401, 583.  
Гофман Ежи (р. 1932), польский режиссер — 299.  
Гравер, посол Норвегии в СССР — 350.  
Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), композитор — 431.  
Грибачев Николай Матвеевич (1910—1994), поэт — 86, 376, 390.  
Григ Нурдаль (1902—1943), норвежский писатель — 273.  
Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, критик — 506, 522.  
Грин Александр Степанович (1880—1932), писатель — 598.  
Гришин Виктор Васильевич (1914—1991), первый секретарь МГК КПСС — 570.  
Грозный Иван (1530-1584), царь - 346, 426.  
Гудзенко Семен Петрович (1922—1953), поэт — 377.  
Гумилев Николай Степанович (1886—1921), поэт — 640, 644, 647, 648.  
Гусаров, писатель — 381.  
Гусев Дмитрий Николаевич (1894—1957), генерал, нач. штаба Ленинградского фронта — 26.  
Гюго Виктор (1802—1885), французский писатель — 8, 607.  
Даладьё Эдуард (1884 — 1970), французский деятель респ. партии — 112.  
Дали Сальвадор (1904—1989), испанский художник — 409.

681

Далида, французская певица — 192.  
Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 642, 652, 654, 658, 659, 663.  
Дантес Жорж (1812-1895), убийца Пушкина — 492.  
Дебюсси Клод (1862 —1918), французский композитор — 440.  
Дей Дорис, американская певица — 156.  
Деникин Антон Иванович (1872-1947), генерал — 129.  
Державин Гаврила Романович (1743—1816), поэт — 263, 648, 652, 658.  
Де Сика Витторио (1901 — 1974), итальянский режиссер — 512.  
Джойс Джеймс (1882 — 1941), ирландский писатель — 387, 614, 633.  
Джотто (1266—1337), итальянский художник — 290.  
Дзаваттини Чезаре (р. 1902), итальянский сценарист — 289.  
Дидро Дени (1713—1784), французский философ — 261, 263.  
Дик Иосиф Иванович (1922 — 1984), писатель — 549.  
Диккенс Чарлз (1812 — 1870), английский писатель — 261.  
Дмитриев Муля — 232.  
Добролюбов Николай Александрович (1836 — 1861), критик — 470.  
Довженко Александр Петрович (1894—1956), режиссер — 68, 251.  
Домбровский Ярослав (1836—1871), польский революционер — 278, 335.  
Дравич, польский критик — 279, 282, 284.  
Драгунский Виктор, писатель — 607—610, 614, 626.  
Древина, жена Николая Рубцова — 347.  
Дудник, пародист — 332.  
Дурбин Дина (р. 1921), американская актриса — 626, 627.  
Дюкло Жак (1896 — 1975), французский деятель коммунистического движения — 335.  
Дюма Александр (1802—1870), французский писатель — 175, 438.  
Евдокия Петровна, мать Ады, жены Нагибина — 96, 97.  
Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), поэт — 271 — 273, 282, 302, 321, 369, 391, 412, 424, 431, 459, 473, 474, 513, 538, 548, 639.  
Ежов Николай Михайлович (1862—1941), писатель — 241.  
Екатерина II, императрица (1729—1796), императрица — 470.  
Елизавета Петровна (1709—1762), императрица — 488.  
Емельянова Нина — 53.  
Ермаш Филипп Тимофеевич (р. 1923), председатель Госкино — 314, 315, 539.  
Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), актриса — 307.  
Есенин Сергей Александрович (1895—1925), поэт — 639, 644.  
Жданов, писатель — 7.  
Женичка, брат егеря Анатолия Ивановича — 118, 119, 153, 154.  
Жид Андре (1869 — 1951), французский писатель — 22.  
Жироду Жан (1882—1944), французский писатель — 158, 387, 458.  
Жорж Санд, наст. имя Аврора Дюпен (1804—1876), французский писатель — 523.  
Журавлев Василий Николаевич (р. 1904), режиссер — 83.  
Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958), поэт — 88.  
Заворотчева, автор письма к Нагибину — 463.

- Завражин, второй секретарь райкома в Спас-Клепиках — 237.  
 Заграничный, его фамилию дал своему герою Евтушенко в «Ягодных местах» — 473.  
 Зошенко Михайлович (1894—1958), писатель — 125, 126, 409.  
 Залка Талочка, ? дочь Мате Залки? — 378.  
 Захариас, актриса — 544.  
 Звонцов Вася, Пуш. горы, Михайловское — 259, 283—285.  
 Золотарев Сергей, цыганский актер — 234.  
 Зыкина Людмила Георгиевна (р. 1929), певица — 342.  
 Ибсен Генриг (1828—1906), норвежский драматург — 275.  
 Иванов Анатолий Степанович (р. 1928), писатель — 522, 530.  
 Иллеш, ансамбль Иллеша, Венгрия — 437.  
 Ильин, генерал то ли КГБ, то ли СП - 269, 276, 277, 317, 333.  
 Ильф и Петров — 506.  
 Ионеско Эжен (р. 1912), французский драматург — 300.  
 Исаков Иван Степанович (1894—1967), адмирал флота — 342.  
 Йожеф Атила (1905—1937), венгерский поэт — 441.  
 Каверин Вениамин Александрович (1902—1989), писатель — 7, 614.  
 Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991), деятель партии — 339.  
 Кадар Янош (1912—1989), венгерский деятель партии — 437, 439, 440.  
 Казакевич Юрек, польский актер — 340.  
 Казаков Юрий Павлович (1927-1982), писатель - 7, 282, 398, 474-478 491, 511, 567.  
 Казарновский Исаак Абрамович (1890—1981), член-корр. АН СССР, химик — 463.  
 Калатозов Михаил Константинович (1903—1973), режиссер — 197, 209.  
 Калинин Михаил Иванович (1875—1946), партийный деятель — 339.  
 Кальман Вера — 435, 441, 443, 446, 448, 450, 452, 508.  
 Кальман Имре (1882—1953), венгерский композитор — 435, 438, 439, 440—442, 446, 447, 450-456, 463, 478, 500, 501, 504-508, 559.  
 Камшалов Александр Иванович (р. 1932), деятель Госкино — 524.  
 Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ — 488, 489, 493.  
 Каплер Алексей Яковлевич (1904—1979), сценарист — 89, 92.  
 Капур Радж (1924—1988), индийский актер — 512.  
 Караганов Александр Васильевич (р. 1915), кинокритик — 289.  
 Карден Пьер, французский модельер — 555.  
 Кардин Владимир (Эмиль) Владимирович (р. 1921), критик — 411, 487, 488.  
 Карелин Лазарь, писатель — 402, 404.  
 Кармен Роман Лазаревич (1906—1978), кинооператор — 251.  
 Карякин Юрий Федорович, критик — 7.  
 Кассиль Лев Абрамович (1905—1970), писатель — 327.  
 Кастеллани, режиссер — 512, 547.  
 Катаев Валентин Петрович (1897 — 1986), писатель — 458, 529.  
 Катанян Василий Абгарович (1902—1980), литературовед — 354.  
 Катинов, критик — 397.  
 Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до р. х.), римский поэт — 449.  
 Кауль, посол Индии в СССР — 361.  
 Каширский, нач. охотбазы — 162.

## 683

- Кваренги Джакомо (1744 — 1817), русский архитектор — 368.  
 Кеворкова Белла, корректор армейской газеты — 31, 38, 43, 44, 310.  
 Кейхауз, знакомый Нагибина — 378.  
 Кеннеди Джон Фицджералд (1917 — 1963), президент США — 168.  
 Керн Анна Петровна (1800—1879), возлюбленная Пушкина — 286, 373.  
 Килочичская Любовь Ивановна, переводчик армейской газеты — 30, 310.  
 Кириленко Андрей Павлович (р. 1916), деятель партии — 570.  
 Кирсанов Семен Исаакович (1906 — 1972), поэт — 279.  
 Кламель Бернар (р. 1923), французский писатель — 431.  
 Клей, американский генерал — 111.  
 Клейст Генрих фон (1777- 811), немецкий писатель — 406.  
 Климов Элем Германович (р. 1933), режиссер — 367, 368.  
 Клычков Сергей Антонович (1889—1937), поэт — 627, 644.  
 Клюев Николай Алексеевич (1887—1937), поэт — см. «Голгофа Мандельштама».  
 Книппер Ольга Леонардовна (1868—1959), жена Чехова — 225, 242.  
 Коварский Николай Аронович (1904 — 1974), критик, сценарист — 49, см.«О Галиче — что помнится».  
 Ковалевский — 55.  
 Ковда Дина Иосифовна — 570.  
 Кодай Зольтан (1882—1967), венгерский композитор — 438, 448, 453, 506.  
 Кожевников Вадим Михайлович (1909—1984), писатель — 49, 499, 555.  
 Козлова Тоня, отражена в рассказе Нагибина «Велосипед» — 319.

Козловский Иван Семенович (1900—1993), певец — 374, 470.  
 Коккинаки Владимир Константинович (1904—1985), летчик-испытатель — 146.  
 Колтай Габор, венгерский режиссер — 436, 437, 501, 505, 507, 517.  
 Колясин, знакомый А. Г. Нагибиной — 252.  
 Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910), актриса — 256.  
 Комлякова, странная женщина с Игарки — 145.  
 Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971), скульптор — 267.  
 Конецкий Виктор Викторович (р. 1929), писатель — 171, 282, 369, 491.  
 Коноплев, чиновник 14-го класса, он же, возможно, вечный поэт народного стихосложения — 481, см. «О Галиче — что помнится».  
 Константин Николаевич (1827 — 1892), великий князь, сын Николая I — 536.  
 Кончаловский (Михалков-Кончаловский) Андрон, Андрей Сергеевич (р. 1937), сын Сергея Михалкова, режиссер — 396, 429, 430, 455, 457, 462, 479, 480, 518, 538, 539, 551, 560.  
 Коппола Фрэнсис Форд (р. 1939), американский режиссер — 512.  
 Корач М., художник — 440.  
 Коробов Леня, писатель — 90.  
 Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель — 470.  
 Коростеньков Иван Трофимович, погибший солдат — 35.  
 Корреджо Антонио (1489—1534), итальянский художник — 449.  
 Корсакова, художник — см. «О Галиче — что помнится».  
 Кортасар Хулио (1914 — 1984), аргентинский писатель — 365.  
 Корчак Януш (1878—1942), польский педагог и писатель — см. «О Галиче — что помнится».  
 Косогуб Павел, бандеровец — 129.  
 Костюковский Яков Аронович, драматург — 244.

## 684

Косыгин Юрий Александрович (р. 1911), геолог, академик 461, 462, 464, 472.  
 Кох и его жена Ильза, фашисты — 110, 111, 113.  
 Кохрам Елена, защитила докторскую диссертацию по произведениям Нагибина, США — 364.  
 Кочетков Александр Сергеевич (1900—1953), поэт — см. «О Галиче что помнится».  
 Кравченко Борис, писатель — 378, 386, 399, 429, 463.  
 Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник — 286, 417  
 Кранах Лукас Старший (1472—1553), немецкий художник — 107.  
 Краснопольский Владимир Аркадьевич (р. 1933), режиссер — 206, 538.  
 Красовский Александр Иванович (1780—1857), цензор — 479, 483, 484.  
 Кремнев, редактор «Мосфильма» — 270.  
 Крене Евгений Михайлович (1899—1985), физиолог, академик — 294.  
 Кречмер Эрнст (1888—1964), немецкий психиатр — 111.  
 Кржижановский Сигизмунд Доминикович (1887—1950), писатель — 53.  
 Кривицкий Александр Юльевич (1910—1986), зам. главного редактора журнала «Новый мир», журналист — 484-489, 498.  
 Кривцов, декабрист — 516.  
 Кристи Агата (1890—1976), писатель — 160, 466.  
 Кронин Арчибальд Джозеф (1896—1981), английский писатель — см «О Галиче — что помнится».  
 Крупин, армейский инструктор — 20.  
 Кручинин Н. Н., исполнитель цыганских романсов — 76.  
 Кубертен Пьер де (1863—1937), барон, основатель олимпийского движения — 478.  
 Кузнецов Феликс Феодосеевич (р. 1931), критик — 366, 367, 411, 415, 487, 537.  
 Куклин, (Кулиев — сын Кайсына) в связи с Ахмадулиной — 223, 236, 272, 302.  
 Кулиев Кайсын Шуваевича (1917—1985), поэт — 272.  
 Кулиш Савва Яковлевич (р. 1936), режиссер — 474.  
 Куняев Станислав Юрьевич (р. 1932), поэт — 340.  
 Курбатов — 560, 561.  
 Куросава Акира (р. 1910), японский режиссер, снимавший по сценарию Нагибина «Дерсу Узала» (премия «Оскар») — 287, 290, 297—299, 314, 315, 335, 337, 512, 553.  
 Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927), художник — 356, 456, см. «О Галиче — что помнится»  
 Кутайсов Иван Павлович (1759—1834), граф, камердинер Павла I — 469.  
 Кухарчик, режиссер — 442.  
 Кухлянский, миллионер — 552.  
 Куцевна, польская актриса — 300.  
 Л. А., мать жены Черноусовой Е. К. — 63.  
 Ланские (XIX в.) — 341, 493.  
 Ларя, сестра няньки Верони — 67  
 Ласкин Борис, писатель — 349.  
 Латабар, артист венгерской оперетты — 451.  
 Левента Сираим, венгерский солист — 437.

## 685

Левенталь Марк Яковлевич, Мара, отчим Нагибина, отсюда отчество «Маркович» - 56, 57, 58, 61, 87, 89, 97, 306, 320, 491.

Левин Джон, знакомый Нагибина — 354.  
 Левитанский Юрий Давыдович (1922 — 1996), поэт — 362.  
 Лешошко, прикомандированный к армейской газете — 20, 25.  
 Лепар Франц (1870—1948), венгерский композитор — 440.  
 Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977), певец — 82, 344, 345, 350, 383, 393, 398, 409, 433, 434, 510.  
 Лена, Черноусова Е. К., жена Нагибина — 49, 57, 61, 63, 67, 68, 73, 78, 81, 83, 88, 89, 94, 95, 117, 125, 163, 207, 246, 323, 325, 326, 339, 362, 394, 491, 512, 520, 527, 533, 534, 537, 538, 541, 542, 556.  
 Ленин Владимир Ильич (1870-1924) — 483, 493.  
 Леонардо да Винчи (1452 — 1519), итальянский художник — 59, 60, 290, 492, 523, 535, 547.  
 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 — 1841), поэт — 68, 366, 378, 466, 481, 482, 559, см. «О Галиче — что помнится», «Голгофа Мандельштама».  
 Лесевич, польский режиссер — 270.  
 Лесков Николай Семенович (1831 — 1895), писатель — 297, 299, 347, 401 424, 467, 470, 501, 541.  
 Лесков Андрей Николаевич (1866—1953), сын Николая Лескова, литературовед — 502.  
 Лещенко Николай, певец — см. «О Галиче — что помнится».  
 Лжедмитрий II, «Тушинский вор» (? —1610) — 546.  
 Лидзани Карло (р. 1917), итальянский режиссер — 512.  
 Лидия Васильевна, выдававшая себя за дочь адмирала Исакова — 342, 343.  
 Лимонов, писатель — 381.  
 Лист Ференц (1811 — 1886), венгерский композитор — 112, 441, 506.  
 Лифшиц Нехама, актриса — 128.  
 Лихачев Иван Алексеевич (1896-1956), в 1926-39, 1940-1950 директор Моск. автомоб. завода (ныне им. Л.). В 1939 нарком машиностроения СССР. С 1953 министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР. Член ЦК партии. Тесть Нагибина. См. Байдуков — 88.  
 Лоллобриджида Джина (р. 1927), итальянская актриса — 512.  
 Лондон Джек (1876 — 1916), американский писатель — 175, 438.  
 Лопухин, художник, друг Нагибина — 354.  
 Лопухина — 469.  
 Лоран, переводчик трех книг Нагибина, вышедших во Франции — 272.  
 Лотрек, Тулуз-Лотрек Анри де (1864—1901), французский художник — 449.  
 Луговой Володя, в ЦДЛ — 261.  
 Луконин Михаил Кузьмич (1918—1976), поэт — 340.  
 Лупиан, актриса — 358.  
 Лунин Борис Семенович, писатель — 54, 267.  
 Лу Синь (1881 — 1936), китайский писатель — 383.  
 Лысенко Трофим Денисович (1898 — 1976), нанес большой ущерб генетике и биологии — 461, 462, 474.  
 Львов Николай Александрович (1751 — 1803), поэт — 263.  
 Люська, домработница Нагибина — 163, 164.  
 Любимов Юрий Петрович (р. 1917), режиссер — 450, 453, 518, 520.  
 Лютер Мартин (1483—1546), основатель лютеранства — 108, 109.  
 686

Ляля, акуловская красавица — 248, 249.  
 Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908—1983), летчик — 500.  
 Маджуб Моххамед, суданский поэт — 361, 431.  
 Маканий Владимир Семенович (р. 1937), писатель — 404.  
 Македонский Александр (356—323), завоеватель — 564.  
 Маккалоу, автор романа «Поющие в терновнике», австралийка — 485, 486.  
 Максимов Владимир Емельянович (1930—1995), писатель — 243.  
 Мальцев Орест Михайлович (1906—1972), писатель — 90.  
 Малюта Скуратов (?—1573), сподвижник Грозного, вдохновитель многих убийств и казней — 426.  
 Малюгин Леонид Антонович (1909—1968), драматург — см. «О Галиче — что помнится».  
 Малянович, актер — 335.  
 Мандель — 112.  
 Мандельштам Осип Эмильевич (1891 — 1938), поэт — 217, 234, 475, 565, 575, см. «Голгофа Мандельштама». Мандельштам Надежда Яковлевна (1899—1980), жена Осипа Мандельштама — см. «Голгофа Мандельштама».  
 Мане Эдуард (1832—1883), французский художник — 449.  
 Манн Клаус (1906—1949), немецкий писатель — 449, 506.  
 Манн Томас (1875—1955), немецкий писатель — 266, 387  
 Манфреди Нино (р. 1921), итальянский актер — 465.  
 Марат Жан Поль (1743—1793), один из вождей якобинцев — см. «Голгофа Мандельштама».  
 Маре Жан (р. 1913), французский актер — 443.  
 Маресьев Алексей Петрович (р. 1916), летчик, его подвиг описан в книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» — 213.  
 Марке Альбер (1875—1947), французский художник — 135, 197.  
 Маркес Габриэль Гарсиа (р. 1928), колумбийский писатель — 387.  
 Марков Георгий Моисеевич (р. 1911), председатель правления СП СССР — 282, 359, 522, 530, 555.  
 Маркузе Герберт (1898—1979), нем.-амер. философ — 493.  
 Марло Кристофер (1564—1593), английский драматург — 299.  
 Мартинсон Сергей Александрович (1899—1984), актер — 447.

Масленникова Ирина, певица, жена Лемешева — 393, 433.  
 Матвеева Новелла Николаевна (р. 1934), поэт — 459.  
 Матисс Анри (1869—1954), французский художник — 135.  
 Матусовский Михаил Львович, поэт — 377.  
 Мацуэ, японский киноработник — 297, 314.  
 Маша, жена Нагибина — 11, 16, 48, 147, 377, 388, 491, 533.  
 Здесь приведён список жен (по моим подсчётам — Ю. К.)

1	—
1-я Маша	
2	—
2-я Валя	
3	—
3-я Лена	
4	-
4-я Ада	
5	—
5-я Белла	
6	—
6-я Алла	

Машкин Гена, писатель — 320.

687

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930); поэт 6, 354, 390, 477, см. «Голгофа Мандельштама».  
 Мгебров А. А., актер — 125.

Межиров Александр Петрович (р. 1923), поэт — 7, «О Галиче — что помнится».

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), режиссер — см. «О Галиче — что помнится».

Меланхтон Филипп (1497—1560), сподвижник М. Лютера — 107.

Мельников, художник — см. «О Галиче — что помнится».

Меншиков Александр Данилович (1673—1729), светлейший князь — 535, 545, 550.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), поэт— «О Галиче — что помнится».

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897—1968), маршал — 6.

Мессерер Борис (р. 1933), художник — 428, 480.

Метнор Николай Карлович (1879 —1951), композитор — 434.

Мёрдок Айрис (р. 1919), писатель, англичанка — 544.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564), итальянский художник — 290.

Миллер Генри (1891 —1980), американский писатель — 156.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт — 470.

Миндлин Анатолий, приятель Нагибина — 224, 279, 282—285, 360, 481, 487, 488.

Митрофанов Александр Григорьевич (1899—1951), писатель — 53.

Михаил Николаевич, сын Николая I, великий князь — 536.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), критик — 470.

Михалков Никита Сергеевич (р. 1945), режиссер, актер — 539.

Михалков Сергей Владимирович (р. 1913), поэт — 87, 318, 430, 498, 499, 518, 519, 522, с. «О Галиче — что помнится».

Михалков-Кончаловский А. С.— см. Кончаловский Андрон.

Михалковы — 301, 480.

Мицкевич Адам (1798—1855), поэт — 335.

Мичурин Иван Владимирович (1855—1935), садовод — 251, 461, 462, 474.

Мишин, сотрудник армейской газеты — 23, 31, 34, 42—44, 310.

Могилев, сотрудник армейской газеты — 23.

Можаяв Борис Андреевич (р. 1923), писатель — 486.

Молотилов, автор письма к Нагибину — 463.

Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986), деятель КПСС — 339, 562, см. «О Галиче — что помнится».

Монро Мерелин (1926—1962), американская актриса — 221.

Мопассан Ги де (1850—1893), французский писатель — 265, 438.

Мордюкова Нонна Викторовна (р. 1925), актриса — 307.

Моро Людовико, миланский герцог — 59.

Морозов Павлик (1918—1932), по-старому: пионер, участник борьбы с кулачеством; по-новому: доносчик № 001 (см. книгу Ю. Дружникова под таким названием) — 554.

Морозова, боярыня (1632—1675), картина В. Сурикова — 384.

Моруа Андре (1885—1967), французский писатель — 428.

Морфесси, певец — см. «О Галиче — что помнится».

Мрожек Славомир (р. 1930), польский писатель — 300.

Музиль Роберт (1880—1942), австрийский писатель — 387

688

Мунзук, актер, исполнитель роли Дерсу в фильме «Дерсу Узала» — 314, 335.

Мусатов, автор книги о Имре Кальмане — 455, 508.

Муссолини Бенито (1883—1945), диктатор Италии, фашист — 563.

Мутовозов, учитель из Пскова — 266.

Мура (Мэри), знакомая Нагибина — 362, 363.  
 Мильников из Пушкинских гор, Андрей Андреевич (р. 1919), художник — 259, 283, 286, 368, 371.  
 Мьшкин Ипполит Николаевич (1848—1885), народник — 385.  
 Мэтлоки, Мэтлок, посол США в СССР — 391.  
 Мюссе Альфред (1810—1857), французский поэт — 8, 225.  
 Мюнцер Томас (1490—1525), немецкий революционер, предводитель крестьянского восстания — 107,  
 Набоков Владимир Владимирович (1899—1977), писатель — 368.  
 Навратилова, теннисистка — 468.  
 Нагибина Алла Григорьевна — см. Алла.  
 Нагибин Кирилл Александрович, погиб в 1920 г. — 45.  
 Нади - 214, 215, 218, 219.  
 Нансен Фритъоф (1861—1930), норвежский исследователь — 273.  
 Наполеон (1769—1821), французский император — 465.  
 Наседкин, Спас-Клепики — 237—239.  
 Наумов, писатель — 378, 528.  
 Нахимов Павел Степанович (1802—1855), адмирал — 535.  
 Нейгауз Галя — 361.  
 Некрасов Виктор Платонович (1911 — 1987), писатель — 415.  
 Некрасов Николай Алексеевич (1821 —1878), поэт — 354, 438.  
 Нелидова, эпоха Павла I — 469.  
 Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер — 242.  
 Немченко Гарий, писатель — 282.  
 Нерон (37—68), римский император — 410, 527  
 Нечаев, гл. врач — 257.  
 Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), цензор — 3.  
 Николай I (1796-1855), император — 466, 510, 535, 536.  
 Николай II (1868-1918), император — 300, 438.  
 Никольский, краевед-любитель — 424—426.  
 Нилин Павел Филиппович (1908—1981), писатель — 90.  
 Нина В., муза Чистых прудов — 260, 261.  
 Нисский Георгий Григорьевич (1903—1987), художник — 245.  
 Новиков Николай Иванович (1744 — 1818), масон, писатель, издатель — 470.  
 Новиков, автор книги «Пушкин в Москве» — 502, 503.  
 Носов Евгений Иванович (р. 1925), писатель — 265, 559.  
 Овидий Назон (43 до р. х.— 18 после р. х.), римский поэт — 217.  
 Овчаренко Феликс, редактор — 265.  
 Озеров Лев Адольфович (р. 1914), поэт — 458, 461.  
 Окуджава Булат Шалвович (р. 1924), поэт— 173, 243, 362, 367, 459, 523, 566, 567, см. «О Галиче — что помнится».  
 Олеша Юрий Карлович (1899-1960), писатель — 458, 461.  
 Оливье Лоренс (р. 1907), английский актер — 549.  
 Ольбрыхский, польский актер — 300.

689

Орлов Сергей Сергеевич (1921 — 1977), поэт — 347.  
 Орловский Кирилл Прокофьевич (1895—1968), один из руководителей партизанского движения в Белоруссии во время войны 1941 —1945 гг. Герой Советского Союза (1943), Герой Социалистического труда (1958), член КПСС с 1918 г. В 1944—68 гг. председатель колхоза «Рассвет» в Белоруссии. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956—1961 гг. Депутат Верховного совета СССР с 1950 г.— прообраз героя фильма «Председатель» по сценарию Нагибина, гос. премия СССР—158, 182, 213.  
 Ортенбург, редактор «Красной Звезды» — 499.  
 Островский Николай Алексеевич (1904—1936), писатель — 296.  
 Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 —1955), художник — 124, 456.  
 Оутс Джойс Кэрл (р. 1938), писатель, американка — 544.  
 Офтердинген Генрих фон — 108.  
 Оффенбах Жак (1819—1880), французский композитор — 440, 506.  
 О'Хара Джон (1905—1970), американский писатель — 406.  
 Павел I (1754—1801), император — 469.  
 Павленок — 335, 552.  
 Пазолини Пьер Паоло (1922—1975), итальянский режиссер — 451, 452.  
 Палашти Дьер, венгерский режиссер — 505—509, 512, 517, 529, 546, 555.  
 Пален Константин Иванович (1833—1912), граф — 469.  
 Паскаль Блез (1623—1662), французский философ, писатель, ученый — 4, 5.  
 Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт — 217, 251, 274, 333, 521, 530, 565, см. «О Галиче — что помнится», «Голгофа Мандельштама».  
 Пастернак Зинаида — 410.  
 Паулос Фридрих (1890—1957), немецкий генерал-фельдмаршал, пленен под Сталинградом — 504.  
 Педерсен, брат Гамсуна — 94.  
 Пейве Александр Вольдемарович (1909—1985), академик — 464.  
 Пелисье — 535.  
 Первенцев Аркадий Алексеевич (1905—1981), писатель — 352, 353.

Перов Василий Григорьевич (1823—1882), художник — 298, 523.  
Перцов, советский литературовед-сервист — 4.  
Перцов, начисто забытый — 4.  
Петровна, Дьяченко Татьяна Петровна, прототип героини «Бабьего царства» — 84, 85, 101.  
Петька, Петр Суздалев — 252, 310, 325, 329, 364, 382, 556, 557, 569.  
Петр I (1672-1725), император — 488, 550, 551, 553.  
Петр Иванович, нач. охотбазы — 182, 183, 254.  
Пикассо Пабло (1881 — 1973), французский художник, испанец по происхождению — 9, 266.  
Пикуль Валентин Саввич (1928), писатель — 282, 368, 422.  
Пильняк Борис Андреевич (1894—1941), писатель — см. «Голгофа Манде штама».  
Пирро Уго, итальянское кино — 289.  
Писсарро Камиль (1830—1903), французский художник — 135.  
Пистунова Ася, «Литературная Россия» — 282, 284, 285, 478.  
Платова В., Беломлинская-Платова — 412.

## 690

Платонов Андрей Платонович (1899—1951), писатель — 7, 53—56, 229, 244, 319, 365, 409, 458, 461, 475, см. «Голгофа Мандельштама».  
Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), революционный деятель 493.  
Плещеев Алексей Николаевич (1825 — 1893), поэт — 470.  
Плисецкая Майя Михайловна (р. 1925), балерина — 480.  
Поволяев Валерий, писатель — 277.  
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), писатель — 257  
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642), князь — 357  
Поженян Григорий Михайлович, поэт — 369, 491.  
Покровская Галя — 325.  
Покровский Борис Александрович (р. 1912), оперный режиссер — 383.  
Полевой Борис Николаевич (1908—1981), писатель — 87, 213.  
Поленов Федор, директор дома-музея В. Д. Поленова — 263.  
Полонский Яков Петрович (1819 — 1898), поэт — 506.  
Полтавский, армейский редактор — 41, 42, 309.  
Попцов Олег Максимович, писатель — 429.  
Поремба, польский режиссер — 335.  
Портер Ричард, знакомый Нагибина из США — 383, 431.  
Потапыч, стукач — 336.  
Потоцка Малгожата, жена Маляновича — 335.  
Правдин, знакомый Нагибина — 361.  
Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888), путешественник — 80.  
Прилежаева Мария Павловна (1903—1989), писатель — 523.  
Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954), писатель, философ — 441, 502, 503.  
Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971), поэт — 126.  
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 — 1953), композитор — см. «О Галиче — что помнится».  
Прохорова Вера — 91, 224.  
Пруст Марсель (1871 — 1922), французский писатель — 75, 101, 217, 230, 387, 403.  
Прут — 566.  
Пуччини Джакомо (1858—1924), итальянский композитор — 453.  
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), поэт — 126, 171-173, 217, 225, 241, 257, 259, 284, 285, 353, 366, 368, 371, 373, 374, 394, 435, 438, 449, 466-468, 470, 481, 492, 506, 535, см. «Голгофа Мандельштама».  
Пятницкая И. А., гид по Вологде — 345.  
Рабинович Исаак Моисеевич (1886—1977), художник — 355.  
Радов Георгий, очеркист — 101.  
Ракоши Матъяш (1892-1975), генсек ЦК КП Венгрии в 1945-48 гг. -442, 443.  
Расин Жан (1639—1699), французский драматург — см. «Голгофа Мандельштама».  
Распутин Валентин Григорьевич (р. 1937), писатель — 282, 320, 321, 487.  
Распутин Григорий Ефимович (1872 — 1916), старец — 300, 498.  
Ратони, партнер Ханни Хонти, венгерский актер — 451.  
Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский художник — 323, 449.

## 691

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), композитор — 407, 410, 411, 414, 430-435, 439, 454, 457, 463, 481, 483, 518, 538.  
Рахтанов (об Олеше) — 458, 461.  
Рейган Рональд Уилсон (р. 1911), 40-й президент США — 430.  
Рейсдал Якоб ван (1628—1682), голландский художник — 45.  
Рекемчук Александра Евсеевич (р. 1927), писатель, издатель, в его издательстве «ПИК» вышло две книги Ю. М. Нагибина — 251, 256.  
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский художник — 323, см. «Голгофа Мандельштама».  
Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), писатель — 300.  
Ренар Жюль (1864 — 1910), французский писатель — 303.  
Рёскин Джон (1819—1900), английский писатель, теоретик искусства — 251.

Риббентроп Иоахим (1893—1946), фашистский военный преступник — 562.  
 Рильке Райнер Мария (1875—1926), австрийский поэт — см. «Голгофа Мандельштама»  
 Римская-Корсакова Мария Ивановна, послужила прообразом Фамусова в «Горе от ума» А. С. Грибоедова — 465.  
 Рихтер Святослав Теофилович (р. 1915), пианист — 491.  
 Роговой Владимир, режиссер «Женатый холостяк» — 494, 495.  
 Рождественская Алла — 343.  
 Рождественский Роберт Иванович (1932—1994), поэт — 273, 342, 424.  
 Розенфельд Михаил, журналист армейской газеты — 36.  
 Рознер Эдди, знаменитый джазмен, трубач, руководитель оркестра — см. «О Галиче — что помнится».  
 Рокоссовский Константин Константинович (1896—1968), маршал — 563.  
 Романов Григорий Васильевич (р. 1923), деятель КПСС — 570.  
 Романовы, династия, царский дом — 535.  
 Ром-Лебедев, цыганский актер театра «Роман» — 231.  
 Ромм Михаил Ильич (1901—1971), режиссер — см. «О Галиче — что помнится».  
 Роскин В. — 353, 354, 553.  
 Роскин О. — 398, 534, см. «О Галиче — что помнится».  
 Росселини Роберто (1906—1977), итальянский режиссер — 289.  
 Россельсы — 361.  
 Рохленко, сотрудник армейской газеты — 24.  
 Рощин Семен Ильич, армейская газета — 11, 14, 21, 26, 27, 309, 310.  
 Рубенс Питер Паульс (1577—1640), фламандский художник — 46, 135.  
 Рубенштейн Антон Григорьевич (1829—1994), пианист, композитор. «О Галиче — что помнится».  
 Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), композитор — 439.  
 Рубинштейн, коллекционер из Ярославля — 355.  
 Рубцов Николай Михайлович (1936—1971), поэт — 347.  
 Ружевиц Тадеуш (р. 1921), польский писатель, драматург — 300.  
 Руссо Жан Жак (1721—1778), французский писатель, философ — 5.  
 Рыкачев Яков Семенович, отчим Нагибина, писатель — 57, 60, 63, 66, 83, 85, 87, 101, 117, 149, 151, 159, 174, 181, 191, 192, 197, 202, 203, 209, 218, 219, 224, 225, 250, 253, 255, 265, 279, 290, 303, 306, 311—313, 324, 327, 329-334, 338, 340, 361, 369, 375, 377, 378, 388, 391, 396, 398, 404, 458, 459, 484, 491, 533, 556, 562, 567.  
 Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826), поэт — 257.

## 692

Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927), режиссер — 293.  
 Сабо, зам. министра кинематографии Венгрии — 507.  
 Сад Лонасьен Альфонс Франсуа маркиз де, (1740—1814), писатель — 381  
 Садат Анвар (1918—1981), президент Египта — 348.  
 Сазерленд, актер — 451.  
 Салтыков Алексей Александрович (р. 1934), режиссер — 181, 182, 197, 209, 235, 252, 362, 405, 457, 491.  
 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889), писатель — 373, 517, 566.  
 Сальинский Афанасий Дмитриевич (р. 1920), драматург — 487.  
 Санд Жорж, Аврора Дюпен (1804—1876), писатель — 225.  
 Сандрелли Стефания, актриса — 465.  
 Санто Пирошка, венгерская художница — 449.  
 Сафо (7—6 в. до р. х.), древнегреческая поэт. — 523.  
 Сахаров Всеволод, критик — 496.  
 Свердруп, Отто (1854—1930) и Харальд Ульрик (1888—1957), норвежские полярные исследователи — 273.  
 Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964), поэт — 176.  
 Светоний Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140), римский историк и писатель — 51.  
 Селезнев П. — 49.  
 Селин Луи, наст, фамилия Детуш (1894—1961), французский писатель — 10, 75, 89, 196, 381.  
 Семенов Георгий Витальевич (р. 1931, ум. 1990?), писатель — 183.  
 Семенов Юлиан, писатель — 318.  
 Сергеева Ирэна, певица — 358, 459.  
 Серова, актриса, жена К. Симонова — 376.  
 Сизов Н. Т., ген. директор «Мосфильма» - 278, 314, 315, 335, 407, 462, 518.  
 Симонов Константин Михайлович (1915—1979), писатель — 5, 86, 123, 318, 376-378, 399, 452, 499, 530.  
 Синьяк Поль (1863—1935), французский художник — 197.  
 Скола, режиссер — 465.  
 Сличенко Николай Алексеевич (р. 1934), актер, певец — 234, 256.  
 Смеляков Ярослав Васильевич (1912—1972), поэт — 279.  
 Смирнов Севка, художник по металлу — 368—370, 373.  
 Снейдерс Франс (1579—1657), фламандский художник — 135.  
 Соковнин (XIII-XIX вв.) -263.  
 Соколов Алеша — 259, 283, 285.  
 Сократ (ок. 470—399 до р. х.), древнегреческий философ — см. «О Галиче — что помнится».  
 Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель — 302.  
 Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ — 467, 471.  
 Соловьев Леонид Васильевич (1906—1962), писатель — 101.  
 Солодарь Цезарь Самойлович, писатель — 123, 219, 235, 294.

Соломенцев Михаил Сергеевич (р. 1913), партийный деятель — 427.  
Соломин Юрий Мефодьевич (р. 1935), актер — 335.  
Соломко, писатель — 416.  
Солоухин Владимир Алексеевич (р. 1924), писатель — 254, 402, 425.  
Сомов Константин Андреевич (1869—1939), художник — 62.

## 693

Сороотокина Нина Матвеевна, писатель — 378, 411, 528, 564.  
Сосинский Владимир Брониславович (1900—1987), писатель -313, 337 364, 366, 554.  
Софронов Анатолий Владимирович (р. 1911), писатель — 246, 376, 390, 522  
Ставинский Ежи, драматург — 270.  
Стаднюк Иван Фотиевич (р. 1920), писатель — 493, 555.  
Сталин Иосиф Виссарионович (1879 — 1953), глава партии и СССР с 1922 по 1953 гг. - 6, 160, 246, 338, 339, 377, 453, 471, 478, 535, 539, 540, 543, 562, 563, 566, см. «О Галиче — что помнится», «Голгофа Мандельштама».  
Старицкая Ефросиния 346.  
Старковские 49, 50.  
Стасов Владимир Васильевич (1824 — 1906), критик - 523.  
Стаханов Алексей Григорьевич (1905—1977), по его имени движение — 554, 566.  
Стейнбек Джон Эрнст (1902—1968), американский писатель — 387.  
Стельмах Михаил Афанасьевич (1912—1983), писатель — 158.  
Стивене Эдмунд, корр. «Нью-Йорк Тайме» — 350.  
Стоппер Александр Борисович (1907 — 1979), режиссер — 378.  
Стораро Витторио, кинооператор, мастер света — 551.  
Стоун Ирвинг (р. 1903), американский писатель — 428, 431.  
Страдивари Антонио (1644 — 1737), мастер смычковых инструментов см. «О Галиче — что помнится».  
Стырикович Михаил Адольфович (р. 1902), академик — 468, 471, 472, 48  
Сурков Алексей Александрович (1899—1983), поэт — 376, 511.  
Сурков Евгений, «Литературная газета», 60-е годы — 164.  
Суров Анатолий Алексеевич (1911 — 1987), драматург — 90.  
Сучков Федот, скульптор, друг Андрея Платонова — 7.  
Табидзе Галактион Васильевич (1892—1959), поэт — 401.  
Тайц Яков, детский писатель — 414.  
Таланкин Игорь Васильевич (р. 1927), режиссер — 209.  
Талейран Шарль Морис (1754—1838), французский дипломат — 300.  
Тамара Н., актриса — 84.  
Танеев Сергей Иванович (1856—1915), композитор — 434.  
Тарковский Андрей Арсеньевич (1932—1986), режиссер — 518.  
Тарле Евгений Викторович (1874—1955), историк — 535.  
Татаринов, сотрудник армейской газеты — 35, 37, 38, 309, 310.  
Твардовский Александр Трифонович (1910—1971), поэт — 54, 56, 235, 267  
Тевелев, писатель 128.  
Теличкина Валентина Ивановна, актриса — 495.  
Тельман Эрнст (1886 — 1944), председатель КП Германии — 110.  
Тендряков Владимир Федорович (1923—1984), писатель — 300, 548, 549.  
Тинторетто Якопо (1518—1594), итальянский художник — 323, 337, 449.  
Тициан Вечеллио (1477 — 1576), итальянский художник — 74.  
Товстоногов Георгий Александрович (1913—1989), режиссер — 300. Токарев Л., писатель — 357  
Толстов Кирилл Александрович, гл. редактор «Вечерней Москвы», 1967 205, 206.

## 694

Толстой Лев Николаевич (1828—1910), писатель — 3, 225, 241, 333, 401, 411, 434, 435, 438, 467, 470, 493, 503, 506, 530, 551.  
Томский Николай Васильевич (1900—1984), скульптор — 556.  
Тоом Лева — 353, 540.  
Торба - 129.  
Трахман (?) - 257.  
Трифонов Юрий Валентинович (1925-1981), писатель — 367, 395, 404, 452, 511, 549, 567.  
Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), ректор Московского университета — 471.  
Трюффо Франсуа (1932—1984), французский режиссер — 512.  
Тублин, писатель - 282, 299, 300, 391.  
Тур братья — 87.  
Турчанский — 97.  
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), писатель - 241, 366, 466, 502, 503.  
Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943), писатель, теоретик литературы — 488.  
Тышлер Александр Григорьевич (1898—1980), художник — 245, 246.  
Тэма, знакомая Нагибина — 378.  
Тэн Ипполит (1828—1893), французский литературовед — 251.  
Тютчев Федор Иванович (1803-1873), поэт - 288, 299, 401 7 470.  
Тяжельников Евгений Михайлович (р. 1928), партийный деятель — 393.  
Уайлер Уильям (1902—1981), американский режиссер — 495.

Уваров, охотник - 166-168, 206, 232, 243.  
Угрюмова, актриса — 80.  
Ульман Лив, шведская актриса — 442—444.  
Ульянов Александр Ильич (1866 — 1887), революционер — 385.  
Ульянов Михаил Александрович (р. 1927), актер — 199, 256, 257, 335.  
Урбанский Евгений Яковлевич (1932 — 1965), актер — 197, 216.  
Урусова Евдокия Прокопиевна (? —1675), княгиня, раскольница, сестра боярыни Морозовой — 384.  
Усков, режиссер — 538.  
Утрилло Морис (1883—1955), французский художник — 197.  
Уханов Иван, из Оренбурга — 265, 266.  
Уэллс Герберт Джордж (1866—1946), английский писатель — 79.  
Уэллс Орсон (1915—1985), американский режиссер, актер — 464.  
Фабри Зольтан (р. 1917), венгерский режиссер — 444.  
Фадеев Александр Александрович (1901 — 1956), писатель — 56, 86, 376.  
Фаллада Ханс (1893—1947), немецкий писатель — 324.  
Фатьянов Алексей Иванович (1919—1959), поэт — 134.  
Федин Константин Александрович (1892—1977), писатель — 86.  
Феллини Федерико (1920—1994), итальянский режиссер — 257, 442, 451, 452, 512, 553.  
Фельцман Оскар Борисович, композитор — 506.  
Феофанов Олег, редактор — 253.  
Фереро — 410.  
Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892), поэт — 401, 470, 502, 503.  
Филипп Шарль Луи, французский писатель — 22.

## 695

Фирка - 332-334, 491.  
Фогельвейде Вальтер фон дер — 108.  
Фолкнер Уильям (1897 — 1962), американский писатель — 493.  
Фоменко Л.- 299.  
Фомин Петя - 259, 368.  
Франклин — 109.  
Франко Иван Яковлевич (1856—1916), писатель— 127.  
Франс Анатолий (1844—1924), французский писатель — 438.  
Фрейд Зигмунд (1856—1939), психоаналитик — 312, 409, 503, 545.  
Фриденберг Ольга — 565.  
Фридрих Великий (1620—1688), немецкий император — 107.  
Фролов, директор НИИ в Рязани -- 240.  
Фурцева Екатерина Алексеевна (1910—1974), деятель партии, министр культуры — 342.  
Хаксли Олдос (1894—1963), английский писатель — 266.  
Ханушкевич, польский режиссер — 300, 451.  
Хвоцинская, дочь князя Ю. Голицына — 465, 525.  
Хейердал Тур (р. 1914), норвежский путешественник — 273.  
Хемингуэй Эрнест (1899—1961), американский писатель — 34, 49, 378, 438, 493.  
Хепберн Одри, американская актриса — 495.  
Хлебников Велимир (1885—1922), поэт — 561.  
Холендро Дмитрий, писатель — 276, 340.  
Хонти Ханна, венгерская актриса — 451, 453.  
Хофман Дастин (р. 1937), американский актер — 480.  
Хрущев Никита Сергеевич (1894 — 1971),  
Партийный деятель — 185, 377, 470, 496, 566, 570.  
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), поэт- 135, 217, 234, 364, 366, 390, 407, 408, 471, 500, 521-523.  
Цветаева Анастасия Ивановна, сестра Марины — 408, 523, 524.  
Цветов Я.- 158, 182.  
Цигаль Владимир Ефимович (р. 1917), скульптор — 58.  
Циолковский Константин Эдуардович (1857 — 1935), родоначальник космонавтики — 461, 462, 473, 474.  
Цитович, академик — 471.  
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), писатель, философ — 510.  
Чайковский Петр Ильич (1840-1993), композитор - 241, 279, 299, 433, 438, 506, 559.  
Чаковский Александр Борисович (р. 1913), писатель — 282, 530.  
Чаплин Чарлз Спенсер (1889—1977), актер, режиссер, сценарист — 266.  
Червинский, писатель — 122.  
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), писатель — 366.  
Чехов Антон Павлович (1860-1904), писатель- 135, 218, 225, 241, 242, 435, 438, 502, 523.  
Чиковани Григол Самсонович (1910—1981), писатель — 395.  
Чомский Марвин, режиссер — 551, 552.  
Чуркин Игорь, знакомый Нагибина — 62, 75, 85.

## 696

Чухновский, прообраз героя сценария «Не дай ему погибнуть» — 213.

Чухрай Григорий Наумович (р. 1921), режиссер — 440.  
 Шаброль Клод (р. 1930), французский режиссер — 297.  
 Шагал Марк (1887-1985), художник - 197.  
 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982), писатель — 434.  
 Шаляпин Федор Михайлович (1873—1938), певец — 431.  
 Шамардин, зав. сектором массовой песни — 283.  
 Шамиссо Адельберт фон (1781 —1838), немецкий писатель — 406.  
 Шапиро Ашер Айзикович — 12, 14, 26, 31.  
 Шапиро Гена — 97.  
 Шафиров Петр Павлович (1669—1739), вице-канцлер при Петре I —552.  
 Шашко Елена, актриса — 285.  
 Швейцер Альберт (1875—1965), врач, органист, философ-этик — 382.  
 Шевцов, поэт, погиб в тюрьме — 376.  
 Шекспир Уильям (1564—1616), английский поэт, драматург — 217, 312, 327, 409, 410, 565.  
 Шелл Максимилиан (р. 1930), актер — 545, 550, 553.  
 Шепитько Лариса (1938—1979), режиссер — 367.  
 Шерешевский — 145.  
 Шестинский Олег Николаевич (р. 1929), поэт — 277, 278.  
 Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт — 110, 112, 217, 492.  
 Шиллер Лари, режиссер совместного фильма «Петр I» — 545—547, 549—553.  
 Шилов Александр Максович (р. 1943), художник — 543, 554.  
 Ширшов Гриша - 343, 354, 355, 356, 571, 572.  
 Шишакова Стелла, таежница — 228, 257, 258.  
 Шишловский, художник армейской газеты — 26, 30, 43, 44, 543.  
 Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), литературовед — 55, 461.  
 Шмидт, польский актер — 335.  
 Шнейдер — 206.  
 Шолохов Михаил Александрович (1905—1984), писатель — 86, 530, 567.  
 Шопен Фридерик (1810—1849), польский композитор — 501, 506.  
 Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ — 493.  
 Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), композитор — 440, 506.  
 Шоу Ирвин (1913—1984), английский писатель — 387.  
 Шредель Владимир Маркович (р. 1918), режиссер — 256, 340, 358, 364, 491.  
 Штемлер, писатель — 402.  
 Штраус Иоганн-сын (1825—1899), австрийский композитор — 440.  
 Штраус Оскар, композитор — 506.  
 Шуберт Франц (1797 — 1828), австрийский композитор — 451, 501.  
 Шугаев Вячеслав, писатель — 321, 322, 340.  
 Шукшин Василий Макарович (1929—1974), писатель, режиссер — 478.  
 Щедрин Родион Константинович (р. 1932), композитор — 480.  
 Щелоков, министр внутренних дел при Брежневе — 510, 541.  
 Щербакова Галина Николаевна, писатель — 404.  
 Эверс Г. Г. - 93.  
 Эйнштейн Альберт (1879—1955), физик — 266.  
 Элеонора, святая в Германии — 108.  
**697**

Эль Греко Доменико (1541 —1614), испанский художник — 449.  
 Эстеррейхер, писатель — 508.  
 Этингер - 478, 481.  
 Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941), муж Цветаевой — 521 522.  
 Эшенбах Вольфрам фон — 108.  
 Юренев Ростислав Николаевич (р. 1912), киновед — 289.  
 Я. С.— см. Рыкачев Яков Семенович.  
 Яковлев Юрий Яковлевич (р. 1922), детский писатель — 293, 294, 295, 523, 524.  
 Якулов, художник — 355.  
 Ямпольский Борис Самойлович (1912 —1972), писатель — 281.  
 Янковская Евгения Николаевна, редактор — 574.  
 Ясиновский — 55.  
 Ястребов, майор АХО — 38.  
 Яхонтова, соседка — 469.  
 Яшин Александр Яковлевич (1913—1968), писатель — 7

## Содержание

От автора.....	3
1942 год.....	10
1948 год.....	45
1949 год.....	48

1951 год.....	53
1952 год.....	61
1953 год.....	64
1954 год.....	71
1955 год.....	88
1956 год.....	104
1958 год.....	124
1959 год.....	127
1960 год.....	132
1962 год.....	147
1963 год.....	160
1964 год.....	169
1965 год.....	180
1966 год.....	199
1967 год.....	201
1968 год.....	211
1969 год.....	230
1970 год.....	248
1971 год.....	259
1972 год.....	269
1973 год.....	281
1974 год.....	299
1975 год.....	313
1976 год.....	329
1977 год.....	341
1978 год.....	352
1979 год.....	366
1980 год.....	381
1981 год.....	391
1982 год.....	396
1983 год.....	473
1984 год.....	538
1985 год.....	558
1986 год.....	569
О Галиче — что помнится...	576
Голгофа Мандельштама ....	636
Юрий Кувалдин «Нагибин»...	665
Указатель имен .....	676